



**Евгений Семенович Штейнер,**

*искусствовед и востоковед, родился в Москве. Учился в МГУ, кандидатскую диссертацию защитил в Институте востоковедения, докторскую — в Российском институте культурологии.*

*Преподавал и занимался исследовательской работой в университетах Москвы, Иерусалима, Токио, Йокогамы, Нью-Йорка, Манчестера и Лондона. В последние годы — профессор-исследователь при Центре изучения Японии Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета, член Исследовательского форума Института Курто (Лондон) и главный научный сотрудник Российского института культурологии (Москва). Автор десяти книг.*

*В Японии регулярно бывает с 1994 г.*



ЕВГЕНИЙ ШТЕЙНЕР

**ПРИБЛИЖЕНИЕ  
К ФУДЗИЯМЕ**

СЛОВО/SLOVO  
МОСКВА  
2011

УДК 910(520.23)  
ББК 26.89(5Япо,30)  
Ш88

## СОДЕРЖАНИЕ

Дизайн: *К. Е. Журавлев*  
Редактор: *П. И. Руднев*  
Верстка: *Н. Ю. Пекина*  
Корректоры: *Н. В. Беляева, С. А. Смирнова*

*Все фотографии предоставлены автором*

Предисловие автора ..... 8

### **ДОМА И ЛЮДИ**

Первое токийское жилье ..... 24  
Современная архитектура Токио ..... 35

### **ПОВАДКИ И НРАВЫ**

Про моти ..... 58  
Про Новый год ..... 64  
«Подождите легонечко...» ..... 68

### **РУССКИЕ И РУССКОЕ В ЯПОНИИ**

На Иностранном кладбище ..... 72  
*Грязь истории* ..... 72  
Русские в Хакодате ..... 83  
Рассказ о том, как сочиняются рассказы ..... 90  
Великий князь в Нагасаки ..... 96  
Русские революционеры в Нагасаки ..... 99  
Русские евреи в Нагасаки ..... 100  
Черная «babushka» из Нагасаки ..... 102  
Лидия Павловна, последняя могиканка ..... 106  
Японские Морозовы ..... 113  
Русский доктор — резидент в Роппонги ..... 123  
Чехов как зеркало ..... 130

### **ПО ГОРОДАМ И ХРАМАМ ЯПОНИИ**

Токио ..... 140  
*Уэно* ..... 140  
*Асакуса* ..... 154  
*Праздники в Асакусе* ..... 180

ISBN 978-5-387-00276-2

© Штейнер Е. С., 2011  
© СЛОВО/SLOVO, 2011



Гора Такао .....	181
Хаконэ .....	193
<i>Застава Хаконэ</i> .....	210
Камакура .....	221
<i>Цуругаока Хатиман-гу</i> .....	223
<i>Дзюфукудзи</i> .....	230
<i>Сугимото-дэра и Сякадо Киритоси</i> .....	234
<i>Хасэдэра</i> .....	234
<i>Дзэниараи Бэнтэн</i> .....	244
<i>Дайбуцу</i> .....	246
<i>Кита-Камакура</i> .....	252
<i>Эносима</i> .....	258
Киото. Юг и восток .....	264
<i>Хигаси Хонгандзи</i> .....	267
<i>Сандзюсангэн-до</i> .....	270
<i>Киёмидзу</i> .....	274
<i>Ясуи Комтира-гу</i> .....	276
<i>Ясака-дзиндзя и Гион-мацури</i> .....	277
<i>Квартал Гион</i> .....	283
<i>Тионъин</i> .....	285
<i>Нандзэндзи</i> .....	287
<i>Философский путь</i> .....	295
<i>Гинкакудзи</i> .....	296
Киото. Северо-Запад .....	304
<i>Кинкакудзи</i> .....	304
<i>Дайтокудзи</i> .....	309
<i>Синдзюан</i> .....	312
<i>Сюонъан</i> .....	324
Киото. Сага и Арасияма .....	329
<i>Бамбуковый лес в Сага</i> .....	329
<i>Судзумуси-дэра</i> .....	331
<i>Мацуноо-тайся</i> .....	335
<i>Данриндзи</i> .....	342
<i>Гиодзи</i> .....	344
<i>Храм Нэмбуцудзи в Адасино</i> .....	347

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Настоящая книга сложилась из записей, написанных в Японии или по поводу Японии. Это были мои впечатления о Японии, то, что видел и что о ней думал. И хотя гору Фудзи я тоже видел и даже как-то тихо-тихо долез до середины склона, в названии книги хотел подчеркнуть нетуристский, нешаблонный и исключительно личный мой взгляд. Кстати, форма «Фудзияма» является скорее русской, японцы обычно говорят «Фудзи-сан».

Эта книга рассказывает о японских традициях, городах и храмах. Гора Фудзи часто упоминается в тексте — и как символ, и как красавица с белоснежной вершиной, которую можно видеть из множества точек за много километров. Я подумал: ведь Фудзи-сан не виновата, что стóбит произнести «Япония», как у большинства западных людей возникают устойчивые ассоциации: Фудзияма, сакура и что-нибудь третье на выбор. Я не раз проверял: назовите первые три образа, которые придут в голову при слове «Япония». Первые два этих члена выпаливались (или долго взвешивались, но все-таки в итоге произносились) в подавляющем большинстве случаев. Третьим членом могли быть или гейша, или фирма «Сони», или якудза («японская мафия») и далее по списку, но Фудзияма фигурировала всегда. Вот о ней даже целую книгу недавно написал маститый отечественный японовед А. Н. Мещеряков. Я повторять подобный опыт не собираюсь, но демонстративно обойти стороной Фудзи было все-таки неправильно. В конце концов, гора эта — один из самых (если не «самый-самый») архетипических символов Японии, нагруженный древними многослойными контекстами.

В каком-то смысле постижение Японии — это приближение к Фудзи. «Приближение», потому что дело не в том, чтобы бодро-спортивно забраться на вершину, сфотографироваться и быстренько спуститься. К Фудзи, понимаемой как средоточие многочисленных японских традиций — мифологических, исторических, литературных, художественных, этнопсихологических, можно только приближаться. По крайней мере, так я это решил для себя. Ведь и природную гору Фудзи разглядеть нелегко — часто она скрыта облаками или дымкой-маревом, туманом-смогом. Недаром многие путеводители после слов «...отсюда раскрывается потрясающий вид на гору Фудзи» часто добавляют: «...в хорошую

погоду» или «...если повезет». Но бывает и иначе: где-нибудь в горах Хаконэ в сумрачный день вдруг налетит ветер, разгонит часть облаков, и в небесной прорехе покажется на короткое время белый прозрачный конус с идеально ровными краями.

В общем-то и сама Япония нередко поступает так же: то, что видно, — далеко не самое интересное, а если и интересное, то часто непонятное. Всякому серьезному путешественнику, вероятно, знакомо ощущение: долго стремился в какое-то баснословное место, читал умные книги и смотрел захватывающие картинки, чтобы получше подготовиться, и вот приехал, увидел — и звучит растерянное: «Что, вот это оно и есть?» Бывает, для того чтобы раскрылась прославленная и многожды воспетая суть места, прийти туда нужно не раз, а может и не два; посмотреть под определенным углом, при нужном освещении и — главное — определенном душевном настрое. И тогда гений места может показать себя — как гора Фудзи из-за облаков или завесы тумана. Поэтому и называю я эту книгу: «Приближение к Фудзияме».

Разделы книги рассказывают о различных сторонах повседневной жизни Японии — об обычаях и праздниках, о еде и устройстве дома. Отдельный раздел составляют рассказы о старой русской эмиграции в Японии, что не только знакомит с уникальными, часто похожими на авантюрный роман людскими судьбами, но и позволяет с необычной точки зрения посмотреть на коллизии встречи двух типов сознания — российского и японского. Самый большой раздел «По городам и храмам Японии» представляет собой описание разных мест и реалий Японии, какими я их увидел. Точка зрения — сугубо личная и пристрастная. Что-то я люблю, а что-то нет — и не боюсь в том признаться. Детально описывая какую-нибудь букашку, я не боюсь пропустить слона. Многие места и целые регионы, где я побывал (а кое-где и не побывал — Япония не такая уж маленькая), сознательно пропущены. Другие рассмотрены весьма подробно. Диспропорция в этом если и есть, то небольшая. Во-первых, писать обо всем в Японии, от Хоккайдо до Окинавы, — задача грандиозная и подразумевающая уступку легковесности. Кроме того, это вряд ли нужно и большинству читателей — мало кто захочет (и сможет) пройти по всем местам сразу. А сосредоточившись на нескольких центральных районах и, смею надеяться, небанальном их освещении, полагаю, что смогу сказать нечто свое о чем-то

известном. Раздел «По городам и храмам Японии» аттрагирует меньше бытовых деталей и меньше рассказывает о моих приключениях, зато больше — о разных местах, где побывал.

В определенном смысле можно рассматривать Японию как набор немногих инвариантов — несколько характерных пейзажей, несколько типов храмовой архитектуры, несколько иконографических типов в искусстве. Для знатоков и ценителей в подчас неуловимых разновидностях и различиях заключена масса прелести. Всем остальным (не побоюсь сказать!) смакование с трудом различимых отличий быстро надоеет. Намного более адекватны будут эти самые инварианты в наиболее ярких и замечательных проявлениях. Так и построена эта книга.

По жанру данная книга ни в коей мере не путеводитель. Разного рода практически полезные детали — как проехать, где остановиться на ночлег, эти действительно нужные вещи пишут профессионалы — составители путеводителей и регулярно обновляют постоянно меняющуюся информацию. Массу детальных нужных сведений можно найти в Интернете — от мощных культурно-туристических порталов на многих языках до форумов по интересам, где бывалые члены сообщества охотно делятся мелкими и крупными секретами. Попутно я даю кое-какие практические сведения о местах, где стóит останавливаться или каким маршрутом лучше двигаться, чтобы посмотреть как можно больше, но идея книги не в этом. Книга эта для медленных путешественников, которым интересны культурные контексты, мелкие бытовые реалии или философические рассуждения на тему своего и чужого. Читать эту книгу можно, пожалуй, не вылезая из кресла: задуматься о том, что это за место — Япония и что особенного есть в японском духе, и это будет самым настоящим приближением к Фудзияме. А потом уже можно ехать. Или не ехать.

Приближением к Фудзияме занимаемся не только мы. Чем, как не этим занимался Хокусай в своих знаменитых сериях «36 видов горы Фудзи» или «100 видов» той же горы! Прославленная гора в его композициях редко занимала центральное положение — чаще она присутствовала на заднем плане, порой совсем незаметно, а на переднем разворачивалась обычная жизнь японцев. Но самим фактом своего тихого постоянного присутствия священная гора задавала некий камертон — вечности, красоты, стабильности... Рассмотрим одну из Хокусаевых гравюр, знаменитую «Большую волну»,

чтобы поближе подойти и к Фудзияме, и к манере японцев понимать вещи.

«Большую волну близ Канагавы» знают все, даже те, кто практически ничего больше не знает о японском искусстве. Тем не менее знание контекста способно радикально изменить наше восприятие этой гравюры или, по меньшей мере, значительно обогатить и углубить удовольствие от ее разглядывания. Проведем краткую ее деконструкцию. Эскиз был создан Хокусаяем около 1830–1831 гг. для серии «36 видов горы Фудзи». С тех пор «Большая волна» вызывает восхищение многих поколений — от импрессионистов и художников ар-нуво, введивших этот мотив в свои композиции, до коммерческого использования образа современной массовой культурой — в календарях, корпоративных логотипах и пластиковых пакетах разных фирм и магазинов. Приведем сначала типичные описания гравюры западными искусствоведами.

«Человечество представлено несчастными моряками в их утлых, годящихся только на прибрежное плавание лодчонках. Они отчаянно за них цепляются, в то время как суденышки бросает как спички»\*. «Наши чувства поглощены движением огромной волны, мы впадаем в ее воздымающееся движение, мы чувствуем напряжение между ее вершиной и силой тяготения, и, когда ее гребень рассыпается в пену, мы чувствуем, как мы сами протягиваем яростные когти к чуждым предметам под нами»\*\*. Интересно, что книга прославленного критика и поэта Герберта Рида, откуда взята эта цитата, называется «Смысл искусства». Применительно к данной гравюре смысл передан радикально неверно.

Начать следует с того, что в японском искусстве движение в картине идет справа налево. Соответственно, рыбацьи лодки являют собой активное начало, они двигаются и внедряются в волну, в податливое аморфное начало, а некоторые уже прошли ее насквозь. Несмотря на асимметрию, композиция являет собой гармоническую картину Вселенной. Вода — один из основных космогонических принципов — представляет ее изменчивое, текучее начало. Другой принцип — земля — представлен горой Фудзи на заднем плане. Это символ посто-

\* Bennet, Jonathan, In Amy Newland, Chris Uhlenbeck, Jonathan Bennett, and Julia Hutt. *Ukiyo-e: The Art of Japanese Woodblock Prints*. 1994. P. 81.

\*\* Read, Herbert. *The Meaning of Art*. London, 1933.



Хокусай. Большая волна близ Канагавы

яинства и незыблемости. Хокусай здесь воспроизводит инвариантную схему универсальной картины мира как сочетание «гор и вод» (*сансуй* — так по-японски называется пейзаж).

Большая волна, если мысленно продолжить ее силуэт справа, оказывается чрезвычайно похожей по абрису на гору Фудзи. На переднем плане другая волна, поменьше, также повторяет собою очертания горы. Вряд ли Хокусай сделал это просто ради абстрактной графической выразительности; скорее всего он исходил из конкретной идеи. Нередко он записывал название горы Фудзи не стандартными иероглифами (富士), а другими, более простыми графически и так же произносимыми: 不二. Буквальное значение этих иероглифов — «не два». Это частый эпитет горы Фудзи, долженствующий передать ее исключительность, уникальность, единственность. Показывая водяные подобия Фудзи, Хокусай делает графическую аллюзию, ее визуальный омоним, если так можно выразиться, шутливо опровергает единственность священной горы. Известно, сколь велика роль словесных омонимов и вызванного ими двусмысленного юмора в японской поэзии. Художник Хокусай следовал этой поэтике своими визуальными средствами. При этом зрительное подобие работает на контрасте: сопоставляются вечная твердь горы и лишь краткий миг — живущая зыбучая стихия воды. Этот

сущностный контраст под формальным подобием провоцирует задуматься: а так ли уж противоположны вода и гора?

Те же иероглифы «не два», несколько в другом чтении (*фуни* — перевод санскритского термина *адвайта*), представляют собой один из ключевых концептов буддийской философии — недвойственность, недuality мира, что восходит к индийскому учению о единстве всего. Мир един и представляет собой манифестацию дхарм — элементарных сущностей. Их можно было бы приблизительно назвать атомами, будь они разделенными, как в западной философии, на материальные и духовные. Дхармы постоянно появляются и исчезают, проявляясь в различных комбинациях, что наиболее наглядно выражено волнообразным движением воды. Но, в сущности, такова же природа и горы: она, пусть не в столь очевидной форме, также подлежит закону вечной изменчивости мира — закону колеса дхармы. Понятие дхарма, кстати, в определенных контекстах должно переводиться словом «закон» — закон устройства мира. Поскольку основной характер действия этого закона — движение, но не последовательное, а циклическое, оно выражается символом колеса. В композиции Хокусая это колесо наглядно выражено округлым абрисом волны. В центре круга — маленькая Фудзи, как ось или втулка. Этот вид напоминает выражение древнего китайского мудреца: «Колесо вращается, но втулка его неподвижна — это мой образец». Таким образом, можно сказать, что эта картинка является визуальной репрезентацией буддийской картины мира — мира как колеса дхармы, вечно изменчивой подвижной стихии. Человек в такой картине мира оказывается не швыряемой щепкой, умирающей от страха и отчаяния, а естественным элементом непостоянства природы. Рыбаки Хокусая почтительно кланяются мощи стихии; они как бы поддаются, склоняясь и замирая в бездействии, но на деле они просто стараются вписаться в ситуацию и выйти победителями. То есть налицо картина гармоничных и подвижно-гибких взаимоотношений. «Большая волна» может быть названа воплощением японского представления о философии жизни — о быстротекучей, брэнной и прекрасной переменчивости мира (*укиё*).

Возвращаясь к горе Фудзи, отметим, что не только Хокусай обыграл почтительное прозвище священной горы в визуальном уподоблении ее преходящим волнам. То же самое название Фудзи, несмотря на всю уникальность и провоз-

глашенную в названии неповторимость, носит еще немало гор. В пределах одного лишь Большого Токио насчитывается примерно с десяток гор Фудзи. На самом деле чаще всего это едва заметные пригорки — в пять или семь метров высотой. Тем не менее они носят это гордое имя, считаются священными, а на вершине многих пригорков — миниатюрный храмик или даже не игрушечный, а вполне настоящий храм может стоять рядом. Например, такая горка Фудзи есть в районе Комагомэ на севере Токио с храмом Фудзи-дзиндзя. Соответственно, «фудзияма» — священный символ японской культуры — может открыться в самом неожиданном месте, в самом неожиданном масштабе.

Последний раз я приехал на месяц в Японию после четырехлетнего отсутствия, день в день. С момента первого приезда на академический год — без малого двадцать лет. Срок немалый и в масштабах человеческой жизни, и во многом для страны. Наверное, многие до меня говорили, что Япония стремительно меняется, но всегда остается одной и той же по сути. Если и говорили, не могу сейчас вспомнить, кто именно. Про инвариантную ее суть мы будем пытаться рассуждать на протяжении всей книги, а пока попробуем сделать несколько моментальных снимков бросающихся в глаза перемен.

Ушла в прошлое токийская подземка *тикатэцу* (слово, сконструированное из китайских иероглифов и означающее «подземная железка»), вместо нее появилось *мэторо* (записанное слоговой азбукой слово «метро»). В нем стали продавать удобные проездные карточки, как и во всех крупных метро мира. Но вот зачем они взяли это слово? Видно, победное шествие английского языка продолжается. Дневная трапеза — *хиру гохан* («достопочтенный дневной рис») — повсеместно называется *ранти* (lunch). Центр по изучению искусства может так и называться: *ато рисати сэнта*, что не так-то просто бывает вернуть к исходному Art research center. При этом знакомство японцев с английским, по крайней мере в крупных городах, возросло. Многие уже не машут испуганно руками, когда спросишь по-японски, как пройти куда-то, и не говорят, что не понимают английского (вопрос был задан по-японски, напомню), а охотно и многословно отвечают — на не очень внятном английском.

А еще в метро на центральных станциях появились метровой высоты заборы, отделяющие пути от края платформы. Дверцы в них раскрываются синхронно с дверьми

остановившегося поезда. В чем была необходимость столь дорогостоящего нововведения? В чрезмерно увеличившихся толпах, когда можно столкнуть кого-нибудь невзначай? Таких толп я не видел. Народу, конечно, в часы пик очень много, но люди стоят спокойно и дисциплинированно многочисленными короткими очередями согласно разметке на полу платформы (в том числе и на тех станциях, где заборы не поставили). Может быть, это ответ на увеличившееся количество самоубийств? Статистики не знаю, но вполне вероятно — такие заборы стали ставить во многих западных странах и особенно в Америке на старых мостах, балконах и везде, где кто-нибудь вдруг решит публично свести свои личные счета с жизнью. Не то чтобы этого не делали и раньше, но прежде городские власти в эту проблему как-то меньше вмешивались.

Изменились и моды — не те, меняющиеся каждый сезон или месяц у поклонников высокой моды, за которыми не уследишь, а даже самые характерные японские, державшиеся десятилетиями. Так, заметно меньше стало на улицах девочек-школьниц в очаровательных матросках. Может, это потому, что многие выглядели в них вполне лолитоподобно? По крайней мере, в нездоровом воображении дяденек, потребителя специфической хэнтай манга. Кстати, для таких



Защитный забор на станции метро «Наканосакауэ» в Токио



матросок есть даже полуподпольные магазины, которые так и называются: «Бура сэра» (Blue sailor), где эту бывшую в употреблении униформу (особенно ценятся нестиранные) и прочие девчачьи штучки продают для болезненных юнцов и грязных старикашек. И школьные власти решили сменить форму? Но намного меньше стало также мальчиков в глухих кителях с медными пуговицами, напоминавших столетней давности кадетов-гимназистов. Может, это очередная попытка властей идти в ногу со временем? А жаль!

Кстати, о ногах. Совершенно исчезли с ног старшеклассниц толстенные белые гетры, собиравшиеся в особые вычурные складки и фиксировавшиеся в этих складках специальным клеем. Пропали и трогательные сценки, когда кто-нибудь из группки щебечущих школьниц приостанавливался, чтобы подклеить опадавшие складки, мазнув по ноге клеевым карандашиком и уложив пальчиками прихотливые волны. Вместо белых складчатых гетр стали носить черные колготки или обтягивающие леггинсы со штрипками. Штрипки иногда помогают заодно удерживать несоразмерно большие туфли (в моде те, что на пару размеров больше нужного), а в верхней своей части они уходят в коротенькие шорты. У многих лолитоподобности это ничуть не убавило, но старорежимная романтичность ушла вместе с матроской и короткой клетчатой форменной юбкой. Зато специфического типа старинная мода возродилась в моде девочек постарше, в возрасте студенток: многие носят черные чулки чуть выше колен с розовыми подвязками и бантиками. Все это вставляется в широкие сапоги с отворотами. Отвороты, вероятно, в большой моде — часто можно увидеть высокие, до середины голени, яркие кеды, незашнурованные и сползающие вниз широкими контрастного цвета отворотами.

Крашенные волосы, похоже, вошли в мэйнстрим. Уже не только панки и прочие любители косплэя разгуливают в экстремальной боевой раскраске. Множество скромного вида молодых людей осветляют волосы, а еще больше пожилых дяденек ходят со жгуче-черными остатками растительности.

Торжество вестернизации проявило себя и в такой специфической, но весьма существенной сфере, как широкое внедрение унитазов. Двадцать лет назад их можно было найти в крупных гостиницах; десять — в универмагах. Сейчас в крупных городах они есть практически везде в количествах, пре-



**Некоторые кабинки оснащены сиденьями с зажимами безопасности для маленьких детей (слева)**

**Шлемы для пассажиров в ночных автобусах (справа)**

восходящих традиционные дырки в полу. Более того, многие унитазы оснащены панелью управления с множеством кнопок, включающих музыку или рокот волны, теплый воздух, разнонаправленные струи воды, отдушку грушей дюшес и, вполне вероятно, что-то еще — после нескольких сюрпризов я боялся продолжать эксперименты. Более того, некоторые кабинки оснащены сиденьями с зажимами безопасности для маленьких детей напротив унитаза. Мама или папа (мои наблюдения ограничены папиными отделениями) надежно фиксируют детишек на этом сиденье, после чего спокойно занимаются своими делами, давая попутно детям наглядный урок того, что родители тоже люди и ничто человеческое им не чуждо.

В ночных автобусах сиденья снабдили огромными полупрозрачными шлемами, которые надвигаются на голову и делают пассажира похожим на астронавта из старого научно-фантастического фильма. Само сиденье при этом опускается столь низко, что в нем почти лежишь, нависая над задним пассажиром, который должен тоже опустить свое кресло, если не хочет, чтобы погружившийся в скафандр впереди сидящий упирался своим спальным местом ему в грудь.

При этом поразительным образом продвинутые технические прибамбасы и радикальные контркультурные прикиды молодых людей не отменяют традиционных социальных кодов общения. Если неформальный язык молодежи изменился в последние годы очень сильно в сторону раскрепощения и отказа от ритуальных вежливых формул, то те же самые молодые люди с такими же молодыми людьми в ситуации слу-

жебного контакта ведут себя совершенно иначе. Продавцы в магазинах, официантки и повара в забегаловках встречают своих сверстников — отнюдь не чопорных и часто вполне расхристанных — ритуальными криками приветствия и сопровождают обслуживание наборами вежливых клише, перемежаемых поклонами и приседаниями, которые, вероятно, мало изменились за последние сто лет.

Тем не менее, Япония быстро меняется. Самый поразивший меня пример абсолютно несуразной вестернизации я увидел в старейшем, знатнейшем и славнейшем дзэнском монастыре Нандзэндзи в Киото. В *ходзэ* (покоях настоятеля), похожих на музей своей архитектурой, аскетически изысканным убранством пустых комнат, украшенных лишь перегородками-*фусума* с росписями лучших средневековых художников и нишей-*токонома* с каллиграфическим свитком, я увидел одну комнату для приема гостей. На полу, покрытом циновками татами, лежали не два-три *дзабутона* — подушки для сидения. На нежнейшем салатого цвета татами лежал огромный пестрый персидский ковер, а на нем покоились стол и шесть стульев вокруг. Конечно, чтобы не продавить хрупкие соломенные маты, ножки соединили планками-полозьями, тем не менее такая «обстановка» выглядела не просто комично, но и пугающе. Мало того, что эстетически стулья совершенно не сочетались с традиционным убранством (не говорю уже про раздражающе яркий ворсистый мусульманский ковер, нелепее которого вообще ничего нельзя придумать по отношению к японскому интерьеру), они коренным образом меняли точку зрения на интерьер — и стенные росписи, *токонома*, даже низкий потолок смотрелись не так. Кто, зачем и почему распорядился устроить эту смехотворную и пугающую нелепицу? Достопочтенный настоятель, который сердобольно отнесся к несгибаемым ногам западных гостей? Или его собственные пожилые суставы спокойнее себя чувствуют на стуле, нежели на плоском и жестком *дзабутоне*? Я отлично понимаю, что сидеть на татами с непривычки тяжело, да и многим японцам с возрастом это становится довольно обременительно. Но почему было не устроить просто одну западную комнату с соразмерным стульям и столу интерьером?! Персидский ковер на татами! В дзэнском монастыре — заповеднике сурово-элегантного традиционного японского духа! Впрочем, просветленным виднее...



Стулья на татами. Интернационализация в дзэнском монастыре Нандзэндзи в Киото

С другой стороны, Япония восхищает тем, что в ней никогда не знаешь, чего ожидать. Вот, кстати, о просветленных настоятелях. Проходя недавно под проливным дождем по боковой дороге на окраине Токио, увидел маленький старый храм. Ничего особенного, но приглянулся весьма добротной архитектурой, уединенностью, вписанностью в пейзаж под косыми струями дождя. Вошел в ограду через раскрытые ворота и стал фотографировать. Потом под навесом зонтик, ветром разорванный, попытался поправить. И тут закрытая дверь храма отъехала в сторону и показался пожилой настоятель (может, и просто служка, ведь был он в домашнем кимоно, и так сразу не определишь; а в маленьких храмах часто кроме одного настоятеля никого больше и нет). Я с поклоном извинился за беспокойство, спросил: ничего, что я фасад сфотографировал? Он молча кивнул и сосредоточенно надевал высокие *гэти*. Я, считая молчание неприличным, задал какой-то вопрос. Он подумал и кивнул. После чего взял зонтик и вышел под дождь, махнув рукой, приглашая следовать за ним. У ворот он притормозил, пропустив меня, а когда я оказался с внешней стороны, немедленно ворота за мной закрыл, отверзши уста в первый раз. «Ий дэс ка?» («О'кей?») — спросил он, не нуждаясь, впрочем, в моем ответе. Не знаю, чем я достал этого мизантропа.

Иной пример. В окраинном районе Киото, за Горюю Бурь Арасияма, искал я, без хорошей карты, маленький скит Гиодзи. Спросил было у единственного повстречавшегося прохожего, малого из какой-то лавки с тележкой, — он, не останавливаясь, изобразил рукой нечто отрицательно-запретительное и ускорил шаг. Следующим встреченным был американский парень, у коего была карта, но только с английскими названиями, которые в той местности помогали ему, не знавшему, как соотнести их с окружающими иероглифическими надписями, весьма относительно. Мы объединились и довольно быстро нашли Гиодзи, но уже закрытый на ночь, ибо давным-давно стемнело. В какую сторону оттуда идти на поезд или автобус, было решительно неясно. Дойдя до деревенского фонаря и бесплодно таращась в англоязычную карту, мы вдруг увидели, что показался весьма приличный господин, выгуливавший собачку шицзу. На вопрос про автобус он задумался и сказал, что минут за 15–20 можно дойти, но закоулками. После чего еще подумал и предложил следовать за ним, он покажет. Шли минут пять — семь, не меньше; дорогой пытались светски болтать, но нарастала неловкость, что он идет, возможно, в противоположную сторону от своего дома. Оказалось, наоборот: он привел к себе домой, сдал собачку жене, усадил нас в машину — двух страшных гайдзинов, вдвое выше его ростом, — и вез минут десять на станцию, откуда на прямом поезде было рукой подать до центра. Возможно, зловредный настоятель и гостеприимный хозяин собачки — это два полюса, но между ними можно встретить практически все остальное. В Японии есть все.

Еще остались в горах горячие источники под открытым небом, где гольшом отмокают совместно мужчины и женщины. Еще осталось простое отношение к справлению нужды — помню, как-то ехал я на велосипеде по проселку недалеко от Камакуры. Впереди показался перекресток, а на нем светофор. Хоть машин не было ни с какой стороны, я послушливо притормозил на красный свет. Там уже дожидался зеленого сигнала местный дедушка, который слез со своего велосипеда и, чтобы не терять зря времени, неторопливо мочился на столб. Я в замешательстве остановился в некотором отдалении, глядя в сторону. Дедушка, не прекращая процесса, посмотрел на меня и спросил ласково, из какой же я страны буду. Получив ответ, он вежливо сказал: «Хорошая страна». За-

тем стал обстоятельно застегиваться. Приветливые люди живут в Японии!

Надо сказать, что эта простота и патриархальность подчас превратно понимается гайдзинами, которые иной раз начинают вести себя причудливо. Недавно я был свидетелем, как в местный поезд в горах Хаконэ зашел такой гайдзин. Был он необыкновенно длинен, тощ и белобрыс. Худые безволосые ноги обтягивали блестящие спортсменские подштанники из лайкры, на каковые сверху были напялены другие атласные штанишки из иного вида спорта — широкие, короткие и с разрезами до пояса. На спине у спортсмена был приторочен маленький рюкзачок, а по торсу он был обвит двумя широкими лентами, по фасону революционного матроса или мексиканского разбойника, в ячейках которых торчало не меньше дюжины маленьких бутылочек. Экипировку завершали две лыжные палки — японцы нередко ходят в горы с такими палками, а из европейцев пристрастием к альпенштокам почему-то отличаются немцы, которых с подобными подспорьями для ходьбы можно увидеть и в берлинском парке. Но не экипировка была в нем самой примечательной. Полоумный немец аккуратно положил палки на верхнюю багажную полку, совершил на площадке перед дверью несколько приседаний и отмашек ногами, достал банку с какой-то белой жижой и стал обильно умащаться, покрывая ею в основном свои бледные ноги, но не забывая и про лишенный растительности торс. Весь переполненный вагон по-японски отводил глаза, а таращились на заморское чудо только дети да я. Спортсмен занимался этим два перегона, после чего взял палки, вышел на перрон и зашагал пружинистым шагом одинокого ходока на длинные дистанции. Интересно, проделывал бы он этакое в поезде где-нибудь в Альпах?

Иностранцы в Японии — это отдельная интересная тема. Глядя на них или изучая их историю, начиная с первых миссионеров, более объемно начинаешь видеть и японцев, и самих иностранцев, — именно потому я и включил в книгу цикл историй про стародавних русских в Японии.

Первоначально многие тексты писались как письма друзьям и подругам. Те из них, что остались, слегка изменены, но эпистолярное начало в некоторых, возможно, сохранилось. Ничего дурного я в том не вижу — пусть будет этакое приближение к стародавним сентиментальным письмам русского и многих нерусских путешественников.



ДОМА И ЛЮДИ

## ПЕРВОЕ ТОКИЙСКОЕ ЖИЛЬЕ

**Н**аша токийская квартирка достойна быть воспетой в русской прозе, участливой к маленькому бедному человеку. А с моим американским грантом для ученых-исследователей, который приходилось делить на троих, я временами чувствовал себя не богаче японского студента.

Приезду предшествовал интенсивный, но спотыкавшийся о технические сложности обмен факсами с приятелем, который любезно договорился вписать нас на недельку-другую в гостевой дом при своем университете. Случился какой-то сбой, и, когда я позвонил ему из аэропорта, телефон не отвечал. Куда ехать — было непонятно. Любезные юноши за стойкой информации для туристов позвонили для меня в пару гостиниц и быстро договорились о номере на два дня. Аэропортовский экспресс довез почти до гостиницы. Она находилась неподалеку от императорского дворца, который я опознал по рву и забору. Это показалось счастливым предзнаменованием, но гостиница, несмотря на район, была весьма специфической. Выяснилось, что в этой «Сакуре» в номере стоят двухэтажные нары, а удобства — в коридоре. Зато на постелях лежали восхитительные *юката* (летнее кимоно, халат), включая детские.

Наутро нашелся приятель, ездивший в какую-то глухомань ловить рыбу, и сообщил, что поскольку он не получил последних факсов с точными датами, то номер он бронировать не стал, и тот, вероятнее всего, уже занят. После серии восклицаний, телодвижений, продления на день в «Сакуре» и переговоров с ректором университета, который как русист не мог не порадеть почти родному человеку, произошел переезд в гест-хаус Университета иностранных языков Гайгодай. Из местных достопримечательностей там — кладбище, на котором похоронен Фтабатэй Симэй — переводчик романа Тургенева «Вешние воды». Как много в тех краях, однако, для сердца русского слилось!

В отличие от «Сакуры» в роскошном двухкомнатном номере — по сути, самодостаточной квартире с кухней и прочим — нар не было. Не было вообще никакой мебели на ножках, вроде кроватей, ибо спать полагалось на *футонах* (матрасы) на *татами* (маты). Зато были стулья — но тоже без ножек. Выглядели они в точности как настоящие — с удобными мягкими сиденьями и покатой сибаритской спинкой, но ножки, казалось, были отпилены напрочь — сиденье ставилось на пол, и надо сказать, хоть ноги и приходилось сгибать под самыми фантастическими углами, спинка здорово помогала. Из привычных предметов, которые еще напрочь отсутствовали, припоминаю спички или газовую зажигалку для плиты. Их ненужность объяснила горничная, которая сначала не могла понять, зачем нужны спички, если я хочу вскипятить чайник, а потом повернула вентиль конфорки, раздался треск — и огонь загорелся сам собой.

Тем временем я с помощью коллег со своей кафедры в университете Святой Софии (иностранцам без рекомендаций так просто не сдадут) снял бюджетное обиталище в приличном районе недалеко от центра — в пятнадцати минутах хода от фешенебельного Синдзюку. По странному пируэту судьбы, перевозил нас туда новый знакомый на своем маленьком вэне — дородный и симпатичный отец Николай с Русского подворья.

Узенький двухэтажный домик по адресу Накано-ку Яёй-тё, навсегда впечатавшемуся в меня, был шириной в две невеликие комнаты. Построен он был исключительно с целью извлечения дохода (так и хочется добавить нетрудового) ветхой лендлордшей Ота-сан, которую все жильцы называли семейственно *оба-сан*, или бабушка. Мне же она представлялась пугающе правдоподобной персонификацией старухи процентщицы — согбенной, шаркающей и с жиденьким пучочком. Сходство было значительно, более натуральное, чем у японских актеров, изображавших в известных фильмах Рогожина или Актера с его коронной репликой «Мой организм отравлен sake».

К приезду иностранцев Ота-сан настелила новые татами и вынесла *все что можно* из комнаты и кухни. Оказалось, что можно было вынести даже газовую плиту. Войдя промозглым ноябрьским вечером в новое обиталище, мы увидели в кухне из бытовых приборов лишь образцово начищенный газовый кран, на котором была пришпилена записка из корявых иероглифов: «К включению готов». Одурающе несло свежим сеном с татами. На них мы и опустились, включив принесенный с собой керосиновый обогреватель, купленный по совету и при посредничестве бывалого гайгодайца. Запахло керосином. В совокупности букет напоминал дождливый вечер из дачного детства.

Квартира считалась чуть ли не двухкомнатной. Первая, восьмиметровая, сочетала в себе прихожую, кухню, столовую и гостиную, а вторая, почти десятиметровая, — спальню, кабинет и все остальное в зависимости от нужды и фантазии. Огромный стенной шкаф размером в половину комнаты существенно увеличивал жилое пространство. В такие шкафы японцы обычно засовывают все содержимое дома, чтобы казалось просторнее. У нас в шкафу на одной из полок, размером с чуть коротковатую для среднего европейца (175×110 см) полуторную кровать и высотой в 130 см размещался на ночь четырехлетний житель, с упоением там игравший то в юнгу в каюте, то в медвежонка в берлоге. Берлога и впрямь была теплой, чего нельзя



**В шкафу на полке размещался на ночь четырехлетний житель**

сказать, собственно, о комнате. С соломенного пола несло болотом. Лежбище было придвинуто вплотную к раздвижным окнам-дверям-стенам, выходящим в сад. По алюминиевым рамам сверху вниз бежали веселые ручейки невесть откуда изливавшейся влаги. Фу-

тон ее усердно впитывал, и, вероятно, не только наш: наутро хозяйки усердно вывешивали на заборы сушить свои футоны. С заборов несло влажным японским духом.

Решив следовать японскому образу жизни, я старательно пытался это выполнять. Выглядело это примерно так. Я располагаюсь, закутавшись в два одеяла, на полу перед низеньким столиком, за коим полагается сидеть на дзабутоне. *Дзабутон* — это футон для сидения, или подушка. Они у нас появились не сразу. Были стулья (с ножками, а точнее полозьями), но с них нельзя было дотянуться до столика. Одну руку я выпрастываю по локоть между одеял, а второй опираюсь в пол. Для печатания на компьютере она становится недоступна, и даже переключать регистр и делать большие буквы и запятые представляется довольно затруднительным.

На расстоянии метра потрескивает керосиновый обогреватель, новенький, но вонючий. Жечь его приходится потихоньку, ибо 82-летняя *оба-сан* боялась пожара, но спокойно относилась к тому, что квартиранты могут задубеть с непривычки. Вообще, зима в теплых странах — серьезное испытание. У нас осталась некоторая привычка к такой жизни — четыре иерусалимских зимы, но там условия были несравненно лучше. Дом наш на незабвенной улице Ха-Порцим шалаш топили по четыре-пять часов вечерами, имелось три электрообогревателя да каменные стены. В Японии понятие центрального отопления, или коммунального, на уровне дома отсутствует как класс. Добавить сюда тончайшие стенки, играющие чисто декоративную роль, и огромные стеклянные сёдзи — в одно стекло, естественно.

Стоит такое удовольствие 70 тыс. йен (ныне около 850 долларов) в месяц плюс астрономические счета. При этом в Японии полагается платить в момент найма за два месяца, давать двухмесячный же депозит, месячную ренту посреднику и, самое восхитительное, — «подарок» хозяину в размере месячной платы.

Наша квартира считалась дешевой. Другие, покрупнее или в более модных районах, могли стоить три, пять, семь

тысяч долларов в месяц. Размером они при этом были со скромную американскую или среднюю советскую. Мне довелось побывать и в богатой фешенебельной квартире в два этажа. В Америке такое жилье соответствовало бы upper middle, а в Японии в ней когда-то жил президент компании «Сони», ныне покойный. Квартиру эту после его смерти родственники стали сдавать богатым иностранцам за пятнадцать с половиной тысяч долларов! Забавным образом в роли иностранца оказался наш бывший компатриот по имени Яша Рыглин. Персонаж весьма любопытный. На карточке его было написано английскими буквами: «Отец Джейкоб», а в скобках добавлено для верности: «Джеймс». Он православный священник из Нью-Йорка, уехал из Москвы в 1970-е гг.; судя по специфическим интонациям, в Москву приехал откуда-то с юго-запада. В Японию батюшка Джеймс/Джейкоб прибыл с женой, которая служит представителем какой-то американской компании. Компания-то и снимает для служащей с мужем и детьми квартиру по баснословной цене. Муж доброхотно помогает окормлять японских прихожан на Русском подворье, а в остальное время перманентно ланчует в Tokyo American Club, что, по иронии японской судьбы, расположился на задах у советского/российского посольства, и высоко несет бремя, переходящее в пузо, белого человека в Азии\*.

Напольная жизнь имеет свою прелесть (примерно в том же значении, что у Стеньки Разина *прелестные* письма, коими он прельщал несмышленный и вечно готовый к бунту народ). Очень мило предаваться эстетическим досугам в пустом интерьере с пахнущими сеном татами, рассеянным светом, слабо просачивающимся

\* Какое-то время спустя после описываемых событий, копаясь в архиве Ешива-юниверсити в Нью-Йорке, я обнаружил вырезку из местной студенческой газеты от декабря 1975 г. На фотографии радостно возжигали ханукальные свечи вырвавшиеся из антисемитского ига бывшие советские евреи, среди которых застенчиво красовался в ермолке будущий православный отец Джейкоб. Согласно подписи в то время он был будущим рабби Яаковом. Вот ведь как иногда крутит советского человека.

сквозь матовые окна, и изысканно-сероватыми стенами, оттеняемыми толстыми балками темного дерева. Но ежевечернее расстилание постели на полу не просто нелепо по утомительной трудоемкости, но к тому же не вполне соответствует выработавшимся с детства гигиеническим привычкам. Может быть, они не столь уж и абсолютны, но почитаются за естественные, а потому не просто гигиенические, но и культурные, а от них отказываться уже сложнее. Досужие рассуждения заезжих публицистов о том, что японцы блюдут чистоту пола в своих комнатах на уровне чистоты обеденного стола, являются либо преувеличением от увлечения, либо услышанными через десятые уши байками. Соломенный пол по природе своей не *поддается* стерильному вылизыванию. Циновики толстые, 5–6 см, и довольно мягкие; они ощутительно проминаются при каждом шаге, соответственно, составляющие их соломинки то сдавливаются, то распрямляются, трутся друг об друга, перемалываясь потихоньку в пыль. Их плетеная, а потому сетчато-дырчатая поверхность превосходно впитывает пыль, носящуюся в воздухе. Ни веник, ни мокрая тряпка для этих полов не подходят. Частицы (чтобы не сказать хлопья) пыли, висящей в воздухе и воздымаемой грузным топаньем татамизированных европейцев, особенно заметны на таких чуждых японскому интерьеру субстанциях, как что-нибудь фабрично блестящее — корпус CD-плеера или экран компьютера (об ином не пишу, потому как иного практически и нет). Скорость появления на них слоя пыли ужасает и злит.

Вместе с тем приходит рациональное объяснение эстетическим предпочтениям японцев: делается понятным, исходя из какой сермяжной правды художественный гений японского народа полюбил матовую шероховатую поверхность, свойственную их традиционной керамике. В нарочитой грубости поливы (ни в коем случае, упаси бог, не глазури), в землисто-блекло-стиранных тонах, наплывах и затеках, в неравномерной паутинке кракелюр — во всем этом скрадывалась некоторая неизбывная при-

порошенность вульгарной бытовой пылью. Кроме того, переключенная в иной семиотический регистр, эта самая пыль эстетизировалась в качестве *припорошенности временем*, или *патины*. Лишь то имело истинное очарование в глазах традиционного ценителя, что обладало печальным привкусом потертости, выщербленности или носило на себе иной отпечаток бренности мира и мимолетности свежести. Недаром слово *саби* (одна из двух основных категорий средневековой японской эстетики), которое переводится обычно как «патина, отпечаток древности», омонимично слову *саби* — «ржавчина». Собственно, это было изначально одно слово, которое в Средние века стали записывать разными иероглифами — один употреблялся, когда речь шла о благородном налете старины, другой — когда имелась в виду прозаическая ржавчина.

Вообще, самое гениальное, пожалуй, что придумали японцы, — это умение из недостатка и неизбежности делать добродетель, и не унылую, морализаторски-пуританского толка, но изящно поданную как эстетическое совершенство. К такой космической многозначности их провоцировала умело заимствованная китайская иероглифика. Знак «пыль» имеет детерминатив «земля», знак «ржавчина» — «железо». Столь обыденные в обиходе пыльные горшки и ржавые кастрюльки приобретали отпечаток вовлеченности в извечный миропорядок изначальных стихий — земли, металла и др. ... Достаточно вспомнить, как мастерски описывал Танидзаки прелесть японской керамики и специфику японского вкуса в «Похвале тени». Говоря о секрете притягательности древней чайной чашки, составлявшей гордость какого-то старинного дома, он писал о пленительном красноватом пятне у края, что было ввевшейся губной помадой нескольких поколений гейш. «Японская красота, — делал вывод Танидзаки, — вещь нечисто-плотная». Танидзаки, кстати, писал и об эстетической притягательности японского традиционного туалета. Выступлю на эту тему и я.

С общественным справлением нужды дело у них поставлено образцово: количество точек избавления от

продуктов питания вряд ли уступает количеству мест общественного питания. Соответствующие заведения имеются на всех станциях метро, на детских площадках, на перекрестках и иных более неожиданных, но не менее удобных местах. С 1920-х гг., когда в одни и те же удобства заходили под ручку мальчики и девочки, дабы на время замереть над деревянными дырками, японцы сделали большой рывок в сторону прогресса. Нравы стали деликатнее и вестернизированнее. Исконное слово *бэндзэ*, буквально означающее «удобное место», почитается ныне неприличным. Его заменило новообразование *о-мойрэ*, родившееся из усекновенного американского *toilet*, к коему прибавили гонорифическую приставку *о*, что породило весьма типичный для современного японского языка гибрид, что-то типа «глубокоуважаемый толч». (О том, что такое японизированный английский, или *katakana English*, речь пойдет особо.) Здесь же, чтобы не слезать с облюбованного толчка, продолжу впечатлениями от посещения Мэйдзи-дзингу (мемориального храма императора Мэйдзи), дивной красоты архитектурного комплекса, расположенного в по-осеннему разноцветном парке. Так вот, красные клены и грациозно изогнутые крыши можно было с полным комфортом созерцать через панорамные окна прихрамового *о-мойрэ*.

Танидзаки писал, не избегая подробностей, к коим я отсылаю любознательного читателя, о полноте эстетического переживания и творческом вдохновении, регулярно испытывавшемся им при неторопливом любовании далекими горами, изысканно вписанными в раскрытую раму садового павильона Уединенных Размышлений.

Увы, в современных жилищах удобства не таковы.

В Токио еще, говорят, остались дома со службами во дворе или в конце коридора, но в подавляющем большинстве квартиры оснащены рассматриваемыми помещениями, во многих из них даже как символ прогресса возвышается унитаз вместо традиционной японской дырки в полу. Что составляет специфику местных туалетов, так это изощренная утилизация их внутреннего пространства.



В нашем доме это прямоугольник со сторонами 82×87 см, что составляет площадь в 0,71 кв. м (тысячные и десятитысячные я опускаю). Унитаз там может поместиться, только если его расположить по диагонали. При этом до смежных стенок остается еще расстояние приблизительно в 21 см. В этот, видимо, научно рассчитанный и допустимый японскими законами о защите прав потребителя промежутки плохо влезают длинные ноги пришельца (сидельца) с Запада. В такие моменты вспоминаются элегические танки про цикаду и невольно начинаешь завидовать ее в иных отношениях печальной участи, поскольку, подобно ее российскому собрату — кузнечнику, сидит она коленками назад.

Вместо того чтобы провести в туалет дорогостоящее отопление, японцы придумали махровые чехлы на сиденье, и благодаря этому первый контакт оказывается более ледящим душу, чем все остальное. Но за первым моментом следует второй и третий... Декабрьский холод спускается ниже, немилосердно захватывая незащищенные части избалованного иностранца, никогда ранее не задумывавшегося над тем, что символом цивилизации может служить теплый клозет. Мысль на морозе становится яснее, и сознание человека, глядящего подобно Бодхидхарме прямо в стенку (а точнее, две, сходящиеся углом) перед своим носом, прошибает *сатори* (просветление).

Кончая этот кусок своей саги о японской жизни, отмечу, что крошечная, как садик на подносе, раковина, из которой льется в бачок вода при нажатии соответствующего рычага (one-touch system), не позволяет распрямить пальцы под струей. Дверной косяк, устроенный на расстоянии в 170 см от пола, невзначай, но ощутительно вбивает в голову взлетевшего орлом из-под накинутого тулупчика экс-московского человека понимание, где он есть.

Принтер барахлит, не печатает все гладко-ровно, а оставляет пустыми строчки-полоски, этакие прогалы — *фубай*, «летающий белый», что почиталось высшим шиком и признаком мастерства в каллиграфии, но сейчас раздражает. И вновь напрашивается вывод: совершенно-

прекрасное в китайско-японском культурном круге есть ущербное, дефективное, сделанное не по правилам. Эстетизация бедности и сирости. Три кляксы, намалеванные пьяной метлой\*, почитались истинными ценителями несравненно выше, чем китайская работа кропотливого ремесленника, расписывавшего кисточкой из трех волосков миниатюрные стеклянные сосудики *изнутри*.

Вместо того чтобы ввести в домах отопление, японцы эстетизировали холод. Истинная красота определялась как *замерзшие-холодная*. Об этом в свое время вдохновенно пел автор «Иккю». Стылое очарование *кан* (холода) — это шорох мороза в лопатках, как выражусь я вслед поэту, вызывающему у меня, даже неловко признаваться, довольно смешанные чувства.

Вообще, японцы выводят, и, видимо, довольно успешно, морозоустойчивую породу, обрекая детей лет до двенадцати ходить исключительно в коротких штанишках и юбочках, которые соединяются с носочками тощими костыликами синева-того оттенка. Девочки постарше (в первые примерно десять лет репродуктивного возраста) также обходятся наикратчайшими шортами или юбками. Вылезая оттуда ходилки они вставляют в высокие (и жалостливо широкие для них) сапоги. Вид этих (лишенных приятных взору округлостей) псевдоикр и квазиляжек с обильными криогенными пу-



\* Вообще-то так одна дама выразилась про молодого Делакруа, но применительно к японцам сие еще более справедливо: и вправду метлой и в измененном состоянии сознания.

пырышками способен перебить крылья самой неистовой европейской либидушке. Время от времени на улице поднимая взор от сапожек туда, где кончаются ножки и начинается юбка, я практически никогда не нахожу того, откуда эти ножки растут. Вместо всем известных симметричных мест, которые В. В. Маяковский называл нижним бюстом, видим нечто ровное, ровнее, чем веревка. Вновь вспоминается Танидзаки. Говоря о культуре тени, ширм, завес и покровов, он выводил заключение, что благородные красавицы былых времен, обитавшие в полумраке традиционного интерьера и погребенные под коконом из десяти — двенадцати прямоугольно скроенных одежд, наверно, были лишены тела. Сейчас, когда эти ревнивые одежды пали, обнаружилось, что под ними действительно скрывалось сравнительно немного тела.

Среди пожилых женщин поражает обилие непрямоходящих. Трудно сказать, отчего проистекает столь частая согбенность стана: то ли от многолетней привычки земно кланяться, то ли от недостатка кальция, которого не хватает в традиционной диете и который, говорят, вымывается из организма какой-то особенной японской водой. Столь же по-разному — то ли от сидения на полу поджав ноги, то ли от того же отсутствия кальция — объясняются специфически кавалерийские курваты, часто заметные на улице.



## СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ТОКИО

Начнем с внешнего вида японского города — с архитектуры. Можно сказать, что в конечном итоге архитектура — это то, чем человек себя (в идеале) сознательно окружает; это рукотворная оболочка, при помощи которой он проецирует себя вовне и устанавливает себе место в нерукотворной природе. По поводу японской архитектуры и вообще культуры существует всеобщее мнение, что японцы издревле старались не слишком изменять лик природы своим вторжением в нее. В определенном смысле это так, но точнее, пожалуй, выразиться иначе: природолюбие японцев объясняется самым благоприятным для монументального строительства сочетанием климатических, сейсмических и геологических факторов, а кроме того, тем уровнем материального комфорта, который они хотели и могли себе позволить.

Вид современного японского города, и прежде всего Токио, достоин всяческой критики. С урбанистической точки зрения Токио представляет собой скопище скопищ — хаотически жмущиеся друг к другу или разбегающиеся небоскребы и особняки, храмы и храмики, специфические японские индустриально-строительные «хрущобы» и хибарки. Вместе с тем в Токио есть, конечно, немало приятных взору уголков, открывающихся не сразу и не для всех. Иногда Токио противопоставляют Нью-Йорку, который сначала предстает пришельцу из-за океана величественной столицей мира, а потом, при более детальном знакомстве, часто разочаровывает и даже ужасает видом каменных дворов-колодцев, специфически нью-йоркских пожарных лестниц на фасаде или тротуаров, загаженных легионом разноплеменных трущобных обитателей. Впрочем, архитектура Нью-Йорка как таковая за это ответственности не несет. В этом городе проявляется основная мировая тенденция конца века — наступление некоей стихии, что когда-то с испугу и по недомыслию назвали



**Безмянные проходы между домами и полутораметровые садики**

«каменными джунглями». Проще говоря, Нью-Йорк, а также Амстердам, Брюссель, Париж и другие европейские центры переживают нашествие пригорода на город, райцентров на столицу, колоний на метрополию. Вид нынешних нью-йоркских жителей

в малосимпатичных районах разительно не совпадает с видом домов, которые они занимают. Даже скромные многоквартирные дома еще в 1930-е гг. строились не без намек на стиль и архитектурные излишества (типичный нью-йоркский ар-деко). Ныне облезлые карнизы, архитравы, цоколи и замковые камни, с фигурной кирпичной кладкой в придачу, вызывают сострадание на фоне следов человеческой деятельности, состоящих в равных долях из граффити, ламбады, рэпа, маек до колен и обилия золотых цепей на смуглых и не по-городскому мускулисто-обнаженных телах.

В противовес этому в Токио народ соответствует своей архитектуре. Японский служащий смотрится вполне на месте в пустой восьмиметровой гостиной; японские старушки адекватны узеньким кривым улочкам, а точнее, безмянным проходам между домами, или полутораметровым садикам, где предусмотрено место для стиральной машины. И эта гомогенность живого и неживого в городском пространстве вызывает по меньшей мере чувство покоя.

Несмотря на ошеломляющую непривлекательность многих рядовых токийских улиц и на полное отсутствие хоть мало-мальской размерности и упорядоченности, нынешний Токио представляет собой плод сознательных усилий построить новый, современный город. Пожар, который, как некогда сказал классик, сильно способствует

← Центр Токио

обновлению, в XX столетии случился в Токио даже дважды, усиленный в первом случае землетрясением (1923), а во втором — американскими ковровыми бомбежками (1945). Уже 30 декабря 1945 г. японский Кабинет министров принял план послевоенного восстановления, в котором конкретно было расписано, какой надлежало быть столице. Ее, уже тогда страдавшую от переизбытка населения, предполагалось разгрузить городами-спутниками (Матида, Хатиодзи, Хирацука, Йокосука, Татикава, Тиба и др.) в радиусе 40–50 км от центра Токио и с населением по сто тысяч в каждом. Население же самого центра предполагалось ограничить тремя с половиной миллионами жителей, а более трети всей площади (около 19 000 га) отвести под зеленые пояса. Пояса эти надлежало пробить широкими радиальными проспектами по 100, 80, 50 и 40 м, чтобы сделать коммуникации прямыми и легкими.

Увы, практически ничего из этого осуществить не удалось. В 23 районах (ку) центрального Токио живет восемь миллионов, а вместо трети всей площади, покрытой парками, садами и скверами, по официальным данным, относятся к категории «зелени» лишь четыре тысячи гектаров, или в пять раз меньше запланированного. Что касается дорог, то ни одна из них не шире 25 м. Как с грустью признавалась токийская мэрия, этот план представлял собой всего лишь прекраснодушные визионерские мечты без какой бы то ни было возможности быть воплощенными в действительность.

В 1960 г. Кэндзо Тангэ предложил свой план застройки Токио, еще более отвлеченный и менее реалистичный. Это был последний мощный всплеск высокого авангардизма или модернизма, адепты которого всерьез пытались создать творчески активную гармоничную среду обитания человека.

Обнародование плана Токио Тангэ совпало с публикацией манифеста группы пяти молодых архитекторов (Кисэ Курокава, Фумихико Маки, Масато Отака, Киёнори Кикутаке и Нобору Кавадзоэ) — «Метаболизм-1960».

Когда на Всемирной конференции дизайнера в Париже (1960) манифест метаболизма вызвал восхищенное внимание западных неувыдающих сторонников социально-органического архитектурного проектирования, к японской архитектуре впервые отнеслись со вниманием.

Основными элементами архитектурного языка, который хотели ввести метаболисты, были гибкость и заменяемость. Традиционная «оприроденность» японской ментальности пришла на помощь молодым людям, разочарованным и запуганным эксцессами современной индустриализации. Альтернативу капиталистическому городу западного типа, но в ухудшенном восточном варианте (в нечто подобное Токио стремительно превращался в 1950-е) — городу давящих каменно-железных заводов, контор и коммуникаций — они видели в биологизации урбанистических принципов. В основу был положен метаболизм — биологический процесс воспроизводства и отмирания протоплазмы, посредством которого жизнь воспроизводит себя в череде старений-обновлений, смертей и рождений. Для архитекторов-метаболистов этот закон органической жизни был образцом при создании динамической городской среды, которая бы жила и видоизменялась во времени. Сам город предстал в качестве живой структуры, в которой выделялись бы (как члены и органы) отдельные здания. Устаревшие части естественным путем уничтожались, а на их месте предполагалось возникновение и рост новых. Идея была хорошая и интересная — «создать такую строительную систему, которая могла бы соответствовать возникающим проблемам нашего быстро меняющегося общества».

Промышленное чудо Японии 1960-х гг. вкпе с большими подрядами на строительство к Олимпиаде 1964 г. способствовали созданию целого ряда интересных памятников. Но забавным образом идея архитектурного метаболизма изначально сама себе противоречила. Она появилась лишь тогда, когда технически стало возможно строить здания из гибких металлических сочленений и предварительно напряженного бетона. (Апофе-

оз такого подхода был достигнут на 30–40 лет позже в фантастически-биологической архитектуре Фрэнка Гэри.) В этом отношении метаболисты коренным образом расходились с традиционной японской архитектурой, хотя с основными ее принципами они, на первый взгляд, совпадали. Общей была идея замены старых конструкций новыми (самый характерный пример — разборка-постройка первейшего синтоистского храма в Исэ каждые двадцать лет). Но обновление классических деревянных построек осуществлялось исключительно традиционными материалами (дерево) при сохранении естественной для природных материалов стоечно-балочной конструкции. «Биологические» же стремления метаболистов были возможны лишь при помощи индустриального железобетона. Весьма двойственного эффекта (горячо, за малыми исключениями, одобренного критиками) достиг в те годы Кэндзо Тангэ, художественно обыграв следы деревянной опалубки на бетонных плоскостях. Унылая плоскость бетона оприроденно заиграла, но имитация текстуры без старания обмануть обернулась «натуральными материалами для бедных» и едва ли не насмешкой.

Кроме того, Токио к 1960-м успели весьма густо и хаотически застроить послевоенными бараками. Ломать и расчищать в городском масштабе было уже вряд ли возможно, хотя идеи очищающего и продуктивного слома были и остаются весьма популярными. В этом ощущается наследие традиционной японской исторической реальности. Как писал историк архитектуры Риити Миякэ, «...основой исторического роста японских городов не было плавное развитие, почти всегда оно определялось катастрофическим событием. Воля строить город и возводить здание всегда соседствовал с реальностью разрушений и включала в себя импульс уничтожить объединяющее целое». (Любопытно, что в этом пункте японское национальное сознание парадоксальным образом совпадает с русским.)

Эта идея — ломать недавно построенное — сохраняется и в последние годы. Уничтожаются, чтобы уступить место новому, даже известные и значительные проекты. Среди

них — комплекс зданий Токийского муниципалитета, построенный Тангэ в 1957 г. (Сейчас на его месте возведен Токийский международный форум по проекту приглашенного с Запада Рафаэля Виньоли.) Снесены многие известные сооружения 1980-х гг. Известны случаи, когда новое здание заменялось другой, более выгодной структурой даже до начала его использования (Кристару Райто биру, Дворец Хрустального света, возведенный в 1987-м и разрушенный в 1990-м, и др.). Поэтому Токио и другие большие городские центры в Японии постоянно находятся в состоянии динамичного, чтоб не сказать лихорадочного, строительства. Даже лопнувший экономический пузырь притормозил процесс лишь немного. В 1990-е гг. строительство достигло небывалых масштабов, несмотря на рецессию.

Основная причина экономическая: земля в Токио безумно (иначе не скажешь) дорогá. После покупки владельцу приходится регулярно и постоянно платить чудовищной величины земельный налог. Поэтому землевладельцы, чтобы иметь доход с собственности, вынуждены строить в самые кратчайшие сроки, отдавая преимущество проектам, которые быстро окупят затраты по возведению и стоимости участка — офисы процветающих компаний, магазины моды, агентства средств массовой информации, рекламные и страховые компании и т. п. Можно сказать, что нередко эффектные и большие здания, образующие городской пейзаж, являются лишь предлогом для спекулятивных игр землевладельцев. В обществе, где царит яростная конкуренция, соображения выгоды требуют постоянно быть на виду. Поэтому новизна, яркость и необычность часто являются первейшими условиями при заказе новых сооружений. Все небоскребы в Синдзюку, куда переехала городская мэрия, вселившись в построенный Кэндзо Тангэ новый грандиозный комплекс, полны магазинами, галереями, ресторанами и прочими часто посещаемыми заведениями, не считая собственно архитектурных прибалбасов. Здания солидных компаний типа «Сумитомо» или «Кэнон» открыты для публики — туда можно войти, посмотреть выставку шедевров из какого-нибудь евро-

пейского музея, закупить чего заблагорассудится в десятках магазинов на нижних этажах, а потом вознестись наверх и закусить, обозревая округу с тридцатого или сорок пятого этажа. В промежутке можно, например, пройтись, замирая от страха, по «воздушному мосту» — стеклянной галерее на уровне тридцатого этажа, устроенной под крышей здания с внутренним двором.

К удобствам потребителя в японском городе существует весьма заботливо разработанная сеть мелочей вроде уличных автоматов по продаже напитков (холодных, горячих, а также горячительных), сигарет, презервативов и пакетов с рисом. Если добавить к этому туалеты на каждой станции метро и едва ли не на каждом углу, а также многое другое, то японский город оказывается вроде бы удобным для жизни.

Однако по сути дела, городские удобства, большие и маленькие, лишь компенсируют главное неудобство японского города — неудобство жилого дома. Традиционно (и, видимо, навсегда) японские жилища чрезвычайно маленькие и тесные. Во многих из них вряд ли можно заниматься чем-либо, кроме как спать на полу, на выгащенном из стенного шкафа матрасе. Отчасти поэтому гости по-прежнему предпочитают домой не водить. Для встреч или одинокой оттяжки существуют специальные публичные места — широкие променады торговых пешеходных улиц, кафе, бары, пабы, рестораны, харчевни, сусичные, рамэнные, рюмочные и прочие сакейно-питейные. Японский народ любит выпить и спеть. Для самодеятельного пения к услугам населения во многих заведениях есть машинки *караоке*. Для тех, кому мало в жизни страстей и переживаний, открыты залы игровых автоматов. Одинаковые *одзи-сан* («дяденьки») в костюмах чинно сидят рядами перед блестящими и вопящими однорукими бандитами и прочими инструментами виртуальной реальности и щедро кормят их железные утробы пластмассовыми жетонами. Кроме того, существует вид сезонных городских развлечений, например любование сакурой в садах и парках, куда положено отправляться всей компанией



Маленькие и тесные японские жилища (слева)

Ханами — народные гулянья под цветущей сакурой (справа)

(в смысле, конторой) и выпивать на пленэре. (Народные гулянья под сакурой в цвету в парке Уэно — это особая занятная тема.) В итоге жизнь токиота проходит вне дома (в коем по старинке сидит лишь традиционная жена, да и то все с меньшей охотой). Городское пространство служит огромной и всеобщей гостиной, коммунальной living room. Для некоторых наблюдателей Токио предстает даже городом без экстерьера, или, скорее, восточным городом, где жизнь кипит на улицах.

Вместе с тем огромные масштабы города сделали его территорию пространством коммуникаций — метро, электрички, автобусы стали подвижным обиталищем столичных и пригородных жителей на два-три, а то и четыре-пять часов жизни в день. Дорожная сеть в Японии чрезвычайно развита, и нередко развязки метро и хайвэев в три этажа занимают собой все пространство городских площадей. Из-за долгих и неизбежных перемещений на работу, к местам развлечений и снова домой токийский житель уподобляется вечно перемещающемуся в пространстве кочевнику, а город становится подобием временного лагеря городских номадов.

На высоком идейно-эстетическом уровне проблему урбано-номадической архитектуры разрабатывает с 1980-х гг. архитектор Тоё Ито. А на менее возвышенном

и более практическом уровне воплощением кочевой непривязанности и новой бездомности служат так называемые гостиницы-капсулы. Для поздно кончающих работу или загулявших до ночи служащих в центральных районах Токио существуют пристанища, предлагающие постояльцам номер, размером сходный с просторным гробом. Тем, кто не желает ехать домой два часа, чтобы проспять пять-шесть и снова ехать обратно, можно поместиться на одном из ярусов такой гостиницы в капсуле с лазом высотой в один метр и с прозрачной дверцей, как в микроволновой печи. Внутри можно сидеть, касаясь головой потолка, и смотреть мини-телевизор. В имеющемся на этаже холле можно добавить еще пива и поболтать с мужиками. Женщин в такие гостиницы водить запрещено. (Есть также пара капсульных вместилищ и для женщин.) Впрочем, в капсуле вдвоем особенно и не развернешься. Удовольствие провести ночь в такой гостинице стоит около 40–45 долларов (цены середины 1990-х), что, по токийским понятиям, совсем недорого.

Токийская жизнь может рассматриваться как развертывание различных уровней бездомности, и ночевки в капсулах-сотах-гробах еще не предел.

Такое число бездомных — в прямом и жестком смысле, как в Токио, невозможно представить ни в одной развитой стране. Бездомных там сотни и тысячи на всех центральных углах и газонах. В фешенебельном Синдзюку, в его километровых подземных галереях, площадях и переходах, бомжи в картонных коробках из-под телевизоров или холодильников образуют постоянное население, исчисляющееся буквально тысячами. Жизнь в постмодернистском и посткапиталистическом городе оказалась абсурдно перевернутой: основное (номинально имеющее жилплощадь) население Токио безостановочно снует по улицам и переходам, ибо переходы много просторнее и богаче сделаны, чем жилые дома, а бездомные бродяги перманентно вписались в переходы и пристанционные площади. Их картонные домики размером ничуть не меньше номеров в капсульных гостиницах и лишь не-



**В фешенебельном Синдзюку, в его километровых подземных галереях и переходах, бомжи в картонных коробках образуют постоянное население, исчисляющееся тысячами**

многим уступают обычным комнатам в четыре с половиной или шесть татами (то есть, соответственно, в семь или девять с половиной метров). Воспринимавшийся многими советскими читателями сюрреалистически, образ человека-ящика из одноименного романа Кобо Абэ при всей его хитроумной символике оказался пугающе натуралистическим и буквальным.

В 1980-е гг., когда стало ясно, что гармонического стройного тела японскому городу не дано, город стал восприниматься как некий гигантский текст или даже как «море знаков». Окончательно выяснилось, что органического сочетания между отдельными городскими элементами — например улицей и домом или соседними домами и районами — в Токио нет. Традиционный лабиринт узких кривых улочек, который был заповедан средневековыми оборонительными концепциями, оказался воспроизведен и усугублен стремительно-сумбурной послевоенной застройкой. Просветительские проекты высокого модернизма — учиться у природы и, используя технику, растить гармоничные организмы — потерпели очевидный крах. Практический житейский хаос возобладал над теоретическим дизайнерским космосом. Рефлексивной мысли ни-

чего не оставалось, как объявить пеструю «пиццу» строний и промежутков между ними наиболее характерной и исподволь промысленной приметой современности.

Поэтика эмпирической лоскутности и традиционной японской нецентрированности и неуравновешенности композиций призвала на помощь новейшие западные теории. Если город — это тело, заявили архитекторы 1980-х, то тело особое, без органов. В том они опирались на Жюли Делеза, который ввел термин «ризом» (rhizome), означающий отказ от иерархичности и соподчинения элементов в системе. Все это в избытке наличествует в Токио, за что он и был объявлен самым типическим городом современности — столицей нового fin du siècle и постмодернизма. И действительно, если мировой столицей конца XIX в. стал Париж с его бульварами, проспектами и пассажами, если в 1930–1960-е гг. архитектурной столицей мира был Нью-Йорк с его небоскребами, то символом невнятного и лишённого генеральной идеи нашего времени достаточно законно был назван Токио.

В отзывах о современной архитектуре фигурируют определения типа «виртуальная реальность», «галлюцинаторный объект» или «шизофреническая неопределенность». Японцы, для которых солнце восходит раньше, чем для остального человечества, лидируют и в этой сфере. Общая, некогда более-менее определенная реальность стала неактуальной. Эту реальность ныне принято клеймить как белую, мужскую и авторитарную. Границы бытия (или, скорее, воображения современных дизайнеров жизни) раздвинулись. В архитектурном выражении и применительно к Японии это означает, что раздвинулись под неопределёнными углами стены и ушли под землю потолки. Японские архитекторы приняли данность современного города, хаотического и бесформенного, и стали творить городской пейзаж, похожий на что угодно, только не на традиционное представление о городе.

Токио потому еще может быть назван столицей нового конца века, что это едва ли не самый радикальный на сегодняшний день *постурбанистический* город. Грандиозные

комплексы типа нового муниципалитета в Синдзюку выглядят анахронизмами (Кэндзо Тангэ был весьма не молод, сочиняя этот проект). Две его сорокапятиэтажные башни и огромная площадь перед ними напоминают башни готического собора и навевают представления о центральной власти. Большинство построек последних лет могут напоминать что угодно, только не какие-то архитектурные прообразы или институты власти, идеи центра и гармонии. Власть и не нуждается в эффектных архитектурных символах; в обществе, где отношения свелись не к правителю и управляемым, а к продавцам-покупателям, роль государства сведена на нет. В Японии все и без того послушно. В результате архитектура часто становится самодостаточной игрой тонких смыслов, намекающих на общую бессмысленность жизни. Иллюстраций этого множество. Например, знаменитая Башня в Мито прославленного Арата Исодзакэ представляет собой покрытую металлом спираль сложной конфигурации.

Новейшие зодчие активно используют такие приемы, как имитация горных речек, выложенных из прямоугольных строительных плиток внутри холлов зданий; или возводят здания, свободно растущие, как дебри первобытного леса, во все стороны, вверх и вбок — только не по вертикали и не по горизонтали. Вообще для классического японского искусства в высшей степени характерно отсутствие строгого членения на основные гравитационные оси — вертикаль и горизонталь — и предпочтение наклонных диагональных и всяческих криволинейных построений. В культуре XX в. и особенно в архитектуре Запада последних десяти лет этот принцип также стал доминирующим. С одной стороны, это приятно радует взор хитросплетением линий и плоскостей, к тому же демонстрирует всевластие человека над пространством и земным притяжением, а с другой — может восприниматься как потеря человеком точки опоры, точки притяжения и его новое — постклассическое — неустойчивое положение в мире.

Японские архитекторы ныне находятся в весьма непростых отношениях с природой, культурным наследием,



западными веяниями, современными материалами и технологией и традиционным японским представлением о доме. Простота, возведенная японской художественной традицией в абсолют, обожествленная под именем неуловимо пустых и бедных *ваби* и *саби*, вновь поманила архитекторов, уставших от промышленного чуда. Наблюдается этакое контрастование природы или вторжение внешних форм неотделанной человеком природы в сугубо культурную, рукотворную городскую среду.

Всем известно, что основу японского искусства образуют благородная скудость, суровость, ущербность, простота и недосказанность, покрытость патиной времени и изящная бледность.

Есть много причин возникновения таковой эстетики, и одна из них — та самая, которую обычно забывают европейские любители. Это прозаическая бедность в результате суровых условий жизни, частых землетрясений, разорений в затяжных междоусобных войнах.

Вообще, пресловутая оприроденность японской культуры есть в значительной степени проявление буддийского мирозерцания. А весь буддизм есть результат нехватки предметов первой необходимости, как остроумно выразился один из персонажей позднесоветской литературы. Наследие буддизма ныне проявляется в том, что остался страх перед таковою нехваткой.

В соответствии с эстетикой и миропониманием Дзэн, самоограниченность, возвышенная сухость, бедность и простота превосходят пышность и богатство. Воплощением дзэнского духа в эпоху Средневековья были тесные чайные домики, нарочито безыскусно сложенные из тонких жердочек и покрытые соломой. Отличала эти хижины возвышенная теснота, которая достигалась физической приниженностью — вход в домики был согласно канону около 60 см высотой. Многие модные архитекторы, немилосердные к богатым клиентам, обратились к этому опыту в наше время.

Один из ведущих японских архитекторов, Кадзуо Синохара, уже давно разрабатывает проекты, основанные

на концепции первичных элементов. Так, в Доме Земли (1966, Токио) он ввел землю в интерьер в виде глиняного пола; в Доме Таникава (1974, Наганохара) он сделал наклонным пол, следуя линии склона, на котором дом был построен. Косо сидящие соломенные крыши и общая несимметричность плана делали эти изощренные строения для богатеньких наследниками примитивных обиталищ глубокой японской древности. Дом при этом заметно переставал быть очагом комфорта и уюта. В этом заключался вызов антибуржуазного архитектора потребительскому обществу экономически процветающей Японии. Нарочито огрубленные бетонные и деревянные поверхности передавали наряду с идеей первичности и состояние *сырого* вещества, в противовес *вареному*, или окультуренному. Синохара пропагандировал идею *дикости*, согласно которой дома должны были воспроизводить и крестьянскую первобытную хижину, и джунгли одновременно.

Усиленное тяготение к примитивизму отличает еще одного известного архитектора — Тоё Ито. Его ранние дома напоминают первобытные пещеры со слабым, просачивающимся сверху светом, с запутанным и алогичным внутренним пространством, свойственным органической неправильности природных полостей и закоулков (Дом в Накано Хоммати, Токио, 1976). Живя по соседству с этим домом и не зная, какой он знаменитый, я простодушно думал, что это склад. Позднее Ито перешел к «анеморфной архитектуре» — архитектуре без твердых фиксированных форм. Такова его Серебряная Хижина в Токио (1984), где тонкие ажурные сетки, заменяющие внешние стены, постоянно видоизменяются под воздействием ветра — раздуваются, свистят и дребезжат. Отсутствие стабильности и привязанности к месту Ито черпает в мире кочевников.

Для философии новых «отвязанных» весьма показательен проект Т. Ито «Обиталище для токийской юной кочевницы» (1985, повторен в 1989), сделанный для большого столичного магазина и представляющий собой инсталляцию того, что можно в магазине этом купить. Инсталляция из магазинных шмоток предстает заместителем

постоянного дома — вещи оборачиваются багажом, а багаж — вещной оберткой человека без дома.

Еще один проект Ито — это дизайн временного ресторана «Клуб кочевников» (1986) в фешенебельном районе Токио Роппонги. Сам архитектор так отзывался об идее этого сооружения: «Ресторан служит оазисом для искателей приключений, которые обожают жизнь странников во всей ее странности... Я создал образ огромной палатки, на короткое время раскинутой посреди городской пустыни; в ней свечение неона напоминает о звездах». При этом дизайнеры городского кочевья используют отнюдь не первобытные строительные материалы — перфорированный алюминий, напряженные металлы, по заказу выполненные стальные рамы и сочленения.

«Кочевническая», «деревенская» и подобная ей архитектура, тяготеющая в итоге к антиархитектуре, отражает не только потерю места (стиля, стержня, самости) современным человеком. Стремление открыть дом свету, ветру, земле и зелени делает этот дом вместилищем пространства не *благодаря* архитектуре, а *вопреки* ей.

Вообще, концепция жилого пространства в Японии радикально отличается от таковой в западном мире. Изолированности и отъединенности от внешнего мира благодаря толстым стенам японцы практически не знали и, видимо, не хотели. Классический дом-беседка, состоящий из воткнутых в землю столбов, к коим сверху прикрепляли соломенную крышу, а с боков — декоративные экраны из бумаги, получил законченное развитие и теоретическое обоснование в эстетике и монашеской практике Дзэн. На всех классических картинах такие домики изображают с раздвинутыми стенками, чтобы лучше продувало, или (возвышенно выражаясь), чтобы не было отъединенности от окружающей природы. Крыше полагалось быть несколько протекающей, чтобы космическая животворящая сперма, сочетающая священным браком небо и землю (на вульгарном уровне воспринимаемая как дождь), орошала и просветленного мудреца. Вообще, *соану* («травяной хижине») приличествовало быть немного

недоделанным (в процессе становления) и одновременно пребывать в стадии разрушения (в процессе увядания). Его не жалко было сломать и не сложно соорудить в другом месте, куда приведут монаха, это «кочующее облако», странствия по зыбкому миру печали. Постмодернистские архитекторы, вооруженные хай-тек технологией, чтением французских постструктуралистов (а также памятью об опустошительных бомбежках и землетрясениях), удивительным образом соответствуют вековой японской схеме. Похоже, к этой непривязанности сильно подвинулся и остальной мир, снявшийся с места.

Но в японских городах можно увидеть и другие сооружения. Оппозицией эфемерным постройкам торчат на японских улицах суровые кубы знаменитого в последние десять лет Тадао Андо. Отличительной чертой его стиля стали голые бетонные стены, неприступные в своей монолитности. Он исповедует концепцию первобытного дома-убежища. Город-монстр ужасен; сливаться с окружающей природой в условиях большого города невозможно, а потому Андо ограждает своих клиентов от враждебного внешнего мира посредством сведения к минимуму количества отверстий. В его раннем Доме в Сумиёси (1976) нет не только окон, но и дверей, выходящих на улицу. Чтобы попасть в жилые комнаты, необходимо пройти через внутренний двор, и эти проходы под частым японским дождем должны с лихвой обеспечить количество метафизического контакта с космическими стихиями. Террористический — словно он хочет под шумок побольше напакостить богатым клиентам — минимализм Андо (для него не редкость потолки в 210 см) смыкается с религиозно-философской идеей минимизации жизненного пространства и житейских потребностей.

Недавний проект Андо — буддийский Храм Воды на острове Авадзи — представляет собой почти полностью скрытое под землей сооружение. Снаружи видна только тарелкообразная крыша с бассейном и под ней две стены (одна из которых кривая), ведущие ко входу, утопленному

в толще холма. Архитектура уничтожается. Выраставшая некогда над поверхностью земли, она исчезает и уходит под землю.

Таких проектов становится все больше. Знамением времени стало то, что авангардные (фактически, конечно, поставангардные) японские архитекторы часто получают теперь большие общественные заказы. Те, кто в 1980-е работал преимущественно на частную клиентуру и в своих немислимых и усложняющих существование проектах услаждал невыносимую легкость бытия богачей, вышли на массового потребителя. Степень алогичности и постархитектурности при этом не уменьшилась, а уровень городской шизофреничности, сообразно увеличившимся масштабам, возрос.

Т. Андо стал строить храмы и детские музеи (Детский музей в Химэдзи, 1989), Тоё Ито воздвиг музей в Яцухиро (1991), Хироси Хара — Городской музей в Иида (1988) и новый железнодорожный вокзал в Киото (1994), Ицуко Хасэгава — Культурный центр в Сёнандай (1991). Самым большим проектом является Артполис в Кумамото, объединяющий несколько десятков отдельных зданий в грандиозное предприятие на префектурном уровне, в выполнении коего участвуют практически все видные архитекторы. В их числе есть и несколько приглашенных западных авторов.

Практически каждый модный ныне архитектор построил хотя бы одно из зданий в Токио, Осака или Кобэ (Ботта, Росси, Гэри, Колхаас, Грейвз, Эйзенман, Портзампарк). Можно упомянуть здесь любопытный проект нового здания шоколадной фабрики Валентина Федоровича Морозова (Morozoff) на насыпном острове в Кобэ, принадлежащий архитектору А. Голицыну (Golitsen) из Голливуда и воспроизводящий элементы испано-мексиканской монастырской архитектуры в Калифорнии.

Наиболее интересным и показательным для текущей японской архитектуры являются два больших проекта в Токио — «Эбису Гарден Плейс» в районе Эбису и «Ай-лэнд» (I-land) в Синдзюку. Комплексы состоят из поме-

щений для контор и офисов, перемежаемых площадками для еды, гулянья и культурных развлечений. Включено даже, что составляет новизну проектов, некоторое количество жилых квартир. Сделано это для того, чтобы избавить хотя бы часть служащих от изнурительных поездок на работу. Тем не менее вряд ли цель будет достигнута, поскольку среднему служащему цена квартиры совершенно непосильна, а высшая администрация предпочтет жить в удаленных от центра и спокойных районах. Эти два комплекса могут служить финальной иллюстрацией к разговору о новейшей архитектуре Японии. Они законченно эклектичны и вполне шизофреничны. В «Эбису Парк Гарден» небоскребы из металла и стекла соседствуют с тщательно скопированным французским домом-отелем XVIII в. в окружении бронзовых отливок скульптур Родена, Майоля и Бурделя и под сенью гигантских деревьев из железных труб и конусов с качающимися и скрипящими на ветру жестяными листьями в метр длиной. В «Ай-лэнде» металлическая арматура отражается в стеклянных стенах, а те — в воде бассейна. Из него растут другие — наклонные — стены и косые мраморные параллелепипеды, положенные в воду просто так и покрытые письменами на нечитаемой письменности. При входе в этот «Остров» (island) с северной стороны посетителя встречает аляповато-красная скульптура Роберта Индианы «Love», сработанная в 1968-м и повторенная специально для японцев в 1994 г. По замыслу создателей, это произведение придает необходимый финальный touch всему комплексу. Многообразно обыгрывается название «Ай-лэнд» как «Остров», «Я — земля», «Моя земля» (пишется это название латиницей «I-land»), и, наконец, как «Земля Любви» (*ai* по-японски «любовь»). В целом и впрямь получилось достаточно привлекательно, по крайней мере по сравнению с более ранними сооружениями в том же Синдзюку. Может, на самом деле, чего не хватает современной архитектуре, и не только японской, так это любви — пусть хоть в незатейливо м американском варианте.



## ПОВАДКИ И НРАВЫ

## ПРО МОТИ

**Б**ойкий журналист непременно бы заявил, что Токио — это город контрастов. Наряду с представительными небоскребами Синдзюку, которым ни почем землетрясения (так, по крайней мере, уверяют их строители), существует море разливанное мелких деревянных или пластмассово-асбестовых домишек.

Жилой Токио и состоит преимущественно из двух- и трехэтажных домиков на одну или несколько семей. Почти все жилые дома окружены заборами. Заборы монолитные, большей частью из бетона в высоту среднего японского роста. Нередко идти по маленькой улочке означает идти между двумя рядами глухих заборов. Но при этом дома за заборами часто бывают открыты настежь — со всеми их раздвижными дверями и стенами. Вся внутренняя начинка, состоящая преимущественно из расстеленных футонов с обитателями в исподнем, невольно открывается взору заезжего дяди Степы, который, как известно, «...через любой забор с мостовой глядел во двор». Нельзя сказать, что японские обыватели были бы озабочены возможными чужими взорами. То, что делается за заборами, делается на их частной территории, и ни с кем внешним соотноситься при этом необязательно. Эта особенность культурного видения — не видеть то, что в зоне чужого дома, — особенно явственно проявляется в повсеместно распространенном обычае ежедневно сушить матрасы и одеяла на заборе, выходящем на улицу. При этом жилище ревностно оберегается от посторонних взоров и вторжений, и приглашать в гости по-прежнему не очень принято. Выпить и посидеть предпочтительнее на нейтральной, специально для того предназначенной территории — ресторане, сакея или сусия.

...Сегодня, 23 декабря, мусор не вывозится по случаю дня рождения императора. Собственно, не работают практически все государственные учреждения, а также монархически настроенные частники. Выйдя заплатить

по счетам в банке и купить марки на почте, я в полном изумлении обнаружил их закрытыми и решил, что, должно быть, началось японское Рождество. (Они везде понатыкали елок с конца ноября, а сейчас уже совершенно обезумели — от *Санта гёрлз* (*Santa girls*) прохода нет.) Лишь объявление на помойном месте разъяснило ситуацию.

Рождество для японцев — повод побольше продать и подешевле купить. Этим они, вероятно, немногим отличаются от западной публики, но нелишне заметить, что происходит подобное в стране, к христианству, а стало быть, и к Рождеству, относящейся довольно безразлично-прохладно.

Ходили гулять. У домов выставлены *кадомацу* — маленькие сосенки или отдельные ветки в косо срезанных бамбуковых стволах, обвязанных разноцветными шнурами. На соседней, обычно очень тихой улочке вдруг услышали какие-то хлопы и чавки, сопровождавшиеся заунывным пением. Человек семь-восемь перед одним из домов занимались *мотицуки* — колотили *моти*, помогая себе трудовой песней, смысл которой можно приблизительно передать, как «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, веселая, сама пойдет!» Появление длинноносых гайдзинов вызвало поначалу некоторое замешательство, но вскоре нам, смущаясь и посмеиваясь, начали объяснять древние обычаи японского народа по части мотиделания.

Моти — это такие рисовые колобки, традиционная пища богов и людей. То, что предназначается богам, ставят на алтарь под Новый год (а также рядом с *кадомацу*). Эти новогодние моти называются зеркальными (*кагами моти*) и выглядят как два довольно толстых диска с мягкими очертаниями, положенные один поверх другого, при том что верхний по размеру несколько меньше нижнего. Считается, что форма их воспроизводит древние бронзовые зеркала, а зеркало — это солярный символ, новое солнце Нового года. Кроме того, они символизируют уходящий и наступающий годы, а также инь и ян, а еще солнце и луну. Перед Новым годом их помещают на домашний синтоистский алтарь и венчают диким горьким апельсином *дайдай* (это название омонимично слову «поколения»). В один-

надцатый день первого месяца нового года (сейчас это обычно делают во второе воскресенье января) совершали ритуал «раскрытия зеркала» (*кагами бираки*) — традиционно при помощи топора. Зачерстевшие до окаменения моти после этого поедают. С конца XIX в. во многих школах воинских искусств с обряда разламывания и поедания моти начинают первые тренировки в новом году.

Хокусай не раз показывал разные стадии изготовления моти. Например, в «Манга» есть композиция, где довольное семейство поедает это лакомство. Между столом и печкой — колода для отбивания моти с двумя молотами.

Женщина в центре держит на вытянутых руках большой шматок отбитого моти — она несет его к молодой женщине слева, которая над утопленным в полу очагом печет колобки из моти. Сзади ей дышит в шею привязанный за спиной младенец, впереди пышет жаром жаровня — немудрено, что женщине жарко, и она распахнула на груди кимоно. Другая женщина, ближе к зрителю, распре-



Хокусай. Манга. Поедание моти

чинами, кстати, — приспособления для курения — высокая цилиндрическая пепельница для выбивания трубок, рядом — емкость для тлеющих угольков на слое золы.

И хотя моти — это всего лишь кусок рыхлого рисового теста, тут все не так просто. Прежде всего, моти — символ общинного единения: зернышки риса слепляются под ударами молота в единую клейкую массу, которую трудно разделить. И отбивание моти — это коллективный процесс, в коем участвуют мужчины и женщины, большие и маленькие. Кстати, о маленьких. В VIII в. монах Гёки — это он отличился при строительстве Большого Будды в Нара и основал храм на горе Такао, — чтобы освятить храм Миидэра, устроил отбивание моти силами шестнадцати подростков, вооруженных тысячей молотов.

Моти и по сей день принято изготавливать самостоятельно, старинным способом, практически не изменившимся в течение десяти веков. Моти делают из особого клейкого риса — *моти-гомэ*, который замачивают на ночь, а после варки этот рис желательно порушить вручную в деревянной ступе здоровенной деревянной же колотушкой. Потом в муку добавляют воду, слегка, тоже вручную, перемешивают, а потом долго и сильно, уставая и сменяя друг друга, здоровые мужики колотят вязкое тесто в той же ступе. Ступа (*усу*) обычно представляет собой долбленную колоду из толстеного дерева, а бывают еще и выдолбленные монолитные камни. Трудится обычно команда из трех человек — два молотобойца, бьющих по очереди, и старшой, который между ударами кропит тесто водой, ловко успевая отдернуть руку из-под надвигающегося молота (*кинэ*) 10–12 см в диаметре. Наблюдать это весьма занятно, а уж самому участвовать — и паче того.

Соседи-мотибойцы отнеслись к нам необычно приветливо, — возможно, они уже хорошенько разгорячились к нашему появлению. В стороне от кадушки стояли столики с закуской и пивом. Моти смазывали водой, а натуру человеческую — пивом. Когда все совсем размягчились и побратались, мне было предложено поучаствовать в изготовлении ритуальной пищи богов.



Бывает и такое (Хокусай. Манга)

Молот оказался тяжелым и с непонятно плавающим центром тяжести. Стараясь не посрамить отечество, я вдарил посильнее и попал в борт ступы. Старшой, говоря больше руками, как актер в театре Кабуки, показывал, как надо. Я тюкнул еще. Он едва успел отдернуть кропящие и недокропившие пальцы. Удар был снайперским — точно в середину. Несмоченное клейкое тесто вскипело как волна и опустилось на оробело хлопавших в ладоши японцев. Впрочем, это был еще не самый большой ущерб в Японии от новогоднего моти. Намного хуже бывает тем, к кому оно пристаёт изнутри.

Отбитое до кондиции моти разрывают на комочки и употребляют, пока не застыло. Оно противится жеванию, заклинивает скулы и приклеивается к гортани. Держа колобок палочками, его надо повалить в миске с какой-нибудь мелкой сыпучей приправой — от сахарной пудры до чуть ли не чистого кайенского перца включительно, моти приобретает вкус и меньше пристаёт ко всему, до чего дотронется. Но, не дай бог, при этом невпопад вдохнуть. По статистике, наибольшее количество стариков в Японии умирает под Новый год — те, кто простыл в холодном доме и те, кто



Хокусай. Манга. Разбивание «зеркального» моти после Нового года

подавился праздничным моти. Впрочем, есть и иные традиционные приправы: это *мамэ* — вареная фасоль, *кинако* — истолченная соя, *нори* — морская капуста, *анко* — сладкая паста из мелкой фасоли, *натто* — вонючая паста из перебродивших бобов и *одзони* — особое новогоднее варево. Более того, нынче моти мажут жидким шоколадом, тертым сыром или кокосом и даже запекают с беконом. Интересно, что бы сказала при виде такого моти с беконом богиня Амаэрасу? Возможно, спряталась бы обратно в свою пещеру. Впрочем, это еще не предел вторжения современности. В конце 1960-х гг. изобрели электрическую моти-варку: в сияющий металлом и пластмассой бочонок надо засыпать рисовый порошок с какими-то химическими реагентами, подлить воды, закрыть крышку и нажать кнопку — машинка зарычит и через минуту выплюнет инстант моти. Тем не менее исчезновения тысячелетней традиции не стоит опасаться: *мотицуки* — это коллективное времяпрепровождение, а многие начинают его снова ценить.

А вообще, среди гайдзинов-мотибойцев у меня были достойные предшественники — вот Эйнштейн под Новый, 1923 год, колотил.

## ПРО НОВЫЙ ГОД

У нас в районе Накано Симбаси есть храм Нагагава дзиндзя (храм Вечной Реки). В новогоднюю ночь там собралась огромная толпа — народ пришел дернуть за веревку священного колокола и выпить небесного саке. Мы дружно подошли почти в двенадцать и пристроились к очереди — бить в барабан. Вдоль очереди прошел храмовый прислужник, раздавая бумажки с номерами. Внутри ограды, рядом с входом, висит большая таблица с номерами разной степени счастья — кому-то повезет в этом году меньше, кому-то больше. (Мне выпало умеренное счастье — ну-ну, поглядим.)

Вдвенадцать из глубины храма вышел жрец и, усевшись перед барабаном, размеренно настучал 108 ударов. Новый год начался. После этого очередь пришла в движение. Каждый по очереди дергал веревку из рисовой соломы и произносил молитву. Погремев (а колокола представляют собой закрытые бронзовые бочонки с невидимыми снаружи языками), народ чинно отходит в сторону, к сто-

лам с *амадзакэ* — сладким, или новогодним саке. Храмовые прислужницы наливают чашечку бесплатно. Чашечки небольшие, но выпить до дна с непривычки трудно. Это не потому, что рисовая водка крепкая, — градусов там как раз почти и нет. Зато в ней есть тягучая мутная субстанция — взвесь из клейких рисовых комочков. Более всего это похоже по виду (и, наверно, по вкусу) на жид-



Новогодняя композиция кадомацу

кое тесто для блинов с обильным содержанием дрожжей. Я как профессиональный японист свою чашечку мужественно выпил и даже галантно допил дозу, отвергнутую менее толерантной женой.

Рядом с котлами, в которых бурлило и лопалось небесное саке, была устроена яма. В яме полыхал огонь. Народ, испивший небесной влаги, перемещался к яме и бросал в огонь всякие ритуальные новогодние предметы — *кадомацу*, гирлянды, новогодние куклы из бумаги и *хагоита*. Последние представляют собой расписные дощечки, напоминающие по форме весло. В древности они служили ракетками для игры в волан. Ныне, покрытые изображениями старинных красавиц и кавалеров в стиле гравюр *укиё-э*, они обычно стоят у домашнего алтаря. В храме Каннон в районе Асакуса устраивают ярмарку хагоита всех размеров — от игрушечных до почти неподъемных.

А костры во многих храмах горят еще целую неделю — в них всегда найдется что спалить, например куклу Даруму, особенно такого Даруму, который не выполнил загаданное год назад желание. Впрочем, того, кто желание выполнил, все равно сжигают и покупают нового.



Новогодний костер





Храм Мэйдзи-дзингу

Наутро мы отправились вместе с тысячами (если не миллионами) прочих токийцев на поклонение в храм Мэйдзи-дзингу. Этот крупнейший в Токио синтоистский храмовый комплекс представляет собой огромный парк, в центре которого и стоит мемориальный храм императора Мэйдзи. Часть двора перед храмом отгородили временным заборчиком. За ним расстелили на земле полотно белой пластиковой рогожи, на которую толпа метала молитвенные деньги. Их обычно бросают в специальные ящики перед фасадом, но тут подступиться оказалось невозможно. Зрелище было фантасмагорическое.

В воздухе пестрело от ручейков летящих йен. Стоял немолчный звон от падающих и перекатывающихся монеток. Бросали мелкие денежки — 5, 10, 50 или 100 йен (последняя примерно доллар), но помногу. Практически вся многометровая по площади подстилка была покрыта толстым слоем монет. В некоторых местах они образовывали холмики и горные цепи. Кое-где, приятно шурша на ветру, торчали бумажки в 1000 или 5000 йен. Перед забором сто-



Вотивные таблички в храме Мэйдзи-дзингу

яла цепь полицейских со щитами и в шлемах с опущенными забралами. То и дело горсть монет, брошенная из толпы неумелой рукой, звонко стучалась о полицейский лоб или части амуниции. У них под ногами скопились не долетевшие до забора россыпи и залежи. Далеко откатившиеся в сторону монетки радостно подбирали дети — чтобы забросить через забор, поклониться, стукнуть в ладоши, поклониться снова и подобрать что-нибудь еще раз.

В углу обширного двора находился стенд с молитвенными деревянными табличками. Называются они *эма* (картинки-лошадки) и, вероятно, заменяют одноименную архаическую жертву. На табличках (500–700 йен) можно писать молитвы и просьбы и вешать на гвоздик. Тысячи их глуховато постукивают на ветру. На одном из щитов я с изумлением обнаружил дощечки с текстами на иврите и на русском, причем русский был с ошибками — писал явно иностранец. Интересно, кто и зачем? Полуязычный продукт смешанного брака? Написал и я кое-что — вряд ли сработает, но все-таки...

## «ПОДОЖДИТЕ ЛЕГОНЕЧКО...»

**К**огда я снова приехал на год в 1996-м и вселился в Дом иностранных студентов и исследователей, что на Журавлином болоте в Йокогаме, оказалось, что я уже отвык от того, что никто никогда не может ответить ни на один вопрос самостоятельно. «Тётто о-мати кудасай» — «Подождите легонечко», — и начинаются бурные совещания с вызванными на подмогу начальниками. Вопросы я задаю уже второй день и вроде бы не сложные: когда дадут деньги, где взять телефонный справочник, как послать факс из моего номера, на каком этаже регистрируют иностранцев? Про меня совещающиеся стороны напроць забывают и закатывают бурные долгие монологи. Кончает один — начинает другой. Когда я встречаю и говорю, так как же с моим вопросом-то, мне отвечают, недовольно прервавшись: «Тётто о-мати кудасай».

Странный народ! Позвонил в дверь дяденька, ночной сторож, видимо. Вчера при моем вселении он бурно о чем-то тарахтел, бегал вокруг меня, чемоданов и секретарши по коридорам и, видимо, давал полезные советы. При вселении был казус: квартира (или номер, скорее) была прекрасной, если сравнивать с обиталищем у Ота-сан-покойницы — больше, светлее, два стола, четыре стула, две кровати, но ни единой чашки или простынки с подушкой. У них, видите ли, не гостиница, а Дом студента. Секретарша это с таким нажимом несколько раз повторяла, что я подумал, что студентам простыни с подушками по штату не полагаются. «Но я же профессор с профессорского этажа!», — тщетно пыжился я перед лупоглазой красавицей. Дело шло к пяти вечера, предстояло срочно бежать по их совету покупать простыни, одеяла, подушки. Наличности было на носовой платок, банки закрыты. Я задумчиво прошелся по своему профессорскому коридору и увидел малозаметную дверку с табличкой: «*Ринэн сицу*» — «Комната *ринэн*». «Ринэн» скорее всего могло означать *Linen* — постельное белье. Я спустился вниз. «Ринэн — что это такое?»

Служка смотрит и делает луп-луп — не понимает. Повторяю: «Вот там на нашем этаже есть “Комната ринэн”. Может быть, там хранится постельное белье?» «Со-со-со, — закивала специалист по гостеприимству, — мы даем его напрокат». «Так дайте мне, черт побери! Сказал же я вам, что у меня сегодня йен мало». «Тётто о-мати кудасай», — сказала девица и стала совещаться с дядькой-сторожем. Через пять минут извлекли на свет божий правила выдачи и с меня взяли по таксе. Если бы я не углядел той потайной комнатки, то они, сокрушаясь, содеснэкая и сососокая, оставили бы меня спать на голом матрасе.



— А как же мой вопрос?  
— Тётто о-мати кудасай.



亞細亞洲之内  
魯西亞國

假名垣  
魯文記

一川芳員  
泉市

西亞又俄羅斯作  
の封疆坤輿中第一  
の鉅邦にして其境界  
歐邏巴より起り  
北亞細亞  
没行し加模沙  
都加ふ至りて直ち我  
諸島の地と一衣帶水  
歐邏巴洲に係る部  
六十餘人口三十五  
八千餘人  
半卒と合々  
五十七萬  
氣候の總く  
酷寒甚しむ時ハ  
小銀凝固て流動  
不

# РУССКИЕ И РУССКОЕ В ЯПОНИИ

## НА ИНОСТРАННОМ КЛАДБИЩЕ

### Грязь истории

Течение времени напоминает мне грязный селевой поток — неумолимо и неостановимо сползая откуда-то сверху, поток этот затапливает мутной своей жижей все подряд. Сначала пропадают из вида низины и все, что было в них; потом уровень наносов все повышается и повышается. Сначала камни на дне оврага еще торчат наполовину; потом уже совсем скрытые, они смутно темнеют сквозь непрозрачную воду. Потом слой наносов делается толще, и ничего разглядеть и даже выудить уже нельзя. Грязь времени густеет и противится ковырянию и раскапыванию. Какое-то время остаются видными пригорки и холмы, потом — через сотни лет — только горы, окруженные непрозрачным густым болотом. Этим-то горам я и уподоблю тех людей, кто остается в истории. Потомки только эти горы и видят — часто тоже лишь верхушки — и судят по ним о прошлом. Суждение чаще всего получается неадекватным, но, наверно, в этом есть своя историческая правда.

Вообще, история — это скорее неиссякающий поток амнезии, нежели фиксация памяти. Наверно, это правильно. Историческое сознание не было бы историческим, если б было заполнено миллионами дней и миллиардами имен. Если смотреть на каждый камешек на дне оврага, то невозможно поднять голову и увидеть горы. К тому же с близкого расстояния большинство простых камешков оказываются похожими один на другой и вовсе неинтересными. Так и с большинством людей — делать с ними историку (если он интересуется личностями, а не типичными представителями) решительно нечего. Грустно, но что делать — во все времена большинство людей жили, чтобы просто как-то жить и выжить, а это в общем и целом занятие довольно однообразное и непривлекательное.

И тем не менее, история историей, но ведь каждый, кто умер и оказался затоплен последующими прилива-

ми времени, когда-то жил, и сколь бы ничемной с точки зрения вечности ни была бы его мелкая жизнь, был этот человек неповторим — носил имя, любил и, может быть, был любим. Все-таки несправедливо, что все они канули без следа. Хорошо, чтобы хоть что-то осталось — хоть имя.

Имя и именной список часто оказываются намного интереснее биографии как таковой. Вспомним пронзительную грусть классного списка в «Лолите», вспомним, как даже Чичиков отлетал душой над списком мертвых душ и предавался биографическим мечтаниям. Я чувствую себя сродни Чичикову — у меня в руках список мертвых, и я вволю могу мечтать о тех, кто уместился в одну строчку. Попытки разгрести наносы времени чаще всего оказываются малоудачны — даже когда что-то открывается (а часто не открывается вовсе), то своей житейской прозой, грязью и скудостью, своей определенностью эта эмпирическая данность оказывается куда как менее интересной, нежели виртуальная свобода имени в списке. Именной список — это своего рода оглавление книги, книги Судеб — какими носители этих имен не столько были, сколько могли бы быть.



И вот я сижу на Иностранном кладбище в Йокогаме, на покосившейся плите полюбившегося мне почему-то Шумского-Такахаси.

Цветет сакура, в воздухе разлиты тепло и благодать.

Настало время сказать, зачем я, собственно, поехал на этот раз в Японию. Отправился я туда в качестве Чичикова — за мертвыми душами.

Есть в Йокогаме старинное, редкостной красоты и поэтичности, Иностранное кладбище. Там покоятся те, кого в свое время в Японию занесла судьба, да так и не вынесла. Года полтора назад, в предыдущий приезд, я совершенно влюбился в это место — если уместно употребить такой глагол применительно к кладбищу. *Гайдзин боти* представляет собой тенистый пейзажно-скульптурный



Иностранное кладбище в Йокогаме

парк и сад камней одновременно. И под каждым камнем лежит судьба. А впрочем, судьба лежать не может. Лежат там бранные останки, каковые, в сущности, меня, скорее, пугают, нежели интересуют. Не потому что упырей боюсь, а потому что не хочу даже со своим богатым воображением представлять, что там лежит и как выглядит. Меня интересует знак — последний дорожный камень судьбы.

Я много лет пытаюсь понять, что за люди японцы. И чем больше я вижу, разговариваю, читаю, тем меньше делается мне понятным, как там живут — не приезжают на заработки или для сбора научного материала, а живут — иностранцы. Я вовсе не хочу сказать, что жить в Японии и в окружении японцев ужасно. Я сам часами млею, слушая в садике журчание водопадика или созерцая писанные тушью *фусума* в Синдзюане. Всего Россини, Моцарта всего отдам я за старинные, без названия, гнусаво-хрипчатые завывания *сякухати*. Впрочем, Моцарта всего не отдам, это уж чересчур. Я люблю свою Японию, вымечтанную и кое-где, проблесками, даже увиденную. Однако это настолько специфично, что если ты

не восторженный фанатик икебаны или дзэн-буддизма, или не одержимый проповедями миссионер Христов, то жить там сложно. Мне в Японии интересно многое. Меня вообще интересуют, как выражался Белинский, разные манеры понимать вещи. И то, как существовали в Японии иностранцы — люди, в принципе, более мне понятные, — мне интересно особо. А русских сейчас (если оставить в стороне совслужащих и девиц из борделей) на кладбищах больше, чем на улицах. Русская колония в Японии никогда не была большой. Перед войной, по самым щедрым оценкам, было около двух тысяч, а после войны большая их часть разъехалась — в Америку, Австралию, на Гавайи, даже в Советский Союз. Осталось фактически лишь несколько семей. Так что Иностранное кладбище является едва ли не самым значительным памятником былого присутствия россиян в Японии.

Камни тоже не вечны, но они разрушаются не столь быстро, как люди. Они несут своими полустертymi письменами последнюю память о тех, чьи дети и внуки тоже умерли или разъехались, или забыли язык и родство, или иначе как-нибудь исчезли. И в большинстве случаев некому приходится на Иностранное кладбище, «кудри наклонять и плакать».

Я сентиментален к умершим на чужбине. Они как бы умерли дважды — редко-редко кто забредет к ним в гости и прочтет имя, начертанное непонятными буквами. Сентиментальность вкупе с искренним интересом к необычным судьбам обычных, часто совсем простых людей и привела меня на Иностранное кладбище Йокогамы. Я копаюсь в архивах и в земле — в буквальном смысле иногда подкапывая ушедшие в землю плиты; я расшифровываю стершиеся и осыпавшиеся надписи, я фотографирую то, что еще осталось. Дай бог, выйдет книга, и кто-нибудь где-нибудь прочтет и встретит знакомое имя. Или помечтает над диковинной судьбой какого-нибудь беглого сахалинского каторжника или петербургской гимназистки, осевших навсегда на склоне йокогамского холма Яматэ...

Японцы называли умерших вдали от родного дома «невозвратимыми гостями». В старинном литературном языке «стать невозвратимым гостем» (*каэрадзару кяку-ни нару*) деликатно означало смерть на чужбине. Моя работа в Японии (не полностью, но в значительной степени) — приходиться временным гостем к невозвратимым. Разговаривая по-английски, я говорю, что мое занятие (*undertaking*) — быть духовным гробовщиком — *is to be a spiritual undertaker*. Это значит придать семиотическую завершенность и выраженность жизням, прошедшим на чужой земле и перешедшим в эту землю.

Многообразие архитектурных типов памятников, вавилонская смесь языков, кресты и магендавиды, мусульманские полумесяцы и масонские угольники, неприязнительная бедность в соседстве с помпезной пышностью — все это создавало картину необыкновенной библиотеки, и каждый камень был книгой судьбы. Надписи на камнях читались как захватывающие названия романов — имя, даты, города. Между датами часто умещались все революции века минувшего и катастрофы нынешнего; между местом рождения и последнего упокоения пролегла тысячеверстная география, часто немыслимая и жестокая одновременно.

Вот передо мной 12-й — преимущественно русский — участок. Рядком лежат русский, мексиканец, китаец, пара американцев, герой германской войны полковник Бакулевский, а наискосок — братская могила немецких солдат и матросов, погибших уже в следующую мировую войну. Сибирский купец Протасий Чудинов под пыльным крестом соседствует с петербургской дамой, женой французского дипломата. Через пару могил покоится армянский историк Бек-Авшаров, а дальше рядом с Александрой Антоновной Морияма лежит Нина Ивановна де Герарди... На одном памятнике латинскими буквами начертано: «Alexandr Sergeevich'» (разбился молодым на мотоцикле), а на другом кириллицей вырезано: «Франк Каллинг». На некоторых крестах таблички с имена-

ми уже исчезли; где-то и сами кресты стоят с обломанными концами.

Вот поломанный полустгнившийся крест И. Н. Землякова. Перед тем как сфотографировать, я подобрал и кое-как укрепил верхнюю часть. Похоже, не осталось земляков у Ивана Никаноровича, загнувшегося от чахотки в тридцать восемь лет перед самой войной. Жена и дочь после войны уехали в Америку... Рядом с его поросшей травой могилой — еще пара лет, и крест вовсе упадет — недавно была устроена



Могила И.Н. Землякова

пышная японская усыпальница некоего семейства Икэда. Что делать натуральному, даже не христианскому, японскому семейству на Иностранном кладбище среди крестов, магендавидов и полумесяцев — неведомо. Один старый и раздражительный русский говорил мне, что на обычном японском кладбище купить землю намного дороже. Если эта тенденция будет продолжаться, через какое-то время поверх оставшегося без земляков Землякова и иных, уже безымянных русских (а также еврейских, татарских, американских и т. д.) могил вырастут новые камни с надписями иероглифами. Вот и простая табличка моего любимого Шумского-Такахаси валяется сбоку (а два года назад еще кое-как торчала на могиле). Почему любимого? Сам не знаю. То ли комическим (а на самом-то деле трагическим) сочетанием этой двойной фамилии, то ли тем, что, как мне рассказывали старожилы, жена продала скелет этого Шумского в университет и уехала в Америку. Впрочем, нет — если скелет пошел на нужды науки, то



**Иностранное кладбище в Йокогаме. Сакура заметает все (слева)  
Могила Шумского-Такахаси (справа)**

кто же тогда лежит сейчас под моими ногами? Наверное, другой Шумский\*.

Думаю, что все-таки в ближайшее время полного запустения не должно случиться. Японские власти признали Иностранное кладбище памятником истории и культуры и по мере сил поддерживают на нем порядок. Прежде всего, туда никого не пускают кроме родственников и иностранцев. Остальным любознательным японцам остается только щелкать камерами на верхней смотровой площадке. Кроме того, японские волонтеры из Общества любителей Иностранного кладбища подметают дорожки и кормят диких кладбищенских кошек. Посильный надзор осуществляет и единственный платный служака, то есть хранитель. Он, естественно, японец, но не без причастности к русскому, — его покойный отец

\* Да, другой. Проданный скелет принадлежал, по всей видимости, Павлу Шумскому, которому, по сведениям японских архивов, исполнилось 38 лет в 1937 г.; он являлся членом Русской фашистской партии. Жена-скелетопродавица сильным, по отзывам старожилов, голосом обладала, в концертах романсы пела. Интересно, что эта история — любовь к классической музыке, фашизм (весьма опереточный, но все же) и утилизация костей — предвосхитила каждым компонентом то, что случилось в Европе спустя несколько лет, в начале 1940-х.

был православным священником в Йокогаме и провожал многих русских своих прихожан в последний путь. До этого, говорят, был несостоявшимся камикадзе. Видимо, он уверовал, что русский Бог помог ему пережить войну, поскольку закончилась она после занятия советскими войсками Маньчжурии, и вылететь в последний раз без колес и парашюта он не успел. Теперь сам отец Михаил Хигути покоится по соседству со своей паствой под присмотром сына.

Отдельный сектор (17-й) составляют еврейские могилы, хотя они встречаются и в других местах. Некоторые из них совсем старые — евреи были одними из первых жителей Йокогамы. Другие появились два-три года назад. На некоторых камнях надписи сделаны на четырех языках: древнееврейском, русском, английском и японском. А под камнями — свидетели революций, войн и прочих потрясений XX в. Лежат там и те, кто застрел в Японии до самой смерти, приехав в нее по «визе судьбы». («Иности-но бидза» — так называется одна из книжек про японского консула в Каунасе Сугихару, давшего возможность вырваться из оккупированной фашистами Восточной Европы пяти тысячам евреев.) Лежат там и богатые коммерсанты с Дальнего Востока (Мейер Люри) и приехавшие на короткие гастроли музыканты (Максим Шапиро, похороненный на участке Люри).

Еврейский угол находится в самой старой части кладбища. Рядом с ним — старейший из оставшихся до наших дней монумент над могилой двух русских моряков, погибших в Йокогаме в 1859 г.

**Торговый Дом**  
**Бр. ЛЮРИ.**  
в Николаевске

Коды на Амур, Хабаровске, Владивостоке, Харбине, Маньчжурин.  
Телефонный адрес: «ЛЮРИ».

**Рыбные промыслы:**  
на Амуре, Камчатке, побережье Охотского моря и Татарского пролива и в заливе Петра Великого.  
Кета, горбуша, сельдь и фабрикаты.

**Консервные заводы:**  
крабовые, лососевые и икры.

Агентства морских пароходных компаний.

**Фрахтование пароходов.**  
Контора, Агентства и Склады:  
Николаевск на Амуре, Владивосток, Хабаровск, Токио, Нюгатама (Япония), Харбин — Маньчжурин.

**Реклама Торгового дома братьев Люри**



Памятник балерине Э. Павловой



Памятник И. Василевскому

Дело было еще до официального открытия страны, точнее, Япония только-только приоткрыла щелочку, разрешив иностранным кораблям заходить изредка в Йокогаму для пополнения припасов. Порт Йокогамы был открыт с 1 июля 1859 года. 25 августа туда зашел русский корабль «Граф Муравьев». Мичман Роман Мофет и матрос Иван Соколов вышли в город и были зарублены «из патристических побуждений» проходившим мимо самураем.

Последовали правительственные извинения, а под холмом Яматэ появились две первые русские могилы, точнее одна, сдвоенная. Над ней был установлен балдахин, который сохранился лишь на старой японской гравюре. Само же сооружение погибло при одном из землетрясений. Впоследствии силами русского консульства был установлен простой крест, а площадка была обнесена цепями. Никаких надписей или даже имен погибших моряков там сейчас нет\*. Идентифицировать место могут лишь хранитель кладбища православный японец Хигути-сан, отец Николай с Русского подворья в Токио да автор сих строк.

\* Недавно там установили памятник.



Корейская собака, европейский крест, японская кошка

На каменной площадке, оставшейся от балдахина-часовенки, любят греться кошки, кудлатые и злые. Они чувствуют себя владельцами территории. Люди там ходят редко, кошкам это не нравится. Лишь они одни, шипящие зло с нагретых солнцем крестов, да еще преогромные вороны — настоящие кладбищенские: черные, зловещие, хрипато-картавые — нарушают мои меланхолические блуждания. Я их не на шутку, видать, тревожу, залезая в места, куда давно не ступала нога человека; они кружат парами надо мной, страшно каркая и перелетая с ветки на ветку и с ограды на ограду по мере моих неторопливых перемещений, ничуть меня не боясь. Ах, какое это упоительное место! С ним может соперничать только библиотека.

Многие старые плиты давно сдвинуты и служат облицовкой крутых стен; некоторые буквально вросли в землю — я их подкапываю, чтобы прочесть. Некоторые уже практически нечитаемы. Изгибаясь и так и этак, чтобы свет падал сбоку, и вода пальцами по слепым и стертým углублениям, вдруг видишь, как порвавшаяся вязь морщинок на камне вдруг складывается в слово — в имя, дату. Словно проблеском мелькает судьба. Помню, как в начале



моих визитов в одном месте, где были всякие иностранные обитатели, я, уже изрядно уставший и двигавшийся к выходу, увидел вдруг лежавшую плиту белого мрамора. И мелькнули на ней буквы «...долг...» кириллицей. Я остановился. Кроме еще пары букв больше ничего разобрать было нельзя. Мрамор — прекрасный материал, но только не для влажного ветреного климата. Вы, конечно, помните оплывшие очертания многих античных статуй — время, вода, ветер сглаживают камень. И здесь ничего разобрать было нельзя — некогда четко вырезанные буквы превратились в пологие борозды и полусглаженные рвы. Я накопал палочкой сухой земли и присыпал плиту; потом смахнул ладонью, и четко проступили на белом, выложенные оставшейся в углублении землей буквы: «...после долгой болезни... 32 лет...» и имя.

Затейливая цепочка ассоциаций тянет меня так сильно вбок и наискосок, что о генеральной линии (текста, места и образа действия, короче, жизни) невольно и забываешь. Этаким буддизм — плывущее облако, будь оно неладно. Когда-то я решил, что некий смысл и лад в мою жизнь внесет Дзэн, и японское искусство научит меня чему-нибудь этакому... Потом я подумал, что это все очень далеко и лучше попытаться понять коллизии встречи японского и западного, то бишь христианского сознания. И заинтересовался миссионерским сознанием. Потом подумал: как же эти святые бедолаги жили годы, десятки лет в столь невозможной стране? И занялся в итоге русскими в Японии. Это по кривой дорожке привело меня на Иностранное кладбище в Йокогаме, на котором я и провожу большую часть времени вот уже два месяца.

Восхитительное место, одно из наиболее любимых мною в Японии. Сочетание японской природы и европейских крестов; обилие имен и дат вокруг, которые своей отдаленностью во времени и месте происхождения вызывают интерес, почтение, элегическое настроение. Самое главное — полное отсутствие живых людей, большей частью таких неконгруэнтных в этой части света, прости Господи.

## РУССКИЕ В ХАКОДАТЭ

Я подъезжал к Хакодатэ. Позади остались горячие источники Ноборибэцу с недавно отстроенным музеем потемкинской айнской деревни и с краеведческим музеем культуры айнов. Самых айнов там уже давно нет, как нет их и в самом Хакодатэ, основанном в незапамятные времена как айнское поселение. Об этих первых жителях северных Японских островов напоминает в Хакодатэ лишь ресторан «Тя-тя» — так когда-то называлась деревушка, стоявшая на месте города. Листая в поезде путеводитель, я увидел зазывное объявление, призывавшее гостей города отведать айнской еды, глядя на русскую церковь. Собственно, последняя и являлась в какой-то степени целью моего путешествия. На следующий день я воочию увидел, что с террасы ресторана церковь и впрямь великолепно смотрится, радостно сверкая на фоне снега куполами и колоколами. Да, русские в Хакодатэ оставили о себе больше памяти и памятников, нежели айны, но и русский период Хакодатэ уже в далеком прошлом.

Поезд между тем нешибко тащился по сосновому лесу. Темнело. Повалил снег. За окнами мелькали лапы деревьев, низко согнувшихся под охапками снега. Вдоль дороги знакомо провисли пушистые провода. В стороне показался бревенчатый домик, из трубы валил дым. Пейзаж за окном столь разительно напоминал далеко-давнее, что невольно накатила российская дорожная тоска.

В углубленного вагона мужики пили пиво и негромко бранились. Рядом с ними в проходе лежали удочки и стоял подтаявший железный ящик с притороченной сбоку пешней. Но ватники на мужиках были поярче привычных, а пиво — в банках. И спорили они по-японски. Я путешествовал по острову Хоккайдо, а не по Владимирской области.

Перед самым Хакодатэ пурга улеглась; в городе ветра не было, и снег лениво кружился мягкими киношными хлопьями. До гостиницы меня довез холодный трамвай. Он по-старинному громыхал на частых стыках и раска-

чивался на поворотах, мелодично дзинькал встречным трамваям, а они то и дело выпускали из-под дуги снопы искр в темное провинциальное небо. В Токио такого не увидишь. Собственно, столько снега я не видел уже лет пять, а на трамвае не ездил и все десять, если не больше.

Бросив в номере сумку, я вышел в город. Вечер был еще не поздний, начало восьмого, но было темно и тихо. Не дрожали неоновые рекламы, и почти не видно было освещенных витрин и людей. Улицы были скользкие, по краям лежали сугробы. Местами снег достигал низких окошек деревянных домов. На некоторых окнах виднелись резные крашеные наличники, заметно облезлые. Вдоль улиц тянулись занесенные дощатые заборы с классическими остроугольными завершениями. Из-за заборов таякали собаки, провожая тоскливым воем удаляющийся скрип шагов заезжего иностранца. На перекрестках качались тусклые фонари, лениво перебрасывая с сугроба на сугроб желтые сгустки света. Хакодатэ до оторопи и сентиментальной грусти напоминал российскую провинцию — причем провинцию стародавнюю, сейчас, наверно, уже и не существующую.

Я брел мимо заборов по темным улицам и пытался представить себе, насколько же меньше, темнее и тоскливее зимними вечерами был этот городок лет 100–130 назад. Тогда в городке теплилась русская жизнь, впрочем, не просто теплилась, а была довольно заметной особенностью этого северного японского портового города. Я пытался представить себе, чем жил и о чем думал самый знаменитый хакодатский русский — отец Николай, который приехал в этот город двадцатипятилетним парнем, блестяще окончив петербургскую Духовную академию и бросив все — родственников, друзей, возможности карьеры, женитьбы — в России. Идея отправиться в Японию пришла к нему в одночасье как озарение. Он принял монашество (это было условием) и согласился служить настоятелем консульской церкви. Знал ли он, что проведет последующие полвека и умрет в Японии, побывав в России только два раза? Жуткое все-таки это дело — уехать

так далеко и надолго. Судьба его, подвижничество, сказочные внешние успехи и выработанная вследствие такой жизни и тотального одиночества внутренняя мизантропия меня весьма занимают. Мне кажется, я его до какой-то степени понимаю.

Официальных обязанностей у Николая было немного, знакомых — еще меньше, развлечений — практически никаких. Восемь лет Николай безвылазно прожил в Хакодатэ, фанатически упорно занимаясь японским и китайским языками, изучая литературу, историю и религию Японии. О его работоспособности ходили легенды: его учили четыре ученых самурая; когда уставал один, включался другой, потом третий... Николай перерывов не делал. Признаться, мне в это трудно поверить, хотя исключить не могу. Еще труднее представить его целеустремленность, или уместнее сказать, настырность: захотел он посещать уроки в частной школе — приходил, садился и слушал. Сэнсэй и хозяин просил его выйти вон и больше не приходите — он кротко улыбался, сидел до конца и приходил назавтра снова. В 1860-е гг. он регулярно посылал статьи в ведущие русские журналы того времени. Он и был своеобразным шестидесятником, как мне открылось, может быть, со знаком наоборот — горячим и деятельным, но вполне реакционным.

Потом, когда японцы открыли и другие города для иностранцев, Николай переехал в Токио, построил в центре огромный собор в византийском стиле и оставил стадо в тридцать тысяч крещенных в русское православие японцев. Статьи он писать забросил, о чем с сожалением вспоминал годы спустя в дневниках, вздыхая, как манила его наука. Грустный документ — эти его многотомные дневники, свидетельство наивного идеализма, фанатической веры, невообразимой работоспособности и довольно быстрого горького разочарования во всем и вся — в негодных русских помощниках, в неверных туземных чадах. Самое поразительное, что он писал отчаянные вещи ночью, трезво оценивая мизерабельность своего положения и безнадежность завершения начатого, а нау-

тро вставал в пять часов, молился и начинал вкалывать — учить, переводить.

Русское консульство появилось в Хакодате за два года до приезда Николая. В этот ближайший к Владивостоку порт время от времени заходили за водой и по прочим надобностям русские торговые и военные корабли. Для посредничества с японскими властями нужны были русские официальные представители. В городском архиве я наткнулся на прошения консула Ельницкого, служившего там в 1870-е, отпустить из полиции под его ответственность набуянивших русских матросов. Почти одновременно с консульством появились и русская церковь и кладбище. Штат консульства был небольшим, но люди умирали часто. Работавший в Хакодате сразу после Второй мировой войны американский ученый русского происхождения Александр Ленсен насчитал на кладбище 34 могилы. Он писал, что кладбище страшно запущено, некоторые камни повалены, многие надписи стерлись.

Сейчас положение несколько изменилось. При входе на кладбище власти установили большие щиты с текстами по-русски и по-английски, где рассказывается о славном периоде в истории города, когда там жили русские. Установлен новый забор с воротами на запоре. Придя туда наутро, я, немного поколебавшись, перелез через ограду и спрыгнул в девственный кладбищенский снег. Ноги проваливались по колено, а иной раз наступали, как на ступеньку, на занесенный могильный камень. Я расчищал плиты, читал имена и фотографировал, пока в камеру не набился снег. Пропечатать имена этих умерших на чужбине — значит хоть как-то вернуть их в русскую речь, в русский мир. К своему изумлению, я обнаружил два памятника с датами смерти «1968» и даже «1980». Кто были эти русские люди, не сумел толком сказать даже батюшка Антоний, он же преподобный Исидо — настоятель Хакодатской православной церкви.

Русская церковь — едва ли не главная достопримечательность города. Японцы любят помещать ее везде и всюду в качестве визитной карточки города. Она сто-



**Русская церковь в Хакодате. Японцы любят помещать ее везде (даже на винных этикетках) в качестве визитной карточки города**

ит с 1914 г. на склоне горы на месте первой, построенной при Николае в 1872-м и в начале века, в последние его горькие годы, сгоревшей. Ту, первую, японцы называли Ган-ган дэра — буквально, «храм Бом-бом». Так прозвали они ее за неслышанный дотоле звон русских колоколов — традиционные японские гулко бухают совсем иначе.

Нынешний священник протопоп Антоний — веселый разбитной малый, лет на пять-шесть меня старше, с нетипичной для японца бородой лопатой и в валенках. Он хорошо говорит по-английски (учился в Свято-Владимирской семинарии под Нью-Йорком) и может сказать по-русски «Здравствуйте, как дела, пойдем обедать, Господи помилуй». Несколько его предшественников по-русски не знают. С одним из них, девяностолетним старцем, который родился в Хакодате во время Русско-японской войны, я виделся на прошлой неделе в Саппоро, в доме при тамошней церкви. Улыбчивый дедушка полутора метров росту вручил мне визитную карточку, на которой русскими литерами было пропечатано: «Отецъ Иоаннъ Куриягава». Когда-то он написал книжку «Храм Бом-бом». На все вопросы он ласково улыбается и ничего не помнит.

Впрочем, основные вехи русской истории Хакодате известны. При населении всего в несколько десятков тысяч в русской школе училось до двухсот учеников, в основном японских детей. Существовал русский хор — первый хормейстер, консульский псаломщик Виссарион Сартов умер одним из первых. Успехи в распространении православия были намного скромнее. После первого невероятного успеха, когда Николай обратил воинственного самурая и к тому ж синтоистского жреца Савабэ, явившегося зарубить представителя запрещенного официально христианства (под именем отца Павла Савабэ стал первым священником из японцев и немало претерпел за веру), достижения были невелики. Судьба большинства русских учителей была трудной, если не сказать трагичной. Сменивший Николая отец Анатолий, трудившийся в Хакодате более десяти лет, вконец расстроил здоровье; родной брат его Яков, выпускник Петербургской консерватории, учил японцев музыке, женился на японке, истощил силы и уехал в Россию умирать в середине своих сорока. Отец Гавриил, преподававший в хакодатской школе, ослеп. Отец Димитрий сошел с ума... Некоторые быстро, уже через несколько месяцев, сбегали. «Уйти в бега, сойти с ума...» — это про такую жизнь сказано, ибо хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

Тем не менее русская жизнь была заметной. «Русская гостиница» Петра Алексеева обычно не пустовала. Алексеев, кстати, бывший крепостной, сопровождавший барина в кругосветном путешествии, был этим барином-сумасбродом отпущен прямо в Хакодате, когда на зашедший в порт корабль пришло известие об отмене крепостного права. Алексеев там и остался и пошел в гору, но быстро — лет в сорок — умер (в Токио).

Ленсен 50 лет назад еще видел последние стершиеся русские вывески. Ныне их не осталось даже в музее. Однако торговая реклама на русском языке сохранилась в путеводителе по Хакодате, вышедшем в Токио в 1912 г. В городском архиве я видел эту книжечку и переснял оттуда любопытные объявления типа «Мясная торговля Камада.

Живой скот, свиньи. Мясо: скотское, птиц. № 114 Суехиро-чо. Телеф. № 565».

В начале 1920-х гг. в Хакодате собралась русская колония, насчитывавшая без малого полтысячи человек. Это были русские, застрявшие в Японии после революции, а также несколько десятков крестьян-староверов, переселившихся в Японию в самом начале XX в. Звучит фантастически, но сибирские чалдоны искали на Хоккайдо мифическую страну Беловодье.

С середины 1920-х гг. русские стали разъезжаться — кто в Америку, кто хотя бы в Токио. Оставались те, кто связал себя брачными узами с местными. Например, после войны там еще жил под японским именем бывший офицер Коновалов. Интересно, как чувствовал себя русский офицер в той жизни?

В 1932-м Хакодате всколыхнулся еще от одной русской истории. Из какого-то советского лагеря — то ли на Камчатке, то ли в Приморском крае — бежала группа зеков, захватив сразу три лодки. Им посчастливилось добраться до уютной гавани Хакодате, где их немедленно сцапали японские власти и посадили в местную тюрьму. Что делать с беглецами из ГУЛАГа, японцы думали недолго — народ они законопослушный. Арестантов решили отправить и сдать по месту отсидки. История наделала шуму. Отовсюду поступали мольбы и протесты. Руководство Общины русских эмигрантов в Японии — Г. Чертков (будущий профессор в Нью-Йорке) и полковник Генерального штаба Бакулевский (умерший в Токио; кстати, не исключено, что полковником его сделал атаман Семенов), ринулись из Токио в Хакодате, но отбить беглецов не удалось. Японцы держали их в тюрьме, пока из Владивостока не пришел за зеками лагерный корабль, и сдали под расписку в НКВД. По сведениям Черткова, на архив которого я наткнулся в митрополичьей канцелярии Американской православной церкви в Сайосете, все беглецы были немедленно расстреляны.

Когда я уезжал из Хакодате, заходило солнце и картинно играло на видных отовсюду русских маковках. Вдруг повалил снег, сделалась метель.

## РАССКАЗ О ТОМ, КАК СОЧИНЯЮТСЯ РАССКАЗЫ

**Н**аверно, многие помнят сборники рассказов Бориса Пильняка «Расплеснутое время» и «Корни японского солнца» (1927). Они выпущены по возвращении Пильняка из Японии, где писатель побывал в качестве посланца советской культуры в марте 1926 г. (Второй раз Пильняк совершил поездку в Японию в мае 1932 г.) Пильняк был человеком наблюдательным, многое видел, со многими познакомился. В частности, с одним переводчиком русской литературы, о котором потом написал «Рассказ о том, как создаются рассказы». Напомню его историю.

В 1920 г. во Владивосток в составе японского экспедиционного корпуса прибывает молодой блестящий офицер. Покуда солдаты усмиряют бунтующих красных, он мирно читает произведения великой русской литературы. Волею судеб он стоит на квартире, где живет совсем юная гимназистка, которая по-детски фыркает от смеха, когда постоялец за стенкой декламирует «Дышара ночь восторгом срадострастья». Потом он визитирует ее по всей форме и в белых перчатках и делает предложение. Барышня удивляется, но предложение принимает. Офицер едет в Японию испросить дозволение отца-самурая и главнокомандующего. Оба с возмущением отказывают. Тогда этот блестящий кавалерист падает с лошади во время торжественного парада перед императором, ломает ногу и на законных основаниях добивается увольнения из армии. Хромая и в штатском, он едет во Владивосток, забирает невесту и с последним пароходом перед приходом красных увозит ее в Японию.

Далее Пильняк правдоподобно и пространно описывает, как непривычно было русской девушке в Японии и как спасала ее большая любовь. Супруг ее все время что-то писал, а потом выяснилось, что написал бестселлер. К ним понаехало множество газетчиков и прочего наро-

да, и все на русскую таращились и норовили поговорить с ней по-японски. С одним, который знал русский, она действительно поговорила и узнала, что ее любимый муж написал роман о своей любимой жене-иностранке и об ее иностранных привычках и особенностях. Подробно и достоверно было описано все: и как она содрогается в моменты страсти, и как у нее болит живот, и многое прочее, списанное из жизни, что японцы большие мастера делать, несмотря на всю поэзию. И русская женщина обалдела. Она обнаружила себя в роли объекта для наблюдения, а своего любимого мужа в качестве естествоиспытателя, который фиксировал все ее непосредственные каждодневные проявления, и уехала обратно, в Советский Союз, написав покаянное письмо советскому консулу.

Я не помню имен героев, но до сих пор помню впечатление. Я читал сборник рассказов лет двадцать назад (книгу дала мне одна старая поэтесса, чуть было не вышедшая за Пильняка замуж). Я поверил писателю и силился представить и чувства потрясенной женщины, и чувства мужа. В Японии на многое смотрят иначе, он, вероятно, сильно удивился, когда понял, что жена обиделась.

Спустя двадцать лет я встретил дочь этой пары и узнал продолжение истории.

На Иностранном кладбище в Йокогаме есть простой деревянный крест с надписью: «Вера Николаевна Ниидзума. 1903–1994». Фамилия Ниидзума встречается редко (означает она, кстати, «новая жена»). Я сразу вспомнил, что был в 1920-е гг. японец с такой фамилией, редактор еженедельника на русском языке «Новая Восточная Азия». О нем упоминал священник-эсперантист (он сам именно так несколько комически подписывался) Иннокентий Серышев, живший в начале 1920-х в Японии. Его мемуары под названием «В земном плане моего бесконечного бытия» я читал в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. В библиотеке Гавайского университета есть несколько номеров этого журнала, а в Японии о нем почему-то не знает никто. Мне довелось встретиться и подружиться со статной моложавой дамой,



**Иностранное кладбище в Йокогаме.  
На фото слева направо: Маргарита Ниидзума – дочь Веры Николаевны, Е. С. Штейнер, японские профессора-русисты Накамура Ёсикадзу и Наганава Мицуо**

дочерью Веры Николаевны. Из ее слов я понял, что Ниидзума был действительно тот самый редактор (хотя Маргарита никогда не слышала о журнале). Когда же она начала рассказывать историю матери, мне почудилось что-то знакомое. И встреча в оккупированном Владивостоке, и предложение по всей форме и в белых перчатках, и неприятие родных, и падение с лошади. Потом-то родня приняла русскую жену, особенно ее полюбил дед, — я видел его фотографию еще XIX в. в полном самурайском облачении и понял, что он должен был знать толк в женской красоте. Красота, действительно, была феноменальная — на фотографии начала 1920-х гг. Вера Николаевна в маленькой шляпке с вуалью выглядит царственно и нежно.

Маргарита, или, как ее зовут на японский лад, Марикосан, долго и обстоятельно рассказывала мне перипетии любви, войны, чудесного избавления от смерти во время

землетрясения 1923 г., а я все ждал развязки и умирал от желания спросить, как же Вера Николаевна оказалась похороненной в Японии: неужели вернулась?

Оказалось, что она в Советский Союз не уезжала и от мужа не уходила. А он не описывал ее натуралистично как диковинного заморского зверька. Пильняк это просто сочинил. Он впечатлился романтическим началом истории, но его как беллетриста не удовлетворил счастливый семейный конец. Впрочем, в жизни конец был далеко не счастливый. Пильняк этого, конечно, знать не мог. В 1938 г. его арестовали и убили, а супругам Ниидзума суждено было еще жить.

Жизнь у них в Токио была довольно тугая. Дзиро Ниидзума (известный в русских кругах под крестным именем Николай Иванович) пробавлялся переводами, изданием русско-японского журнала и уроками. Как вспоминает дочь, он пытался открыть в Токио школу для детей русских эмигрантов, но сложностей оказалось больше, чем он мог осилить. Семья отнюдь не благоденствовала, и после рождения второго ребенка (Маргариты, в 1932-м) они уехали в Харбин. Туда Ниидзуму позвали его бывшие армейские товарищи, дослужившиеся уже до генеральских и полковничьих званий. Ему предложили заведовать харбинской военной полицией, охранявшей железную дорогу. Попутно он преподавал в институте Харбин Гакуин, а в конце войны работал у Чурина, знаменитого на весь Дальний Восток еще с дореволюционных времен русского коммерсанта. Маргарита училась в японской школе, старший сын Евгений, окончивший летную школу, воевал в небе с американцами. Вера сияла немеркнувшей красотой и хранила домашний очаг.

Летом 1945-го стало окончательно ясно, что японцы войну проиграли. Евгений прилетел на своем самолете в Харбин за неделю до капитуляции и предложил вывезти всех в Японию. Николай Иванович из чувства долга отказался. Евгений улетел, и мать и сестра ничего не слышали о нем восемь лет. Потом выяснилось, что его сбили, и он попал в плен.



**Вера Николаевна  
Ниидзума**

А американцы между тем сбросили атомную бомбу, а потом еще одну. Советский Союз объявил Японии войну. Советские войска вошли в Харбин, директор Харбин Гакуин совершил харакири. Произошла капитуляция. Интересно, что Маргарита с ее прекрасным старинным русским языком и жаркой (хотя и беспредельно наивной) любовью к родине матери, говорит исключительно не «победа», как сказали бы русские, а «капитуляция», как говорят японцы.

Господин Ниидзума в первые месяцы советской оккупации Харбина вызвался посредничать между новыми властями и тысячами японцев, застрелявших в городе. Он организовал контору «Осава Дзимусё» и помогал людям готовить бумаги для репатриации; переводил их и носил в советскую военную комендатуру. Как-то в конце декабря домой пришли солдаты и спросили Веру Николаевну, где ее муж. Она приветливо ответила: на работе, в конторе. Солдаты ушли. Она вдруг встревожилась, побежала с дочкой в контору. Но солдаты там побывали раньше. Больше мужа и отца в семье Ниидзума не видели.

Через несколько дней он прислал письмо, где просил не беспокоиться и объяснил, что его знания нужны советским властям, которые просят его поехать в Советский Союз переводчиком. Еще он просил передать теплую одежду, еды и побольше чеснока. Маргарита помнит, как они с матерью везли на санках книги из его библиотеки, чтобы обменять их на еду и одежду. Книги пользовались спросом — тонкая японская бумага прекрасно подходила советским солдатам для самокруток.

Второе и последнее письмо пришло через полгода. По-русски отец писал, что он живет очень хорошо и что его единственная мечта — чтобы семья переехала в Совет-

ский Союз, а дочка поступила в Московский университет. Рассказывая об этом, Маргарита искренне сожалеет, что мать так и не собралась. Похоже, что даже спустя пятьдесят лет она не догадалась, при каких обстоятельствах отец написал то письмо. Он воспитал дочку в духе глубочайшей преданности русской литературе, и ее идеализм до сих пор не улетучился, не будучи запятнан соприкосновением с советской реальностью.

Они жили в Харбине, мать и дочь, и ждали. Советские ушли, передав власть китайским товарищам. Маргарита искала брата через Красный Крест, и через восемь лет он нашелся в Японии. Он выписал семью к себе. Уже в Японии они дознались, что отец «умер от болезни» в феврале 1946 г. в Чите, то есть через два неполных месяца после ареста.

Вера Николаевна стала религиозной. Она регулярно бывала в русском соборе, в котором служили русские епископы из Америки. Несмотря на советские и японские церковные интриги, собор оставался русским до 1970 г. Вера Николаевна была там членом Дамского комитета. Она сохранила красоту и благородную величавость до глубокой старости. Детям она привила любовь к России и русскому языку и память об отце. Мужа она пережила почти на полвека.

Всего этого Пильняк не мог вообразить, глядя из конца 1920-х — начала 1930-х гг. Ошибся не только он один. О романтической любви японского офицера и русской красавицы еще до войны были написаны два романа — один из них, «Эрико», создал известный литератор Осараги Дзёро. В 1941 г. об истории семьи Ниидзума была снята любовная мелодрама «Мой соловей». Съемки происходили в Маньчжурии, в Харбине и его окрестностях, в масовке участвовало множество русских жителей города. Во время войны все копии ленты пропали, и лишь недавно одна была найдена случайно в архиве телекомпании NHK. Ее героиня не дождалась показа фильма всего несколько месяцев.

## ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ В НАГАСАКИ

*У ней такая маленькая грудь,  
На ней простое платье цвета хаки.  
Уходит капитан в далекий путь,  
Оставив девушку из Нагасаки.*

С детства засели на задворках сознания эти слова из блатной песни. Спустя годы, бродя по Нагасаки и распевая в голос этот надрывный романс (чем изрядно пугал встречных японцев), я понял, что к слову «Нагасаки» нелегко подобрать русскую рифму. В угоду складу ее автору пришлось одеть портовую японку в платье цвета хаки, что трудно вообразить, даже если речь идет о временах последней войны и последующей американской оккупации.

Тем не менее Нагасаки достоин быть воспетым — если не в стихах, то хотя бы в русской дорожной прозе. Когда-то в этом порту зимовало немало русских моряков, и несть числа было коллизиям с японскими девушками, правда, не в платьях цвета хаки, а в кимоно.

Нагасаки расположен в юго-западной части Японии, недалеко от Владивостока. Он занимает особое место в контактах Японии с западным миром: четыре с половиной века назад через Нагасаки приплыли в Японию первые европейцы — португальцы и испанцы, а вместе с ними и первые проповедники-иезуиты, которые чуть было не крестили пол-Японию, пока их не выгнали. После чего Япония была надолго закрыта для внешнего мира. Исключение делалось только для голландцев — они имели право присылать в Нагасаки один корабль в год.

Туда же изредка заходили русские суда за припасами и свежей водой. Памятником этих ранних контактов стало русское кладбище, первые могилы на котором появились в 1859 г., когда на фрегате «Аскольд» вспыхнула эпидемия холеры и многие члены команды остались навеки в Японии. После открытия страны, с 1870-х гг., власти разрешили кораблям военного Дальневосточного

флота зимовать в незамерзающей гавани Нагасаки. На окраине города выросла русская деревня Инаса с бараками для матросов и коттеджами для офицеров. Для многих кораблей Нагасаки стал фактически портом приписки на два-три года, и таким образом там возникло полупостоянное русское поселение. Отношения с местными жителями сложились самые простые и сердечные. Во всех портовых городах мира девушки

любят моряков и их пропитанные солью и потом денежки, а в Японии, с ее простыми сексуальными нравами и давней традицией устраивать в портовых и ярмарочных городах бордели особенно. (В Японии бордели часто назывались чайными домиками — ср. гравюры Утамаро «Красавица из такого-то чайного домика».)

В русской деревне было принято заключать самые настоящие брачные контракты на год или два — на период пребывания моряка в Японии. В это время девушка с другими клиентами не путалась и выполняла не только супружеские обязанности, но и хлопотала по хозяйству, варила обед и учила моряка японскому языку. Последствия такого языкового обмена однажды чуть было не привели к досрочной русско-японской войне. Дело было так.

В начале 1880-х гг. в Нагасаки в составе морского экипажа стоял молодой офицер, великий князь и племянник государя императора. По обычаю моряков, он имел япон-



Нагасаки 1870-х гг.





Куртизанки за туалетом. Гравюра

скую «жену», от которой научился разным ходовым выражениям. Как-то его пригласили в столицу, где он представлял российский императорский дом и сидел на парадном обеде рядом с императрицей. Галантный великий князь решил продемонстрировать свое умение вести застольные разговоры по-японски и смело отпустил пару комплиментов. У окружающих самураев выпали из рук палочки. (К счастью, мечи им полагалось оставлять у входа.) Молодая же императрица была настроена менее воинственно и, по отзывам придворного летописца, закрылась веером от смеха: великий князь обратился к ней на грубейшем портовом жаргоне, употребительном исключительно среди девок и биндюжников. На помощь князю поспешил переводчик, а императрица, прощаясь после обеда, просила князя передать привет его милой учительнице.

Потом все происходило как в песне: «Отчего-то плакала японка, отчего-то весел был моряк». Как правило, годам к тридцати девушки из русской деревни выходили замуж по-настоящему, за японцев. Полурусские дети воспитывались по-японски, хотя не одна японская мамаша могла сказать подраставшему чаду: «Папа твой российский был моряк».

## РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ В НАГАСАКИ

**В** начале века Нагасаки облюбовали русские социалисты — политические эмигранты, попавшие в Японию после поражения Первой русской революции и в результате Русско-японской войны. Было их не более двух десятков, но агитацию среди русских пленных они развернули преогромную. Японские власти, естественно, это охотно поощряли. Социалисты издавали первую в Японии русскую газету под названием «Воля». Редактором-издателем ее был эсер В. К. Кадецкий, а печатником — И. Н. Кириллов. Газета выходила с апреля 1906 года и продержалась несколько месяцев. В ней можно прочесть любопытнейшие объявления — о том, что в редакции продавались фотографические карточки Марии Спиридоновой и о том, что на Первой Набережной улице была русская гостиница «Антонетти» с роскошными номерами и русско-французской кухней.

В газете сотрудничал знаменитый доктор Николай Судзиловский, он же Николас Руссель, народоволец, политэмигрант, американский гражданин, богач и демократически избранный президент сената Гавайских островов — личность баснословная, одним словом.

Увы, члены сената оказались некомпетентными политиками, проводимые ими «реформы» — безграмотными. Экономика островов пришла в упадок. Ввиду неминуемой участи быть съеденным акулами капитализма, Руссель уехал в Японию. Там он занимался врачебной практикой, а главное, проводил агитацию среди русских военнопленных, пока японцы не выслали его из страны. По просьбе российского правительства Руссель был лишен американского гражданства. Последние годы жизни Судзиловский-Руссель провел на Филиппинах и в Китае.

## РУССКИЕ ЕВРЕИ В НАГАСАКИ

**К** концу 1870-х гг. Нагасаки мог похвастать большой, едва ли не в тысячу жителей, иностранной колонией. Порт занимал стратегически важное положение, находясь в юго-западной части Японии и связывая ее с остальным миром, наряду с Йокогамой в центре страны и Хакодате на севере. Деловые люди из разных концов Старого и Нового Света устремились на дотоле закрытый японский рынок; среди них, как водится, были евреи, а еще один негр.

От многих остались только имена на кладбище. Некий Гриша Рубинштейн из Бриска пожил в Маниле на Филиппинах, заготавливая знаменитую тамошнюю пенку, переехал в начале XX в. в Нагасаки да и умер там 25 лет от роду. «Американец» (по паспорту) Джузеппе Шиллер (так он почему-то значится на памятнике) родился когда-то в местечковом Луцке, ничего не приобрел в Америке кроме паспорта, подался в Японию, где владел портновской лавочкой и умер «от переутомления» (официальная запись) 60 лет от роду.

С некоторыми русскими евреями в Нагасаки связаны трогательные истории. Яков и Мария Фельдштейны были выходцами из Одессы, как и многие другие еврейские жители Нагасаки. В этом нет ничего удивительного — Одессу и Нагасаки связывали с конца XIX в. морские линии. Одесситы играли заметную роль в развитии иностранной колонии японского города, строя гостиницы, рестораны и бары для моряков, всякого рода магазины и конторы. Селились они преимущественно в западной части иностранного сэттльмента, которая называлась Умэгасаки («Мыс сливового аромата»). Фельдштейны сдавали дешевые комнаты приезжающим, а разбогатев, перестроили дом и назвали его «Villa Hotel». Яков умер в 42 года, а Мария вела гостиницу сама и весьма успешно; она даже выписала к себе из Одессы племянницу и племянника, что и послужило причиной ее безвременной гибели в 36 лет от роду.

В те времена основным источником освещения в Нагасаки служили керосиновые лампы. Малолетние племян-

ники из Одессы залезли в кладовку с керосином и запалили спичку. Пламя поднялось столбом. Проходивший мимо сапожник Гофман спас девочку, а Мария Фельдштейн бесстрашно бросилась в огонь за четырехлетним мальчиком. Вынести живым его не удалось, а сама она скончалась от ожогов на следующий день. Сейчас от нее остался лишь старый камень на кладбище да заметка в англоязычной газете столетней давности.

Еще одно семейство выходцев из России занимало центральное место в иностранной общине Нагасаки: Лев и Анна Лесснеры и сын их Зигмунд. Их торговля процветала, и молодой Зигмунд стал на рубеже веков богатейшим евреем города и одним из самых влиятельных иностранцев Нагасаки. Отец его был габаем в синагоге. В конце XIX в. Лесснеры построили в Умэгасаки огромное здание с элементами мавританского стиля, который тогда повсеместно считали еврейским. Во время Первой мировой войны для Лесснеров настали тяжкие времена. У них было приобретенное перед приездом австрийское гражданство, и на все их имущество японцы наложили арест — как на принадлежавшее подданным враждебной державы. После войны положение немного выправилось, но Зигмунд Лесснер от переживаний умер в 1920 г., 60 лет от роду. Единственный из всех иностранцев он удостоен скульптурного бюста на могиле.

Смерть Лесснера ознаменовала начало заката еврейской общины Нагасаки. Люди стали разъезжаться. Синагога вскоре была закрыта. Сейчас кроме нескольких временных жителей (американских бизнесменов) евреи остались разве что на кладбище, в еврейском секторе кладбища Сакамото. Последний русский еврей, родившийся в Нагасаки во время Русско-японской войны (в 1906-м) жил до недавнего времени около Сан-Франциско. Это Роберт Люри, сын знаменитого на всем Дальнем Востоке рыбопромышленника Мейера Люри из Николаевска-на-Амуре. А может, Роберт и сейчас жив, — последний раз я разговаривал с ним по телефону в конце 1990-х; он был жизнерадостен и весел.

## ЧЕРНАЯ «BABUSHKA» ИЗ НАГАСАКИ

**В** самой колоритной русской даме Нагасаки, чей дом более полувека служил центром русской общины города, не было ни капли русской крови. Христина Щербинина по рождению имела отношение к Африке, Америке, Азии, но только не к Европе. Однако чего не хватило ей по рождению, было восполнено образованием и культурой. Ее история — вполне фантастическое, но убедительное свидетельство силы русской культуры и русского языка, которые могут быть сильнее азиатского климата, негритянской крови и поверхностной американизации современной жизни.

Христина появилась на свет в Нагасаки в 1879 г. Ее отец Ричард Форд родился где-то в Британской Вест-Индии в 1828 г. Со своего Тринидада или Тобаго он перебрался в Америку, освоил морские перевозки и в сорок с небольшим лет убыл в только что открытую для иностранцев Японию, чтобы основать там компрадорскую портовую контору. Дела его процветали, он построил большой дом в европейском стиле в центре иностранного сэттлмента и женился на японке.

Когда Черному Ричарду (так его называли в порту) исполнилось 59 лет, ему надоело сидеть на берегу, он бросил погрузку-разгрузку и ушел в море. Особенно часто он плавал в недалекий Владивосток, где у него были прочные торговые связи. Туда же он отвез дочь и определил ее в русский пансион.

Христина попала в Россию, когда ей было лет 12–13. Японцев и корейцев в городе видели предостаточно, но она оказалась первой чернокожей девочкой в тамошней гимназии. К ней отнеслись с особым вниманием и заботой, и достаточно скоро Христина освоила русский язык и образ жизни. По окончании гимназии она осталась во Владивостоке. В начале XX в. она вышла замуж за некоего капитана Щербинина, перешла в православие и родила троих детей.

Они много лет жили в центре Владивостока; Щербинин водил суда в Нагасаки, как некогда его тесть. (Старый Форд умер в 1903 г. и покойся в Нагасаки.) Потом случились война и революция. Семейству Щербининых было куда уплыть — естественно, в Нагасаки, где у Христины Ричардовны был отчий дом и старая мать-японка. В том доме она прожила последующие полвека, пережив мужа, мать и атомную бомбардировку.

Капитан Щербинин умер через несколько лет японской жизни. Вообще, в Японии многие иностранцы умирали сразу: то ли климат не подходил, то ли еще от чего, зато уж если жили, то жили долго. Так было и с Христиной Ричардовной. Ее родившиеся в России дети выросли, обзавелись семьями и уехали из Японии задолго до войны: дочь в Париж, сын — в Латинскую Америку. Следы их затерялись; если они еще живы, то должны быть уже в весьма преклонном возрасте. (Несколько лет назад во французской части Канады я встретил молодую даму с относительным русским языком по имени Julie de Sherbinine, но про ее возможную черную прабабушку я тогда ничего не знал, а потому не спросил.)

После смерти мужа, матери (в 1935-м) и отъезда детей госпожа Щербинина жила одна в большом доме на фешенебельной Минами Яматэ, 22, и, как свойственно благородным дамам в стесненном положении, зарабатывала на пропитание сдачей комнат внаем. Она свободно говорила по-английски и по-японски, но предпочитала русский и всю жизнь в доме устроила на русский манер. По утрам пила чай из самовара и ходила в церковь. Сама готовила русские обеды и любила собирать гостей на чай с наливками и пирогами. В комнатах было тесно от русских комодов и сундуков, покрытых платками с кистями и пестрыми лоскутными ковриками. Многочисленные фотографии в рамках на стенах представляли папу Ричарда, выгоревшего и похожего на негатив; маму Саву, пожелтевшую за десятилетия до неправдоподобия, а также государя императора с семейством и взорванный революционными матросами в 1918 г. Владивостокский собор.



Христина Ричардовна Щербинина —  
черная «бабушка»

Революция и гражданская война собрали в Нагасаки несколько сотен русских. Все они, от сахалинских каторжников до царских генералов, признавали авторитет Христины Ричардовны и величали ее по-домашнему «бабушкой» (а называя по имени-отчеству, ударение почему-то делали на втором слогe — Рича́рдовна). К ней ходили, например, члены российского консульства, до середины 1920-х гг. номинально представлявших там

царскую Россию: консул А. С. Максимов и исполнявший обязанности военного атташе генерал Подтягин.

В 1923 г. в Нагасаки приезжал из Дальнего атаман Семенов собирать силы и деньги для борьбы с большевиками; возможно, Христина Ричардовна поила чай и его.

На своих русских чаепитиях она, сидя во главе стола, разливала чай, оделяла всех вареньем и рассказывала истории о жизни в благородном пансионе конца XIX в. или о парадных обедах во владивостокском офицерском собрании. Когда нагасакские русские грызлись от эмигрантской бедности и по русской привычке, то «бабушка» Христина судила и примиряла. Ее мнение уважали, а ее домашние рецепты переписывали и использовали в нескольких русских ресторанах города. Последний из них, «Харбин», был открыт русскими выходцами из Китая в год восьмидесятилетия Щербининой. Еще совсем недавно можно было зайти туда и заказать японской обслуге «*борусити*» (борщ) от бабушки Христины.

Во время Второй мировой войны Щербинина пережила множество бомбардировок города. После одной из них на русском кладбище разметало остатки гробов и костей русских моряков и солдат, лежавших там во множестве со времен Русско-японской войны. (Согласно вышедшей в 1940 г. брошюрке «Россия боти бохимэй», на кладбище было около 270 могил, включая братские.)

Но бомбы пощадилы кладбище Сакамото, где покоились родители Христины Ричардовны. А ее пощадил атомная бомба, сброшенная американцами на Нагасаки в 1945 г. Щербинина пережила атомную бомбардировку на двадцать лет и умерла причудливым обломком империи в 1966 г. Похороны ее собрали русских и иностранцев со всей Японии. Многочисленные вещи и вещицы поделили друзья и знакомые. В одном доме в Токио я видел пару расписных фарфоровых яичек. «От бабушки Христины», — гордо сказала хозяйка, заметив мой интерес.

Через несколько лет пустой и обветшавший дом Щербининой снесли. Сейчас уже ничто не напоминает об иностранном сэттльменте в Нагасаки и его русских обитателях. Русских в Нагасаки практически не осталось. Церковь закрыта. В 1996 г. за счет русских властей и японских доброхотов на частично восстановленном русском кладбище был поставлен памятник и отслужен молебен приезжавшим из Токио священником.

## ЛИДИЯ ПАВЛОВНА, ПОСЛЕДНЯЯ МОГИКАНКА

**В** конце октября 1994 г. во втором часу пополудни в ничем не примечательную районную больницу Аихара в токийском пригороде Хасимото нагрянуло важное начальство из городской управы. Руководство больницы было предупреждено о визите, а мелкий персонал, который в Японии боится начальства не меньше, чем персонал российский, встревоженно всколыхнулся. Однако выяснилось, что важные персоны из мэрии явились не с проверкой. Они пришли засвидетельствовать почтение русской даме, второй год живущей в одной из палат. Даме исполнилось сто лет. По этому случаю ей был вручен подарок — сто тысяч йен наличными. Лидия Павловна — так звали необычную пациентку — торжествовала. До этого она не слишком жаловала японскую систему здравоохранения, но увидев пришедших к ней с поклоном отцов города, почувствовала свою значимость.

Как случилось, что урожденная жительница Петербурга (не нынешнего Петербурга, что в Ленинградской области, а того, настоящего), проведшая в столице империи двадцать два года и вышедшая там замуж, встретившая революцию вполне взрослым человеком, тихо доживает свои последние годы на больничной койке в обыкновенной японской больнице?

Впервые я услышал об этой русской долгожительнице в Японии ровно год назад, в середине ноября. После заседания русской кафедры в Токийском университете Святой Софии, профессор кафедры Галина Ивановна Павленко, живущая в Японии уже лет двадцать, повела меня в ближайшее кафе, что напротив церкви Св. Игнатия. Перейдя с литературных проблем на дела житейские, я упомянул о том, как сложно снять в Токио недорогую квартиру семье иностранцев с ребенком. «Постойте, — сказала Галина Ивановна, — есть одна квартира. Недорогая и даже большая. Ваша жена умеет варить гречневую кашу и борщ?»

Выяснилось, что в этой квартире живет престарелая русская дама, бывшая преподавательница кафедры, а недавно она сломала ногу и лежит в больнице. К японской пище дама никак не привыкнет, и нужно два-три раза в неделю варить кашу и приносить ей в горшочке в больницу. «А сколько лет даме?» — поинтересовался я. Галина Ивановна засмеялась: «Вообще-то сто один, но она уверяет, что только девяносто девять». Я поперхнулся усами омара, запеченными в тесте.

Оказалось, что у Лидии Павловны есть разночтения в документах. Не без ее собственного волевого усилия она помолодела в некоторых бумагах на два года. Сделано это было не только из женского кокетства. К такой мере старушка прибегла, чтобы подольше не уходить на пенсию. Когда дело подошло к девяносту, на пенсию ей все-таки пришлось отправиться, но эта уловка позволила японским властям, как теперь выяснилось, протянуть со своими ста тысячами йен (около тысячи долларов) целых два года. Несмотря ни на что, старушка дождалась подарка...

Но попробуем по порядку.

Наша героиня родилась в старинной дворянской семье и носила в девичестве фамилию Никольская-Теплякова. Она любит вспоминать «детство Лиды», большой дом, семейные обычаи и манеры. Манерам она по-прежнему придает большое значение. Когда я явился к ней с цветами и сунул поцеловать ручку, старушка оторопела и воскликнула: «Как, вы дворянин? Нет-нет, не отказывайтесь, я знаю, это только в нашем кругу так к дамам подходят». «Увы, сударыня, — конфузливо отнекивался я, пробуя все же на свой лад покичиться происхождением, — но родился на Арбате». «Где родился?» — «На московском Арбате». — «Не разберу, батюшка, что вы такое говорите». — «На Арбате!» — закричал я на весь коридор японской больницы. Светское общение начиналось трагикомически. Впрочем, старушка была больше охотницей говорить, нежели слушать. За сорок без малого лет жизни в Японии она так и не выучилась говорить по-японски и с удовольствием болтает по-русски с редкими своими посетителями.

Я попросил Лидию Павловну рассказать о петербургском детстве. Она с увлечением описывала тяжелые двойные двери их квартиры на Литейном; вспоминала, как они с мамой ездили на санях в Пассаж покупать подарки к Рождеству. Я смотрел на высохшую старушку в кресле-каталке и пытался представить себе гимназистку румяную в опушенном снежком капоре. Постичь, что все это происходило еще до Русско-японской войны и революции 1905 г., было сложно.

«Вы не верьте, когда говорят, что рабочие восстали, потому что мы их угнетали. Неправда. В нашем кругу всегда с уважением относились к народу. Вот у нас в доме девушка была, Катя. Нас, детей, учили к ней на “вы” обращаться. А еще была кухарка, Федосья Фаддеевна. Как она, бывало, испечет торт, нас папа спрашивает: “Вкусно было? Ну а если вкусно, пойдите, поблагодарите Федосью Фаддеевну”. У нее комната была за кухней. Всегда с братом ходили “спасибо” сказать. Нет, мы с простым народом всегда хорошо жили...

А революцию эту — так то большевики сделали. Ленин из Швейцарии специально приехал. Вы знаете, — Лидия Павловна сделала паузу, но желание высказаться взяло верх. — Вы знаете, у него же была дурная болезнь. Он был просто не в себе! Вы меня понимаете?»

О революции у Лидии Павловны, к счастью, несколько отвлеченное представление. Выйдя замуж за служащего Китайско-Восточной железной дороги, она еще в 1916 г. уехала с мужем в Харбин. Этому городу, раскинувшемуся на сопках Маньчжурии, вскоре суждено было стать столицей белой эмиграции на Дальнем Востоке и слыть еще почти тридцать лет городом более русским, нежели осоветившиеся города и веси метрополии.

Как тогда жила Лидия Павловна? Как все, тяжело. Можно представить себе состояние людей, приехавших в Харбин поработать, как тогда казалось, несколько лет по контракту и вскоре узнавших, что в России революция, потом что царя убили и все со всеми воюют. Красные, как известно, победили, на КВЖД приехали совслужащие. Прежний персонал оказался большей частью не у дел. Муж Лидии

Павловны умер. По городу время от времени маршировали молодчики Российской фашистской партии Родзаевского и атамана Семенова. После них с маршами протеста на улицы выходили чернорубашечники Бейтара. Потом пришли японцы, потом русские. Власть стала народная, китайская.

После войны Лидия Павловна перебралась в Шанхай. Там собралась вторая по значимости после Харбина община русских эмигрантов. С конца 1940-х гг. она быстро сокращалась. Люди ехали от Мао Цзэдуна в Америку, Австралию, Израиль. Немало их подалось в Россию, купившись на посулы «все простить», и застряло в Сибири. Лидия Павловна оставалась в Китае одна из последних — до 1958-го. Она нашла работу в каком-то советском представительстве, а потом и в консульстве, где потребовалось ее знание иностранных языков и умение печатать на машинке. Посольские товарищи ей неплохо, по нищим китайским понятиям, платили, уважали и даже выдали советский паспорт, чем Лидия Павловна одно время страшно гордилась. Более того, она засобирались было на родину, но случилось чудо: посольские товарищи отнеслись по-человечески и деликатно отсоветовали.

Мао Цзэдун крепчал, и Лидия Павловна решила податься в Америку. Ехать предстояло через Японию, куда необходимо было выбраться в ожидании неспешной американской визы и где невозможно было задержаться надолго, — японские власти зажившихся иностранцев вообще не жаловали, а непонятных китайских русских в особенности. Но с Лидией Павловной снова случилось нечто похожее на чудо: ей предложили остаться в Японии.

В то время она уже носила чудную (ударение можно поставить на любое «у») фамилию Веселовзорова — по второму мужу. «Дрянная фамилия, — говорила она мне с пренебрежением, — да и мужичок был такой же негодящий, из поповичей». Вообще же она всегда отличалась завидной независимостью и самостоятельностью, что вкупе с непрактичностью русской барыни составляет опасное для жизни сочетание. Из-за этого-то она и осталась в Японии, и это привело ее ныне на одинокую больничную койку.

В отличие от большинства русских дважды беженцев (из России и Китая), которые перебивались в Японии непонятно чем и сидели на американских чемоданах, Лидия Павловна нашла приличную работу. Отцы-иезуиты из престижного Токийского университета Святой Софии предложили ей преподавать русский язык, помогли с устройством и вообще проявляли знаки внимания и уважения.

Тем временем подросла американская виза. Лидия Павловна, которой тогда подходило к шестидесяти, захлопотала. Захлопотали (в противоположном направлении) и отцы-иезуиты, ее университетское начальство.

Университет предложил госпоже Веселовзоровой (представляю, что она терпела, когда студенты называли ее Бэсэробудзорова! Впрочем, приставка «сэнсэй» должна была греть самолюбие Лидии Павловны, которая с годами не утратила горделивой наивности петербургской гимназистки)... Да, так вот: университет предложил ей пожизненный контракт с приличной зарплатой. Лидия Павловна, как было свойственно русским дамам из благородных (а также потому, что не шибко владела японским языком), не стала дотошно вчитываться в контракт и радостно его подмахнула. Через тридцать лет беспорочной службы выяснилось, что в контракте отсутствовал пункт о пенсионном обеспечении. Еще достаточно энергичная, но все же девяностолетняя дама осталась практически без сбережений и источника дохода.

Между тем бывшие коллеги, то есть те же иезуиты, изыскали возможность оплачивать ей гостиничный номер в Йокогаме, в котором старушка безвылазно прожила тридцать пять лет. Она успела стать местной достопримечательностью, ее имя гордо упоминалось в рекламных буклетах гостиницы, но всему приходит конец. Новый хозяин (нескольких прежних Лидия Павловна пережила) испугался, что девяностолетняя дама невзначай умрет у него в номере и испортит этим настроение другим клиентам. Он ее начал по-японски деликатно, но настырно выселять. Лидия Павловна воевала, используя известный ей запас энергичной японской лексики. Добрейший отец

Янез (Иоаннес), профессор-русист из Словении, служащий Богу посредством обучения японских студентов русскому языку, возил ей еду и увещевал обоих. Хозяин долго думал и наконец затеял капитальный ремонт, закрыв под это дело гостиницу и отключив коммуникации.

К тому времени землячество, клуб и прочие институции русских эмигрантов в Токио уже не существовали. Лидия Павловна обратилась в православные церкви — их в Японии две, русская и японская, но поддержки не получила. Так под старость Лидия Павловна разочаровалась, как она говорит, в религии. Между тем кроткие католики (коих она с молодым задором продолжает костерить не выбирая выражений) сняли ей квартиру в предместье на свои орденские — не университетские — средства. В этой квартире Лидия Павловна и жила до прошлого года, навещаемая отцом Янезом, двумя русскими дамами из университета и изредка японскими студентами. Будучи ста (вариант — девяноста восьми) лет от роду, она сломала ногу и была увезена в больницу.

Ногу Лидии Павловне залечили, но выяснилось, что из больницы она выйти уже не может, — нога слушается плохо, одной в квартире ей физически невозможно. Муж Галины Ивановны, которая и рассказала мне о диковинной русской даме с неукротимым духом, видный медик Окуяма-сэнсэй использовал свои связи, чтобы старушку оставили в больнице. Там она и живет уже второй год.

Жизнью это можно назвать лишь условно. В палате — восемь коек. На семи лежат, хрипят, храпят и умирают японские старухи. Провода, приборы и судна занимают узкое пространство между кроватями. Из имущества у Лидии Павловны одна тумбочка. Кровать стоит у окна, за которым шелестят деревья. На них-то и смотрит столетняя петербурженка, отворачиваясь от вида и запахов чужой больницы.

Японцев старая русская барыня вообще не жалуется. Обиду от небрежения больничного персонала, коему она за год с лишним, видимо, изрядно надоела, переносит на всех японцев сразу.

«Странный народ, — говорит она. — Изб у них даже нету, живут под навесом. Щелку раздвинут и ползком внутрь. Всю жизнь ползают. Печей нет. Горшок с углями из самовара поставят на пол и сидят вокруг в одеялах...»

Я слушал эти речи с двойным изумлением и вниманием. Поразительно было то, что, по сути, сказанное совершенно точно соответствует описанию традиционного японского дома: хрупкого каркаса с декоративными раздвижными стенками под крышей, в котором действительно зимой обогревались (малоуспешно) углями в глиняном горшке. Но реалии эти все же несколько устарели, а кроме того, непостижимым образом из петербургской гимназистки вдруг, в столетнем возрасте, полезли какие-то фольклорные избы, печи, горшки с самоварами. Может быть, в увядающем сознании обострились некие глубинные национальные архетипы? Ужас и тоска больничного остывания с непонятно гомонящими японскими старухами под боком вылились в обостренное фольклорное противопоставление своего и чужого, в какие-то воспоминания о небывшем, о давнем русском — впечатанные от рождения представления о теплом, домашнем, с печью и самоваром в своей избе.

Но пока Лидия Павловна живет в больнице Аихара. И денег, чтобы нанять сиделку и вернуться домой (а собственно, где он этот дом?), у нее нет. Как нет и у доброхотов, помогающих ей хоть как-то визитами и русской едой.

*Дополнение.* Я еще два или три раза навещал Лидию Павловну. Последний раз я пришел к ней весной 1997 г. в компании с японским профессором-русистом Наганавой. Я распалил его воображение своими рассказами и американской статейкой. Профессор принес диктофон и ночную рубашку в подарок, а потом сделал доклад в университете Васэда, в семинаре по изучению русских эмигрантов в Японии. В то время Лидию Павловну перевезли в другую больницу с отдельной палатой. Она скончалась там ста четырех (вариант — ста двух) лет от роду и похоронена в братской могиле в русской части Иностранного кладбища в Йокогаме.

## ЯПОНСКИЕ МОРОЗОВЫ

**В** 1994 г. в соборе Никорай-до я познакомился с православным японцем Кавамата Симеоном-сан, интеллигентным вестернизированным писателем с необыкновенным пристрастием к русской культуре и всему прочему русскому. Он подарил мне свою книжку про торговый дом Морозовых из Кобэ и посоветовал непременно встретиться со старым хозяином Валентином Федоровичем, что я вскорости и сделал. Это произошло в отеле «Тэйтоку» (или «Империял»), где Валентин Федорович всегда останавливался, приезжая в Токио. Он помнил еще настоящий, старый «Империял», построенный Райтом и уцелевший при Великом землетрясении 1923 г., а потом, со свойственной японцам тягой к непостоянству, разрушенный. После мы не раз встречались в Токио и в Кобэ, куда я впервые приехал к Морозову спустя пять дней после большого землетрясения 1995 г. Валентин Федорович рассказывал массу небывало интересных историй про житье в Японии с 1924 г., подарил уникальную, частным образом изданную и в малиновый плюш убранный книгу воспоминаний своего отца и водил по фабрике. Японские работники, чуя во мне знатного иностранца, отдавали честь черпаками и шумовками и давали пробовать разнообразное варево из булькающих котлов. Я много чего записал по горячим следам, но затем забросил исследование о русской жизни в Японии. Потом Морозов умер, о чем я узнал почти случайно, встретившись с его дочерью в калифорнийском городке Санта-Роза. В итоге написал только большую статью для «Нового русского слова».

•

Что делает купец Морозов в Японии? Странный вопрос. Шоколад конечно. Лучший японский шоколад и прочие сласти по европейским рецептам вот уже много лет варит фабрика «Космополитен», основанная семье-





**Валентин Федорович Морозов  
у разрушенного большим  
землетрясением фонтана во дворе  
своей фабрики. 1995 г.**

сят лет назад выходцами из России. Сказать, что все в Японии знают морозовский шоколад, будет, наверно, преувеличением. Изысканный вкус «русских» конфет, ориентация на знатока, отнюдь не самые низкие цены и ограниченные эксклюзивные партии умопомрачительных шоколадных наборов — все это делает продукцию фабрики доступ-

ной не всем. Впрочем, это и судьба, и достоинство того, кто делает шоколад, а не леденцы. Кому надо — морозовский товар знает. А морозовские коллеги-конкуренты не просто знают, но и завидуют. Завидуют настолько, что еще в послевоенное смутное время каким-то ушлым японским компаньонам удалось пригреться в лучах славы морозовского имени и оттяпать себе фамильное название «Morozoff Confectionary». Да, диковинным образом в Японии есть шоколад «Морозофф» (то есть, конечно, «Морозофу» по-японски), который к ныне здравствующим и работающим шоколадникам Морозовым отношения не имеет. Они, впрочем, не погрязая в тяжбах, делают свое сладкое дело. Магазины морозовской фирмы «Космополитен» есть в Токио на фешенебельной Гиндзе и в Маруноути, районе правительственных учреждений и шикарного шопинга; есть магазины и в других городах, а новое здание фабрики (сделанное по эскизам художника Александра Голицына из Голливуда) является достопримечательностью города Кобэ. О деле Морозовых в Японии написана книга «Косумопоритан-моногатари» («Сказание о “Космополитен”»), есть и множество прочих публикаций.

Основатель фирмы — Федор Дмитриевич Морозов, выходец из деревеньки под Симбирском, колоритнейшая

личность, яркий представитель того типа энергичного, умного, хладнокровного и неунывающего русского делового человека, который при советской власти был выведен едва ли не под корень. От Федора Морозова остались не только фабрика, обильное потомство и славное имя. В старости он написал записки, уникальный документ, который захватывающе читается от начала и до конца. Записки эти, названные «На память потомству» и представляющие наказ детям и внукам, опубликованы. Книга тоже уникальна — роскошное, толсто-бархатное издание, напечатанное тиражом в несколько сот экземпляров — не для продажи. Временами сочетание помпезной роскоши полиграфии с просторечными выражениями автора вызывает улыбку, но сила и меткость слова, практическая сметка и прозорливость этого малообразованного русского предпринимателя вызывают уважение и местами восхищение.

Начинается книга наказом-посвящением: «Если сохранится между странами мир и если между детьми и внуками сохранится согласие, в годовщины вместо званых обедов прочтите историю неграмотного отца, деда и прадеда».

В 72 года Федор Морозов написал: «С фабрикой покончено, слава богу!» Оставив прочное дело сыну, он ушел на покой и прожил в Кобэ еще двадцать лет. Вспоминая свою необыкновенную жизнь с приключениями в Петербурге, Сибири, Харбине, Америке и Японии, он начинает эпически: «История всех стран с ихними всякими устоями всюду нарушена, на нашей родине совсем разрушена. И много еще лет пройдет в разрушении, а не в созидании...»

История «беженства» Морозовых началась необычно рано. В годы Первой мировой войны Федор Дмитриевич немало поездил по России и в 1917-м уже знал, куда все катится. Он навсегда выехал с семьей из Симбирска 25 октября 1917 г.! Туда еще не дошли даже газеты о перевороте в Петербурге, но он и без газет все просчитал.

«Все обстоятельства, выпавшие на мою жизнь, особенно начиная с 1916 года, изменялись с такой быстротой,

как на киноэкране. Выходя на сцену, должен был изображать, наподобие Шаляпина, чтобы Борис, Сусанин и Дон Кихот — все вместе. И на Масленице с балалайкой. И чтобы все разыгрывалось сходно с натуральным». Это сходство с натуральным немало выручало Морозова в многочисленных перипетиях.

Морозов вел дела с Маньчжурией, и при Временном правительстве, когда другие митинговали, организовал оттуда поставки. «Сделав доклад, — несколько наивно, по-стариковски хвалится он, — привел всех демократиков-говорунов, да и банки, в неописуемый восторг, достигнутый мною на Дальнем Востоке успехами». Хлопоча в декабре 1916 года в Петрограде о нарядах, Морозову пришлось, как он небрежно бросает, «познакомиться с разными министерствами Временного правительства. Понял, от кого разрешение зависило (сохраняю пунктуацию и орфографию. — *Е. Ш.*). Дошло до дружбы, так как всем что-то нужно было из Харбина. Пообещал послать как мотаням, да и просто женам».

Второй раз он попал в Питер в сентябре 1917-го. «Кругом и всюду заплевано семечками... Караул! Куда летит Россия? Ленин лозунг за лозунгом выкидывает, один другого лучше для черни, и доводит ее до безумия».

Вообще записки Морозова похожи на авантюрный роман. Слог его динамичен, фразы рубленые. Нередко напрочь отсутствуют глаголы. Время от времени попадают неправильности и просторечия. Но именно это и делает его воспоминания живым и подлинным человеческим документом, искренней исповедью, непричесанной нанятым литправщиком. Занятно читать перевод на английский в параллельной колонке (видимо, он понадобился внукам, которые уже не шибко сильны в русском, а паче того — правнукам). Переводчик переложил сочный энергичный язык дореволюционного провинциального купца на правильный литературный английский. Текст стал заметно «политичнее» и приличнее. Морозов писал: «Вернулся из Петрограда в Симбирск с быстрыми успехами и вновь митинг... Четыре полка требуют табак,

а его негде достать. Дезорганизация всякой власти... А на второй день, уже после решения и достижения соглашения, 24 октября большевистский переворот Ленина и К°, и первый погром в Симбирске». У Морозова было немало друзей и партнеров-евреев. В самом начале карьеры он, «по настойчивой рекомендации Хайна и Гольдштейна из фирмы «Высоцкий и К°» арендовал сразу два магазина». Потом имел торговые операции с Варшавой, Лодзью и Белостоком. В Харбине в военное время сделка Морозова на 32 вагона кирпичного чая «поразила и удивила каждого знатока и дельца-еврея». «Потому-то, — вспоминает он через сорок лет, — любовь и уважение от таких, как Альфред Апенгейм и Иосиф Беркович». Когда в начале 1917-го Морозов был назначен заведовать всеми складами солдатского обмундирования в селе Тереньге («а это на пол-армии шинелей, штанов и прочего»), он попросил себе в помощники эсера доктора Когана. Бежать из России Морозову посоветовал «Абрам Григорьевич Бочков, старик монархист, незабываемый мой учитель». Еврейская тема продолжалась пунктиром и далее. Когда в Сизэтле овдовела дочь Зина, в хлопотах по сборам к родителям в Японию принимали участие «князь Голицын и Оська Слуцкий» — неплохая компания.

Итак, Морозов с семейством — малолетними детьми, ныне здравствующим Валентином Федоровичем и дочками, с племянниками и еще какими-то зависевшими от него людьми выезжает с Волги через Сибирь на восток. Вот как он вспоминает начало: «По приказу Ленина “Грабь награбленное!” — вся армия бросилась бежать и по пути все разрушать и убивать. А нам надо было в этот момент втиснуться в поезд. Сам-пять, да Ерзуновых сунуть...»

Описание долгого пути через Сибирь вызывает в памяти соответствующие страницы «Доктора Живаго», и, да простят мне интеллигентные любители литературы, у Морозова получилось живее, отчетливее и страшнее. «На крышах вагонов и везде забито озверевшей солдатней. Тут в хорошем пальго я верчусь, говорю, что я повар с пассажирского парохода на Волге “Меркурия”. Сначала



**Федор Дмитриевич Морозов  
с супругой. Харбин, 1920 г.**

помог солдатишке с маленькими втиснуться в вагон. Потом дочь Зину по солдатским башкам через окно перебросил и кинул им папирос, чтоб не выкинули и смягчились. Сам примостился, прыгнув на ходу, между буферов, и в треснувшее стекло стал совать папиросы и через матершинство волжское пытался смягчить их и сделаться другом, убедить их, что разожрался, работая на буржуев, а сам свой — из мужиков, еду к родне, т. к. пароходы не ходят. Находчивость и хладнокровие

избавили от того, чтобы попасть под колеса. Ехал в багажном вагоне от Инзы до Сызрани. Мать (жена Ф. Д. — Е. Ш.) еще не знала, что я еду, не видела меня... А дальше за Сызранью двое вышли... я втиснулся в нужник, где по скорости изобразил на нем стол и с солдатами распивал чай с сухарями. А в Самаре устроился еще удобнее и так до Челябинска. А как мать претерпела до Самары?!» Завершает эти моментальные и емкие, как кадры кинохроники, фрагменты краткое, неожиданное по глубине обобщение: «Но у русского человека и зверь, и доброта — все совместимо».

В Харбине Морозовы прожили несколько лет, до 1923 г. «Мы где-то в Харбине, около Нахаловки, в наскоро, из глины и соломы, построенной фанзе. У друга, Коли Георгиевского, во дворе. Холодина и невероятная сырость...»

Потом Морозовы подались в Америку, в Сиэтл. В Америке Федор Дмитриевич тяжело работал, купил дом с семью комнатами — и через два года снова собрал семью и отправился в Японию. С собственным делом как-то

сразу не пошло, а быть наемным работником в богатой Америке купец и предприниматель не захотел. (Через несколько лет по написании благочестивой этой статейки я узнал в Японии, что неожиданный отъезд из Америки более походил на бегство и был связан с какими-то темными проблемами.)

В Японии жили кое-какие знакомые — например, Арсений Ильич Сайго, натуральный (хоть и православный) японец. За время путешествия морем до Кобэ Морозов свел дружбу с американским вице-консулом по имени Павел Михайлович Дудко. «Велись беседы на всякие темы, — повествуют записки. — Вдохновение приходило под стакан японского пива, через кильку с яйцом и просто за чаем». Знакомство с консулом произвело впечатление на японских иммиграционных чиновников и помогло Морозовым сойти на берег (необходимой для въезда в страну суммы у них не было).

Японская жизнь началась для Морозовых с комнаты в четыре татами (6,6 кв. м) и с торговли тканями вразнос. Этим занимались многие русские, оказавшиеся после революции в Японии. Япония тогда массово переходила на европейское платье; костюмы шились по индивидуальной мерке из западных тканей. Привозились они из Китая ушлыми русскими коробейниками. Там даже такое слово возникло — «отрезчик». Многие впоследствии состоятельные русские люди в Японии начинали отрезчиками. Вот что пишет об этом Морозов: «На плечо узел в пуда два и сынку четыре отреза... Яркое утро. Благослови, Господи! Кто куда, в разные стороны. И куда ни повернешься — красавица Фудзи-яма».

Смекалистый русский купец сорока пяти лет и с начатками английского косил под немца. Немцы в Японии пользовались уважением, но языка их не знал никто, кроме немногих врачей. «Идет огромная нарядная толпа в маленьком городке. “Немец” утомился, ему машут. И так до большого дома. А в доме множество столиков с разной едой. “Немец” же (это я!), быстро развязав узел, давай на японок в черном навешивать модные цветные материи

на муаре и комо. А японцам? Вери-гуд рагуда! («Рагуда» — верблюд по-японски. — *Е. III.*) Руками показывал на томбы, а другому на пальто:

— Хау кантри? Джерман. Нау ликвидейшн.

Карандаши у меня во всех карманах начеку. Пишу: брюки 5.20, а себе они 4.50. Ахнули. Ого! И это, и то. Они пишут. Мотаю головой и руками. Они добавили. Олл райт, и на семь штук — 28 йен заработка. А потом Володя пояснил — они шли с похорон на обед. И я, кстати, был голоден и помянул с ними. Съел чашку риса с соей и немножко рыбки у них».

Вспоминая с улыбкой спустя 30 лет эти комические (а то и драматические) эпизоды первых дней в Японии, Федор Морозов спрашивал: «Что это, по-вашему: вранье, обман? Нет — это были приемы безвредные и забавные. Кто у “немца” покупал — гордились. А мне в те времена намного выгоднее и веселее, чем в Сиэтле. Да иначе как бы я смог? Без капитала, не зная языка. А детей надо поднимать. И к тому же везде уже было подпорчено землячками. Даже отказывались пускать ночевать в дешевые ядоа (гостиницы. — *Е. III.*)». Кстати, о том, как «землячки» портили, мне не раз приходилось читать и слышать: от неопубликованных записок священника Иннокентия Серышева, путешествовавшего пешком по Японии в начале 1920-х, до знакомых молодых японистов 1990-х гг., которых не пускали в бары, где накануне веселился советский/российский цирк.

Вообще, записки Федора Морозова могут служить пособием по истории русского купеческого предпринимательства, а также по маркетингу и менеджменту. В них есть одновременно сметка, хватка и наивность. «По незнанию языка, — вспоминал он, — мне помогали во многом руки, ноги, они всякое выражали, доводя япошей до смеха. А это во всяких делах и обстоятельствах — самое главное. И не только с японцами, но и в торговых и банковских делах. И с американцами в веселом настроении успешнее во всем, чем подходить к ним с гордостью». В подтверждение своих деловых принципов Морозов ссылается на

библейскую Руфь: «Ей дали совет — хорошенько приоденься, причешись и выжди, когда он <...> пообедал. Потом приблизься, приласкайся. Понятно, он и отвалил ей всего полно...»

Через год Морозов своей торговлей вразнос скопил изрядную сумму, снял гараж, переделал под магазин. Он съездил в Харбин, купил инвентарь и устроил в Осаке шоколадную мастерскую. Только начал — двое русских работников украли 2000 йен. Замечу, что месячное жалованье составляло тогда примерно 60 йен! В это время приехал домой шестнадцатилетний сын Валентин, сбжавший из миссионерской школы Св. Иосифа в Йокогаме. Отец вспомнил опыт Бормана, Абрикосовых и оставил сына при мастерской: «Пусть лучше сделается хозяином своего дела». Интересно упомянуть, что с одним из представителей семьи кондитеров и чайных торговцев Абрикосовых, Дмитрием, Морозов потом подружился. Этот Абрикосов, изменив семейному делу, пошел по дипломатической части и служил в посольстве в Японии. (Впрочем, он не единственный Абрикосов, кто не стал кондитером: его старший брат был профессором медицины и отличился тем, что участвовал в бальзамировании тела Ленина.) До 1925 г. Дмитрий Абрикосов считался послом Российской империи в Японии и оставался там еще двадцать лет, пока не переехал после войны в Америку. (Его интересная книжка «Записки русского дипломата» написана по-английски и издана американским японистом русского происхождения Александром Ленсенем в Сиэтле; мне ее давал читать Валентин Федорович.)

Дело пошло. Представительный магазин с эффектной надписью «F. Morozoff & Co» в Осаке стал достопримечательностью города. Но потом были новые испытания, женитьба сына, когда японские компаньоны, воспользовавшись моментом (русские немножко перегуляли), оттяпали капиталы и имя; потом война и разорение; потом медленный подъем. Перипетий было несчетно. Многое пришлось уже на долю сына Валентина. В 1950-е гг. Федор Дмитриевич постепенно отходил от дел. Стало боль-

ше времени, но не стало более душевного покоя. Молодеческое бахвальство временами соседствовало в этом необычном человеке с глубоким покаянием и недовольством собой. «Но еще житейский мой порок, — признавался он, — не хватает силы воли смириться, хоть уже глубокий старик. Потому что внедрилось по наследству распорядиться собой и всяким делом самостоятельно. И вдруг увидеть, в чем убытки и упущения во вред делу и имени честного дельца, и разное подобное неисчислимое. И ты не имеешь возможности улучшить и исправить и никем не понят до конца. Всегда — недосказанность, а потом болезненный осадок и сердечная скорбь». Удивительные слова, которые я — совсем не купец и не капиталист — часто вспоминаю: «Всегда — недосказанность, а потом болезненный осадок и сердечная скорбь». Удивительно еще и то, что все эти компоненты, начиная с недосказанности, вписываются в традиционное японское мироощущение — саби и укиё.

Оставив детям фабрику и имя, Морозов завещал: «Положите, по возможности, рядом с мамой и малюсенький памятник — “крестьянин — Федор Морозов”. Меньше слов и больше дружбы между родными и старыми друзьями».

Он прожил более девяноста лет и похоронен в Кобэ.

## РУССКИЙ ДОКТОР — РЕЗИДЕНТ В РОППОНГИ

**К**огда несколько лет назад я впервые оказался в Воскресенском соборе (более известном как Никорайдо) в Токио, меня прежде всего поразило абсолютное несочетание величественной византийско-русской архитектуры с мелковатыми японскими священнослужителями и их немногочисленной японской же паствой. Среди прихожан выделялся — ростом, старорежимной статью и вымерше-интеллигентным выражением лица — европейский пожилой господин. Он стоял сзади в слабо освещенном приделе, а перед концом службы положил на блюдо крупное пожертвование и вышел. Я последовал вслед за ним и представился. Господин отрекомендовался доктором Аксеновым и радушно предложил немедленно поехать с ним в русскую церковь на обед. Русская церковь оказалась намного скромнее снаружи и внутри, чем собор, которым владеют нынче японцы, но и священники, и прихожане там были, действительно, русские. Паства состояла преимущественно из советских торгово-дипломатических деятелей или японских жен. Доктор Аксенов чувствовал себя среди них весьма свободно, будучи, судя по всему, одной из главных фигур в том обществе.

Впоследствии я понял, сколь уникальна его роль в русской среде в Японии, ибо только ему удавалось в качестве своего появляться в несимпатизирующих, мягко говоря, друг другу разных церковных институциях. Впрочем, стоит ли этому удивляться, если и в еврейском центре в Токио доктора признали своим, и раввин объявил его галахическим евреем. Местные евреи предпочитают у него лечиться, и этим они не отличаются от советских дипломатов. При всем при том доктор — выпускник элитарной Военно-морской японской академии, ветеран американской армии и, как говорят, один из богатейших людей Японии. О последнем мне немедленно сообщил право-

славный поп Яша Рыглин, обладатель американского паспорта, специфического выговора и советского прошлого, ныне подвизающийся на Русском подворье в Токио.

В отличие от Яши, у доктора Аксенова нет ни американского паспорта, ни советского прошлого, а произношение у него исключительно литературное, хоть и вырос он в Китае. (Впрочем, именно благодаря этому последнему обстоятельству, ведь советско-китайская власть опоздала в Харбин на четверть века.) Доктор — человек настолько разнообразный и настолько вхожий в самые взаимоисключающие сферы, настолько со всеми ладящий, что многие уверенно считают его шпионом, расходясь лишь в том, чей он шпион — американский, советский или японский. Я помню, как в маленьком городке Каруидзава, в трех часах езды от Токио, я увидел на улице вывеску, на которой разобрал переделанное на японский лад русское имя. Хозяйкой магазинчика действительно оказалась вдова недавно умершего русского человека. Когда я стал рассказывать, кого из русских я встретил в Токио, она при упоминании доктора покачала головой: «Абунай! Опасно! Будьте осторожны, потому что он *сунай* (spy)».

Тем не менее с Аксеновым общаются все — Жак Ширак лечится у него от насморка; Майкл Джексон, будучи проездом, ходил на уколы; заезжий советский цирк обращается с производственными травмами, а местные русские старушки умирают у него в клинике, после чего доктор ставит им памятники с надписью: «От доктора Аксенова и друзей». Помню, как меня позабавила эта надпись, неоднократно встречающаяся на Иностранном кладбище в Йокогаме. Отделенный от «друзей» союзом «и», доктор таковым, стало быть, не считается. «Кем же он был покойником — сердобольным филантропом? — спрашивала меня, покатываясь от хохота, язвительная туристка из Израиля. — Не вылечил, зато памятник поставил!»

Впрочем, начнем с истоков. Один из самых известных и влиятельных русских в Японии, Евгений Николаевич Аксенов появился на свет в Харбине в начале 1920-х гг. Среди нескольких десятков тысяч русских эмигрантов

в этом городе на севере Китая его семья занимала видное положение. Отец доктора, Николай Иванович, родился в Туле в 1880 г. Он происходил из дворянской семьи, состоявшей в родстве с князем Львовым, знаменитым земским деятелем и впоследствии председателем Совета министров Временного правительства. Старший Аксенов получил практическое образование и работал преимущественно в Сибири, сначала в Русско-Азиатском банке, а потом руководил работами на принадлежавших ему пяти золотых приисках в Восточной Сибири.

В Гражданскую войну Николай Иванович оказался на Дальнем Востоке, куда советская власть еще не докатилась. В начале 1920-х гг. в Хабаровске он познакомился с Ниной Николаевной Ламм, бывшей двадцатью годами его моложе и игравшей в местном любительском театре. Нина Николаевна родилась в Одессе; предки ее приехали из Германии. Евгений Аксенов охотно говорит собеседникам-евреям, что мать была еврейского происхождения — сочетание Одессы с Германией и нерусской фамилией позволяют это предполагать.

Аксеновы эмигрировали в Маньчжурию. В Харбине у них родился сын Евгений. Старший Аксенов занялся там лесным промыслом: лесозаготовками и обработкой пиломатериалов. Кроме того, ему принадлежала ферма в плодородной местности между Харбином и Цицикаром, где разводили мясо-молочный скот. Помимо этого он держал конный завод — небольшой, но известный отменным качеством лошадей. Лошади с аксеновского завода поставлялись именитым заказчикам в разные страны, в том числе членам японского императорского дома. Последнее обстоятельство впоследствии сыграло роль в переселении семьи в Японию.

В начале 1940-х гг. жизнь в Харбине быстро портилась: везде и всюду шла война, и хотя непосредственно боевые действия в городе не велись, японские военные власти спокойной жизни не способствовали. Русские учебные заведения были уже закрыты или дышали на ладан. Коннозаводчик Аксенов устроил сына на учебу в Японию. В разгар

войны, в 1943 г., двадцатилетний Евгений, человек без паспорта, прибыл в Токио и был зачислен студентом Военно-морской академии на медицинский факультет. Событие это исключительное: попасть в то время в Японию было практически невозможно. Тем иностранцам, кто там уже жил или просто застрял, пришлось во время войны выехать из Токио и крупных городов в особо отведенные для иностранцев места, где они и находились до конца войны без права перемещения. В Токио иностранцев практически не осталось, и уж совсем невозможно было поступить в военное учебное заведение, привилегированное и закрытое. Как говорит Аксенов, помог один из принцев крови, которому пришлось по душе папины лошадки.

Русский студент находился под гласным надзором полиции. Ему было предписано, когда уходить из дома (а жил он в доме владельца магазина «Харбин» Леонтьева в районе Канда), во сколько появляться на занятиях, сколько времени проводить в академии и каким маршрутом возвращаться домой. Если из-за бомбежек занятия отменялись, Аксенов, тем не менее, должен был оставаться в учебном заведении, дабы не нарушать предписаний полиции. Он вспоминает, что во время бомбежек сидел в библиотеке или «играл» с костями учебных скелетов. Вечерами к нему приходил его личный полицейский и вежливо спрашивал: «Маркса — Ленина в книжках нет? Сталина не конспектируете? Разрешите проверить». И лез в портфель. Можно посмеяться тупости японских агентов, искавших коммунистическую пропаганду у белого эмигранта, но японцы считали: «Кто их разберет, этих русских, — сегодня они белые, завтра красные...» И, увы, во многих случаях они были правы.

После войны молодой русский доктор в Японии оказался в исключительно выигрышном положении — он был единственным западным медиком, который знал японский, причем специальный медицинский японский, и не был связан с бывшим режимом. К услугам Аксенова обратились американские оккупационные власти, которые поручили ему лечить главных японских военных

преступников, ожидавших суда. Пользовал он их, наверно, неплохо, потому как впоследствии, выйдя на волю, многие из них его не забыли. Некоторые влиятельные люди довоенной поры сохранили свои посты — Япония не знала демилитаризации в таких радикальных масштабах, как Германия, где программа денацификации проводилась очень решительно. Так начались связи Аксенова в высших кругах.

После восьми лет службы в американской армии Аксенов открыл собственную клинику. Сейчас она занимает уютный особняк в роскошном районе Токио рядом с министерством иностранных дел и советским (российским) посольством. Дом этот раньше принадлежал одинокому русскому богачу Токареву, которого лечил Аксенов. Потом вскрылась какая-то неувязка с бумагами на дом; его долго пытались отсудить у доктора, но он оказался непоколебим и тверд, как скала.

Со времен работы с американцами за Аксеновым закрепились слава человека, оказывавшего им особые услуги. Это не помешало советскому посольству войти с ним в близкий контакт, лечиться у него и приглашать на разные мероприятия. Его мать, Нина Николаевна, была дружна с посольскими дамами и особенно с супругой посла Трояновского. Кроме того, она занимала видное место в Дамском комитете Американского клуба и других светских и благотворительных организациях. Старшие Аксеновы покинули Харбин сразу после прихода китайских коммунистов — в 1949 г. Было это нелегко, но деньги, связи и предприимчивость решали многое. Проще всего было получить индийскую визу для выезда. По индийской визе они и покинули коммунистический Китай, но добрались всего лишь до Гонконга, где в лучшем отеле города ждали, пока сын устроит им японскую визу. Поскольку он работал с американскими оккупационными властями, эти все-таки в то время власти ему и помогли. Когда через несколько лет японские чиновники подняли старые бумаги, они увидели, что пожилая чета задержалась в Японии на очень странных основаниях...



**Доктор Е. Н. Аксенов**

В начале 1950-х гг. семейством Аксеновых заинтересовались одновременно и американцы, и советское посольство. В дни корейской войны у берегов Северной Кореи стоял в полной боевой готовности советский Тихоокеанский флот, где заместителем командующего был адмирал Ламм — родной брат Нины Николаевны. Доктор уверяет, что никаких контактов его мама с дядей не поддерживала. Вполне вероятно,

что так оно и было, но и у советских, и у американских спецслужб были свои резоны этим интересоваться.

За полвека жизни в Японии и вращения в парамедицинских сферах случалось всякое. Однажды японские власти арестовали доктора — ему официально вменялось в вину, что он принял на работу человека без медицинского образования, которому доверял делать уколы и прочие процедуры. Человеком тем был отец Михаил, православный японец, священник, большой друг Советского Союза, учившийся в молодости на камикадзе. Его выгнал со службы владыка Феодосий. Об этом деле много писали тогда газеты. В частности, указывалось, что у беспаспортного русского нашли при обыске три паспорта — швейцарский, английский и еще какой-то. Мне все это с большими подробностями рассказывал симпатичный масон Коля, человек неопределенно-русского происхождения с несколькими родными языками и тремя фамилиями. Потом доктора и одного его друга арестовали американцы — на американской военной базе, где он оказался без видимой цели и соответствующего разрешения. Об этом мне по-

ведал японский бизнесмен, человек еврейско-китайского происхождения, говоривший в детстве по-русски и бывший кубинский гражданин, друг Рауля Кастро.

Сам доктор рассказал мне о своем аресте в Советском Союзе, на Дальнем Востоке, куда он в начале 1980-х гг. отправился половить рыбки. Недоразумение там быстро уладилось (как улаживалось оно и при всех прочих оказиях), и с тех пор Аксенов регулярно ездит в Россию и участвует в разных конгрессах соотечественников. По случаю тысячелетия Крещения Руси патриарх наградил его орденом Святого Владимира. «Живя за границей, не так-то сложно заслужить награду», — скромно говорит доктор. Других наград он мне не показывал.

В приемной доктора Аксенова в принадлежащей ему International Clinic в фешенебельном районе Роппонги всегда можно встретить русских — от хромого старика Скорохода, живущего в Японии с 1926 г., до новорусских гостей в блестящих шароварах «Адидас» и с золотыми цепями на загривках. Их доктор ласково зовет «русичи» и лечит бесплатно. Будете в Токио — зайдите поклониться старому русскому доктору. В других местах таких людей уже не осталось.

*Дополнение.* К написанному в середине 1990-х можно добавить, что в октябре 2010 г. доктор Аксенов был жив-здоров и в 86 лет по-прежнему работал в своей клинике, где мы с ним весьма приятно пообщались.



## ЧЕХОВ КАК ЗЕРКАЛО

Проходя недавно по кампусу университета Васэда в Токио, я заметил афишку, изображавшую нечто русско-лубочное. Замедлив шаг, прочел: «Три чело- века сестер», сочинение А. Пэ. Тиэхофу. На обратной сто- роне афишки было то, что изображено на прилагаемой иллюстрации. Местные студенты давали «Трех сестер».

«Чехов в Японии» — прелюбопытнейшая тема. Возмо- жно, именно в Японии сделано наибольшее количество переводов Чехова. Вот несколько цифр для разгона — за первые пятьдесят лет, истекшие со дня смерти автора, его произведения переводились 1110 раз — да, тысячу сто и еще десять раз. (Вообще, в первой десятке наиболее переводимых в Японии иностранных писателей пятеро были русскими.) Начиная с 1919 г. было издано пятнад- цать многотомных собраний сочинений Чехова. Любовь японцев к некоторым вещам Чехова выражается в неправ- доподобных размерах. Например, «Вишневый сад» лишь в течение шести лет, с 1949 по 1955-й, был опубликован одиннадцать раз в восьми различных переводах.

Первыми переводчиками Чехова в Японии стали вы- пускники школ при русской православной миссии. Самой



«Три сестры» А.П. Чехова в университете Васэда, Токио.  
Театральная афиша



первой была Сэнума Каё (1875–1915). Это имя ныне из- вестно немногим. При рождении она получила имя Ямада Икуко; была обращена в православие, стала в крещении Еленой Лукиничной, ездила в Петербург еще до Русско- японской войны, работала там в японской лавке.

В начале знакомства японцев с Чеховым его тексты служили прежде всего источником информации о методе русского реализма и явились важным идейным источни- ком для формирования реализма японского. Сэнума Каё, например, писала в статье «Стиль Чехова и русский стиль жизни» (1910): «...манера русских не скрывать свои чув- ства выглядит, попросту говоря, довольно глупой. Японцы часто говорят то, что они вовсе не думают, а вот русские выбалтывают все подряд... В России есть такое выражение: “по правде говоря...”, и они в самом деле высказывают вам все, не утаивая ничего. Иногда русские представляются нам премного курьезными и потешными людьми. Чехов изумительно умел описывать такие характеры».

Здесь необходимо отметить, что, рассуждая о русской смешной искренности и открытости, Каё выбрала для под- крепления довольно простенький ранний рассказ «Аль- бом», сюжет которого построен на лести и фальши. Так с самого начала японцы давали весьма неожиданные оцен- ки произведениям Чехова, вычитывая в них нечто такое, что отнюдь не было заложено в тексте. Поразительно, что для поддержки идеи о русской простоватости, открытости и недалекости было привлечено именно творчество Чехо- ва — с его недосказанностью, суггестивностью и интелли- гентской невозможностью высказаться прямо и начистоту.

По поводу чеховского юмора у японцев (по крайней мере, на раннем этапе знакомства) было весьма специ- фическое представление, не менее необычное, нежели мнение об открытом простодушии его персонажей. При- мером первоначального понимания японцами юмора у Чехова может служить история, которую на склоне сво- их дней рассказал Масамунэ Хакутэ, один из крупнейших специалистов по русской филологии. В 1907 г. он пере- вел рассказ «Устрицы», считая, что рассказ этот отмен-

но смешной. Его современники, действительно, прочтя перевод, сильно смеялись. В этом рассказе, напомним, нищий мальчик, падая в голодный обморок перед входом в трактир, бормотал в бреду «устрицы, устрицы» — слово, маячившее перед ним на трактирной вывеске. Двое купчиков, услышав, решили, смеха ради, поднести мальчонке устриц и сильно забавлялись при этом. Вместе с ними смеялись и первые японские читатели. Они решили, что суть рассказа состоит в том, что бедный мальчик пожирал устриц вместе с их раковинами. Будучи морским народом, японцы повеселились над глупцом, который не знал столь простых вещей. Так эти бесхитростные читатели без всякой дурной идеи попали в малосимпатичную компанию к гуляющим купчишкам.

Психологизм Чехова — в описании пропадающего рассудка голодного ребенка, плохо соображавшего, что ему дают; немногими штрихами выведенный тонкий портрет его нищего отца, порядочного чиновника без места; даже самый внешний (и притом чересчур для зрелого, Чехова дидактически-прозрачный) уровень коллизии рассказа — противопоставление бедных и богатых, голодающие на фоне трактира и т. п. — оказались в тени сознания японских читателей, углядевших смешное в хрусте ракушечьих створок на зубах. На этом фоне выглядит еще более значительной та огромная дистанция, которую прошло японское общество в постижении Чехова, — от сосредоточения на ситуациях (к тому же неверно понятых) до сопереживания чеховскому настроению. Но отдельные моменты истины чувствовались японскими интеллектуалами достаточно рано.

Так, видный писатель XX в. Симадзаки Тосон писал по прочтении книги переводов Сэнумы Каё: «Мне представляются особенно интересными люди, изображенные русскими литераторами, — например, персонажи, которые сделают какое-нибудь толковое замечание по существу и тут же спохватятся и обзовут себя “дураком”».

Любопытно, что Симадзаки здесь проницательно отметил столь типичные для русских интеллигентов не-

уверенность в себе, паранормальную потерянную, покорность судьбе, отказ от жизненной активности. Ему помогло это сделать то обстоятельство, что такой способ поведения был достаточно типичен и для японцев. Это сходство (особенно четко выявившееся в 1970–1980-е застойные годы) обусловило известное болезненно-заинтересованное отношение советских постинтеллигентов к традиционной японской культуре. У самих же японцев российское интеллигентское сознание лишь недолгое время и в весьма ограниченных кругах служило образцом для подражания. Но, так или иначе, Симадзаки писал в том же эссе, что, именно читая Чехова, он впервые осознал феномен русской интеллигенции.

Второй этап восприятия Чехова в Японии связан с влиянием русского писателя на атмосферу лет Первой мировой войны и следующего за ней периода. В это время японцы вычитывали в Чехове две эмоциональные доминанты: 1) декадентство и 2) тоску. Кстати сказать, для японских переводчиков (да и не только японских) это русское слово со всеми стоящими за ним обертонами смысла явилось камнем преткновения, и в конце концов они переняли это специфическое русское понятие в его оригинальной словесной оболочке — *тосука*. Слово это стало чрезвычайно популярным в широких слоях японской интеллигенции в период между двумя войнами. Многие японские писатели (равно как и их читатели) любили уподоблять себя чеховским персонажам или самому Антону Павловичу. Например, Татихара Митио писал: «Я постарел и похудел и все сижу себе за столом одинокий и печальный, как Чехов». Несложно заметить, что японский литератор, подобно многим своим компатриотам до и после него, смешивал автора с героем или реального человека с образами из его текстов.

Уместно предположить, что на такой подход повлияли специфические японские ментальные структуры. Они обусловили небывало высокую роль в классический период существования национальной литературы исповедального жанра эссе и дневников, а в новое время — вызвали

такое явление, как *ватакуси-сёсэцу*, или эго-роман с его вязко интравертными описаниями психологической жизни героя, рассказанной от первого лица. В подтверждение своих догадок и обобщений приведу другой, еще более красноречивый пример японских суждений о Чехове.

Старейшина японской русистики Нобори Сёму писал о Чехове на склоне своей долгой девяностолетней жизни следующее: «Все его персонажи — это хорошие, но поверхностные люди. Поскольку автор был слабой, деликатной и женственной натурой, он не питал симпатий к сильным и мужественным людям с борцовским складом характера. <...> У него не было никаких идеологических пристрастий; он всего лишь изображал жизнь такую, как он ее видел. <...> Плоское, одномерное истолкование человеческой жизни».

Но специфическая плоскостность как раз составляет одну из основных особенностей японского традиционного искусства. Это отсутствие пространственной моделировки в классической живописи или в знаменитой цветной гравюре, а также в характерных приемах построения композиции или описания персонажей в литературных текстах. Безусловно, любя и почитая Чехова, японский автор попытался объяснить в своей любви, используя принятые в той культурной среде слова и выражения. Он не вполне, видимо, сознавал, что не только привнес неуместные оценки, но и, в соответствии с европейскими представлениями, не похвалил, а раскритиковал Чехова.

Нобори Сёму был отнюдь не одинок. Некоторые другие японские авторы также верили, что чеховский реализм означает простую и бесхитростную фиксацию жизни. Кобаяси Хидэо написал эссе «Чехов», в котором рассказал, как Чехов явился к нему ночью в сновидении и дал наставления, как писать реалистическую прозу. «Когда идет дождь — так и пиши: идет дождь. Если Варя плачет — напиши, как она плачет». Можно сказать, что в такого рода эссе японские писатели использовали ав-

торитет Чехова для подтверждения своих собственных эстетических позиций.

Кроме того, у японцев были свои, особые пристрастия к Чехову. Так, я заметил их почти навязчивый интерес к произведениям, так или иначе связанным с темой сада. Интерес этот был характерен и для самого Чехова. Не случайно, что в том же году, что и «Рассказ старшего садовника», он написал рассказ «Черный монах» (1894), в коем антагонист главного героя — садовник. Для японцев сад издревле выступает защитной оболочкой между человеком и природой. Отсюда проистекает их внимание к «садовой» тематике Чехова. «Черного монаха» они перевели уже в 1907-м, а вскоре был переведен «Вишневый сад» (в 1912–1913 гг.; поставлен в 1915-м).

В случае с «Вишневым садом» напрашивается прямое соответствие этого образа японским художественным традициям. Но соответствие это достаточно внешнее. Цветение сакуры для японца — совсем не то, что вишневый цвет для русского. Сакура — растение дикое, любованию ею не несет в себе оттенка утилитарности, к тому же растет она не в барских усадьбах, и любоваться ее лепестками могут все. Тема гибели дворянского гнезда (лейтмотив «Вишневого сада») в облетающих цветах сакуры не содержится. Поэтому когда Акутагава переложил чеховскую пьесу в рассказ «Сад» («Нива»), где речь шла о гибели декоративного садика, это свидетельствовало о глубоком понимании идеи произведения. Акутагава верно уловил лейтмотив Чехова и описал на фоне разрушающегося сада историю гибели старинного рода Накамура, отпрыски коего не сумели вписаться в новую, буржуазную реальность. Это пример удачной адаптации чеховской темы, хотя успех был здесь достигнут ценой тотальной японизации русского прототекста.

В случае же с переводами или с анализом чеховских рассказов близость к изначальной проблематике улавливалась и сохранялась далеко не всегда. Многие горячие поклонники Чехова в Японии временами высказывали о нем довольно непривычные суждения. Например, Ка-

васаки Тору считал, что суть авторской позиции Чехова была четко выражена в рассказе «Огни»: «Ничего не разберешь на этом свете». Тот же Кавасаки обвинил Чехова в том, что он был «беспринципной и нигилистической личностью», а Нобори Сёму считал, что после повести «Степь» (1888) Чехов стал безразличен к общественным проблемам и вопросам морали. Читая подобные оценки, можно подумать, что вся великая любовь японцев к Чехову основана на недопонимании и добросовестном заблуждении.

В целом это, конечно, не так. Склонность японцев к творчеству русского писателя определялась их внутренним взаимным сходством, но это глубинное родство японцы далеко не всегда умели явно выразить.

Творческая манера Чехова: отсутствие внешней аффектированности, простота сюжета, внешняя объективность описания, сдержанность в выражении собственного отношения к происходящему, оставление наиболее важных событий за пределами словесного описания, роль мелких деталей в создании общей атмосферы — все это было в высшей степени созвучно традиционной японской эстетике\*. Мне кажется, что такое «избирательное сродство» послужило причиной двойственного отношения японцев к Чехову. Импрессионистическая, богатая полутонами манера Чехова совпала с ускользающей от дефиниций и расплывающейся в как бы противоречивых приемах традиционной поэтикой японской литературы и искусства. Недостаток строгой описательной рефлексии в собственных японских поэтологических трактатах и литературоведческих сочинениях оказался препятствием для рационального осмысления причин и истоков их глубоко укорененной симпатии к Чехову.

В результате случилось так, что не столько специалисты-филологи, сколько некоторые японские писатели

\* Как заметил кто-то из японских писателей, «Достоевский — это бифштекс с кровью, а мы вместе с Чеховым предпочитаем пресную рыбу».

и поэты оказались более тонкими и проницательными истолкователями тайны Чехова.

Лауреат Нобелевской премии Кавабата Ясунари, который, по его собственным словам, прошел через магнитное поле притяжения Чехова, заметил однажды, что есть в Чехове нечто восточное — некий горько-сладкий привкус его творений напоминает традиционное японское понятие небытия. Следуя за Кавабатой, можно, глядя под определенным углом зрения, вычленить «буддийские» мотивы в творчестве Чехова. Это мотивы смерти, пессимизма, бессмысленности человеческого существования перед лицом неизбежной смерти, исповедуемые некоторыми его героями.

Манера письма Чехова — создавать целостный художественный образ, избегая прямых описаний внутреннего мира своих персонажей, наилучшим образом совпадает с принципами японской поэтики, проявившимися в творчестве Кавабаты или Танидзаки Дзюньитиро.

И последнее замечание. Нобори Сёму заметил как-то, что «...пьесы Чехова — это трагедии личностных неудач и крушений». В этой точке зрения я вижу удивительное пересечение поэтики Чехова с культурно-психологической стратегией японского национального характера. Классическая литература Японии пронизана не только элегическими описаниями природы и лирическими эмоциями. Обычные концовки японских повестей и эпопей изображают трагедию человека из-за его собственного персонального крушения — будь то на поле сражения или на любовном фронте. И в реальной жизни множество японских знаменитых мужей закончили свое поприще и свою жизнь как Люди поражения («The Men of Failure» — так назвал свою книгу о трагических судьбах знаменитых японцев Иван Моррис). Для японцев, этих «блистательных неудачников» (название раннего романа Леонарда Коэна «The Beautiful Losers»), сходство с героями Чехова было способом избыть их собственные культурные наклонности посредством обнаружения их в загадочной русской душе.



**ПО ГОРОДАМ И ХРАМАМ  
ЯПОНИИ**

## ТОКИО

**Т**окио — крупнейшая агломерация, сильно растянутая в пространстве. В нее входят около тридцати больших районов, к названиям многих из них добавляется слово «город». При этом есть районы ультра-современные, вроде Синдзюку с небоскребами, или гламурные — Гиндза, или сомнительной репутации, вроде Кабукигё («массажные кабинеты» и прочие увеселительные заведения), или Синдзюку-сантёмэ (средоточие гей-субкультуры)... А еще больше районов просто не слишком выразительных: бывает, и достаточно милых, но средних — не богатых и не бедных, не безобразных, но и ничем эстетически не отмеченных, скажем, Накано или Икэбукуро. Токио ведь новый город, который несколько раз полностью отстраивался после катастрофических пожаров, Великого землетрясения Канто или американских бомбежек конца войны. И всякая старина, за исключением некоторого количества храмов (впрочем, тоже много раз перестраивавшихся и обновлявшихся с момента основания), там относительна — довоенные деревянные жилые дома уже редкость. Тем не менее есть в Токио места, где можно почувствовать атмосферу традиционной жизни города больше, чем в остальных кварталах. Это, на мой взгляд, Уэно и Асакуса.

### Уэно

Оба района, в особенности Уэно, располагаются на месте старого Ситамати — Нижнего города. Было бы неправильно переводить это буквально как даунтаун — смысл токийского Ситамати противоположен американскому дантауну с его центральным расположением и многочисленными местами недешевых развлечений и/или крупного бизнеса. Токийский Нижний город — место окраинное (хотя, строго говоря, единого центра в Токио и нет), народ там традиционно селился простой, и нравы были веселые

и нечопорные. В дни цветения сакуры, когда тысячи народа стекаются в парк Уэно, там еще можно увидеть местных пьяненьких ряженных — горляющих, кривляющихся, пляшущих. Вероятно, так выглядели эти ряженные и во времена Хокусая, когда ходили по дворам и исполняли за мелкую мзду и выпивку свой танец *мандзай*. Помню, как впервые лет двадцать назад увидел их в парке — размалеванных мужичков в каких-то юбках, окруженных небольшой толпой. Остановился посмотреть. Ряженный заметил иностранца, что-то сказал нараспев, толпа грохнула, а он, довольный, пустился чуть не вприсядку.

Это о таких гулянках во время цветенья сакуры в Уэно писал Басё:

<i>Ки-но мото-ни</i>	<i>Под деревьями</i>
<i>Сиру мо намасу мо</i>	<i>и в супе, и в рыбном салате —</i>
<i>Сакура кана</i>	<i>всюду сакуры лепестки...</i>

Через дорогу от парка, напротив выхода со станции Уэно, есть еще одно место, совершенно типичное для Ситамати. Впрочем, если сравнивать его с чем-то современным, то более всего оно похоже на рынок где-нибудь в Гонконге или Тайбэе. Это Амэёко — послевоенный черный рынок, барахолка, где можно было задешево купить все что угодно, украденное или добытое как-то иначе с американских военных баз. Баз как таковых давно нет, а рынок остался, хотя уже и не черный, а несколько сероватый от китайского контрафактного ширпотреба. Там же еще можно найти забегаловки, сохранившиеся, наверно, с голодных послевоенных времен: полупрозрачный пластиковый навес с припиленными к нему цветными линялыми фотографиями яств отделяет загон, где этими яствами потчуют. Заплатить надо при входе. Девушка, принявшая деньги, кричит стоящей в полутора метрах за стойкой товарке название заказа, и через три минуты его приносят. Это горшок риса с ломтиками сырой рыбы сверху. Вкушать надо за одним из двух клеенчатых столов, сидя лицом к стене, на которой можно изучать сырые потеки и календари неведомого года. Рыба при этом свежайшая, и отнюдь не самая дешевая.

Зато, кажется, с середины 1990-х гг. я не встречал в Токио ни одного походного *якитория* — устройства из котлов и жаровни, поставленного на колеса и оснащенного длинной лавкой. С одной стороны хозяин жарит на маленьких вертелах кусочки курицы, включая куриные же пупочки, сердечки и печенки, а с другой — помещаются на лавке два-три клиента (три — если не толстых). Сидя перед дымной жаровней, они стаскивают эти кусочки-пупочки с палочек зубами.

Чего еще не встречал я уже много лет в Токио? Вот, например, давно не слышал криков «Оо-имо» бродячего торговца печеным бататом (*якиимо*). Помню, как ходили когда-то с маленьким Габи гулять. Заслышав протяжные возгласы, он кричал: «Бататчик-сан пришел», и мы шли покупать довольно малоаппетитное, на мой вкус, лакомство фиолетово-оранжевых оттенков в серебряной фольге. А сейчас и Габи вымахал выше меня, и батат, видно, уже не родится... Впрочем, бродячих бататчиков можно нередко встретить, чуть отъехав от Токио. Обычно в сезон, в октябре — ноябре, на обочине стоит грузовичок, изрыгающий записанные протяжные вопли: «Якиимооо».

Но вернемся к простому народу в Уэно. Если, выйдя со станции (будь то JR-овская линия или Кэйо), направиться не направо и вверх по лестнице к парку, а прямо, коротким проулком, полным больших щитов с грудастыми девицами, чье отвислое достояние поддерживается, наверное, канатами с многочисленными узлами (это переулочек кинотеатров «для взрослых» и иных подобных заведений), то через две минуты подойдешь к заросшему пруду Синобадзу. На берегу его, по левую руку, стоит Музей Ситамати, или полностью — Собрание материалов по обычаям нижних кварталов (*Ситамати фудзоку сирёкан*).

Впрочем, в небольшой этот музей мы зайти еще успеем, постоим сначала на берегу пруда. Размеры его огромны, но воды там как бы и нет. По крайней мере, ее практически не видно под буйными зарослями лотоса, простирающимися едва ли не до горизонта. Устроили этот пруд после того, как в революцию Мэйдзи (официально назы-



**Лотос, символ чистоты и незапятнанности, растет из грязного болота. На заднем плане — храм Богини Бэнтэн**

вавшуюся реставрацией) срыли стоявший на том месте большой монастырь Кэнъэйдзи, лояльный свергнутому режиму сёгунов Токугава. Воды никогда не хватало, чтобы покрыть землю хотя бы на метр (средняя глубина — 60–80 см), к тому же почти сто лет спустя, в конце 1960-х, рыли метро, нечаянно пробив дыру, куда вся вода и утекла. Дыру залатали, воду снова накачали, птицы прилетели сами, рыбу завезли, а лотосы выросли. Сейчас на пруду обитают десятки видов птиц, растут тысячи лотосовых опухлей, а между ними сплошным ковром покачиваются банки-бутылки да использованные резиновые изделия. Глядя на это безобразие (заметное, впрочем, лишь если подойти к берегу вплотную и приглядеться сквозь заросли), понимаешь, почему лотос в буддизме считается символом чистоты и незапятнанности: потому что он растет, белейший или нежно-розовый, из грязного болота.

Вокруг пруда испокон веку любили селиться бездомные — тут тебе и таби постирать, и воды попить, и прочую нужду справить. Сотни их палаток, навесов из пластика-



Лагерь бездомных в парке Уэно

вой рогожи, будок из картона украшали берега и окрестные кусты. Численностью популяции бездомных район Синобадзу (и вообще парк Уэно) превосходил даже километры подземных лежбищ в лабиринтах Синдзюку. В последние годы городские власти не раз пытались что-то с бездомными сделать, и вот в 2006-м наконец решительно всех куда-то выселили. Берега пруда стали, пожалуй, благоденнее, а в парк бедолаги стали возвращаться. Или, может, новые бездомные туда пришли: два их лагеря я видел в октябре 2010 г. в рощах за памятниками принцу Комацу и генералу Гранту — тому самому Улиссу Гранту, что в американской гражданской войне победил.

В Музее Ситамати непременно стоит побывать тем, кому интересна экзотическая жизнь простых людей — там можно подивиться на тесноту, чистоту и, несмотря на очевидную бедность, неприменную изысканность. Туда перенесены реальные комнаты и части домов (скажем лучше, домиков), образующих уличные углы и узкие проходы. Можно увидеть первые в Японии телефонные будки (их ввели около 1910 г. именно в Уэно) или коляски рикш. Рикши появились в Японии только с началом модернизации,

в 1869–1870 гг. Согласно распространенной версии, их придумал американский миссионер Гобл, чтобы быстрее перемещаться для распространения братской любви.

Еще там примечателен интерьер дома ремесленника, изготовителя *ханао* — ремешков для *гэта*, представлявших собой многокрасочные довольно сложные изделия из ткани, кожи и конопляных жгутов. Модники меняли ханао под цвет кимоно, и сотни разновидностей их можно увидеть на щите с образцами. Кстати, и *гэта* тоже были десятки видов — квадратные *ямагэта* (горные *гэта*), изготавливавшиеся из павлонии и популярные в эпоху Эдо; квадратные же *ёсивара гэта*, изготавливавшиеся из кедра и излюбленные посетителями квартала платной любви Ёсивара; *кири гэта* (дорогие лакированные из павлонии); *поккуру гэта* (высокие с золотым декором, носимые гейшами); *иттон* или *тэнгу гэта* (с одним зубом) и многие другие.

А на втором этаже представлен интерьер общей бани довоенной поры с высокой стойкой банщика, откуда он мог наблюдать одним глазом за мужчинами, а другим — за женщинами. Вероятно, убранство и нравы к тому времени не слишком изменились со времен Хокусая. На одной его гравюре в «Манга» изображен усталый от негламурной наготы банщик, который закрылся от нее книжкой — скорее всего, каким-нибудь популярным эротическим романом с картинками. Ведь в книжках такие вещи обычно бывают интереснее, чем в реальности.

Если выйти из музея и пойти направо, вдоль берега Синобадзу, за пару минут можно дойти до восьмигранного храма богини Бэнтэн, одной из Семи богов счастья и удачи в синтоизме. Храм был основан Тэнкаем, крупнейшим деятелем буддизма в городке Эдо в самый ранний период правления сёгунов Токугава (в начале XVII в.), и находится посреди пруда на маленьком островке. Перед ним — несколько промокших под осенним дождем бодхисатв Дзидзо в чепчиках и разные памятники, из которых самый причудливый (впрочем, не столько по исполнению, сколько по идее) — это памятник очкам (*Мэганэ-но хи*). Его установило Токийское общество любителей очков





Промокший под осенним дождем бодхисатва Дзидзо в чепчике

в 1968 г. в ознаменование четырехсотлетия проникновения этого оптического инструмента в Японию. Вообще в парке Уэно множество монументов — от политических деятелей до рыбы фугу, отмеченной союзом рестораторов, специализирующихся на этой изысканной отраве.

Бэнтэндо — храм богини музыки и изящных искусств, сподручницы в любви и дарительницы нечаянной радости — входит в группу

храмов, посвященных всей семерке богов счастья в районе Уэно и чуть севернее, в районе Янака. Благочестивый паломник или жаждущий счастья турист может обойти их все за два часа, что само по себе большая удача, ибо некоторым из этих богов посвящено совсем немного отдельных храмов. Буквально метрах в пятидесяти от Бэнтэндо расположен Дайкокутэндо, храм Великого Черного, другого члена семерки, покровителя торговцев. Его обычно изображают улыбчивым толстячком с остроконечной бородкой, с узлом за плечами, стоящим на двух мешках риса, и с колотушкой в руке, постукиванием которой он высекает золотые монеты решительно из всего. Таким добряком Дайкоку стал на японской почве — в Индии, где он звался Махакала, он был грозен и страховиден, с обилием зубов и голов. Этот храм основал около 1625 г. ученик Тэнкая, а нынешнее здание стоит с 1724 г., т. е. довольно древнее по токийским меркам. Сзади него находится небольшая сцена для улаживания богов плясками. Под навесом храма сохранилось множество *сэнсяфуда* — накле-



Памятник очкам установило Токийское общество любителей очков. В 1968 г. отмечалось 400-летие начала их использования в Японии

ек с именами не столь благочестивых, сколь тщеславных паломников. Обычай оставлять наклейки со своими именами был моден вплоть до недавнего времени, пока храмовые и муниципальные власти не стали с ним усиленно бороться. Но старые наклейки никто не соскабливает. Интересно, что в отличие от западных и российских любителей отметить на чем-нибудь историческом, в Японии никто не вырезает свое имя ножом на деревянных частях и не долбит долотом на каменных. Здесь такие люди печатают свое имя в типографии красивым шрифтом на листочках и ходят по памятным местам с баночкой клея и кисточкой, чтобы прицепить бумажку с именем повыше. В наших же палестинах чаще обходятся ножом или, в крайнем случае, несмываемым фломастером, для которого «особенно хорош» полированный мрамор.

После храма Дайкоку можно отойти наконец от пруда и подняться по лестнице в собственно парк. Сразу по левую руку стоит на высоких красных сваях храм Чистой Воды Киёмидзу, посвященный бодхисатве Каннон. Самый



Дайкокутэндо, храм Великого Черного (вверху)

Статуя Биндзуру (внизу)

примечательный божок в этом храме — святой Биндзуру (индийский Пиндола) с пугающе живыми глазами из многослойного горного хрусталя и сомнительной улыбкой беззубого рта. Полное его имя — Хацуратася-сондзя (санскр. Бхарадраджа). Он был подвижником-архатом, входил в число четырех самых первых учеников Будды, был силен в искусстве врачевания и обладал магическими способностями. Будде приходилось увещевать его за неправомерное их использование, а также за нехарактерный для святого интерес к женщинам. Биндзуру даже был исключен из ближайшего круга учеников и вынужден постоянно скитаться. Статуи его, в отличие от других пятнадцати архатов, помещают в Японии вне стен храмов. Тем не менее на японской земле он стал самым любимым из главных шестнадцати архатов (а было еще пятьсот менее главных!). Статуям Биндзуру приписывают целительные способности — если потерять часть статуи, соответствующую части тела, которая болит, а потом потерять эту самую больную часть, то недуг должен пройти. Биндзуру также считают покровителем маленьких детей, в силу чего на его статуи часто повязывают красные переднички, а на голову водружают детские шапочки.

Переднички повязывают в наши дни также и лисаминари, хотя с чем связан этот обычай и когда он возник, определенно сказать трудно. Лисы охраняют синтоистское святилище Годзё Тэндзин, расположившееся в ложбинке в нескольких шагах от храма Киёмидзу. Тэндзин — покровитель поэзии и учащихся, которые молятся ему перед экзаменами.

К северу от Годзё Тэндзин высится пятиярусная пагода — все, что осталось от большого храмового комплекса Кэнъэйдзи. К слову сказать, боевые действия между сторонниками новой императорской власти и защитниками сёгуната, чьим оплотом был Кэнъэйдзи, шли непосредственно в Уэно. В истории даже осталось название битвы в Уэно (1868), а в самом парке — братская могила защитников гиблого дела. Найти тропинку к пагоде бывает не всегда просто — ориентироваться нужно на зоопарк



**Аллея с 48 огромными фонарями  
храмового комплекса Тосёгу**

(восточную его часть). Удивительно, что она уцелела, столько в этом месте было всяких катаклизмов — войны, землетрясения, общегородские пожары, бомбежки...

Впрочем, это еще не все причины, угрожающие историческим памятникам. После войны в Японии существовало нечто вроде национального спорта по поджогу самых красивых и важных архитектурных сооружений. Достаточно вспомнить Золотой храм, который психопатический монашек спалил, потому что его красота чересчур давила на бедолагу. Неподалеку от этой пагоды в Уэно, в Янака, была другая, не менее славная и красивая, пагода храма Тэннодзи. В 1957 г. ее сожгла дотла пара несчастных влюбленных, которые не могли пожениться и захотели уйти из жизни с жаром. А перед этим злосчастная пагода успела стать центром действия популярной повести Кода Рохана.

Западнее пагоды расположен знаменитый пионовый сад, в котором произрастают кусты десятков видов пионов, и здесь же устраивают сезонные выставки этих пышных цветов. За садом — небольшой храмовый комплекс



**Металлические фонари составляют целую рощу рядом  
с колодцем для очистительных омовений**

Тосёгу, посвященный памяти первого сёгуна династии Токугава — Токугава Иэясу. Его основал последователь Иэясу по имени Тода Такатора (1556–1630) на территории своей усадьбы. Комплекс начинается массивными каменными воротами тории, открывающими аллею с 48 огромными фонарями. Еще множество фонарей, но уже не каменных, а металлических составляют целую рощу рядом с колодцем для очистительных омовений и молитвенным колоколом в форме специфического бочонка. Нынешнее здание храма было возведено в 1651 г. при Иэмицу, третьем сёгуне. Оно представляет собой один из самых ранних в Токио образцов стиля гонгэн. Ворота, аллея фонарей и храм занесены правительством недавно в список памятников культурного наследия.

Из множества прочих памятников в саду Уэно стоит отметить статую Большого Будды, точнее, часть его лица. Когда-то семиметровая, эта бронзовая статуя была практически уничтожена Великим землетрясением 1923 г., но часть щеки с глазом и носом уцелела и ныне с почетом укреплена на пьедестале.

Вообще же для большинства людей, особенно никогда не бывавших в Токио, парк Уэно ассоциируется в первую очередь с его музеями и художественными учебными центрами. В Токио это самая плотная концентрация музеев в одном месте. Они вытянулись в ряд вдоль края парка и параллельно железной дороге. В самом начале парка стоит Музей Мори, называемый по-английски Королевским (Royal) музеем. За ним расположилась Японская академия искусств, потом Токийский культурный центр (Токио бунка кайкан) с большим концертным залом. Следующим идет Национальный музей западного искусства, за ним — Национальный музей науки. Далее аллея парка поворачивает налево, и открывается вид на площадь с фонтаном слева и с Токийским национальным музеем справа. Он занимает целый квартал, а чуть дальше располагаются Токийский городской художественный музей и Токийский государственный университет искусств с хорошим музеем. Рядом — Мемориальный музей художника Курода Сэйки, одного из главных представителей западного стиля искусства начала XX в., за ним — Национальная библиотека детской литературы, чуть дальше — второе здание Музея Ситамати. А еще — храмы, исторические кладбища... Вряд ли в Токио есть другое столь же насыщенное культурой и искусством место.

На площади с большим фонтаном через дорогу от Национального музея часто устраивают ярмарки. Объявленная около десяти лет назад «интернационализация» (*кокусайка*) привела к заметному повышению контактов с азиатским материком: намного больше стало групп китайских туристов и очень много везде разных азиатов со своей кухней и феньками. Вот и в последний раз, когда я шел через парк в Национальный музей, на всю площадь гремели из динамиков бляющие завывания, а в солнечном небе стоял чад от десятков палаток и открытых жаровень с кебабами и разными пряными горелостями. Турки с пакистанцами громко зазывали гуляющих японцев, полоскались на ветру флажки с полумесяцем. В длинном



Фасад Токийского национального музея

ряду довольных мусульманских торговцев была даже палатка с надписью «Uzbekistan».

Токийский национальный музей достоин отдельной книги. Скажем только, что это самое большое в мире хранилище японского искусства, оно имеет также первоклассную коллекцию искусства китайского и солидную — корейского. На его территории расположены несколько зданий, где представлены японское искусство, азиатское искусство, проводятся временные выставки и плюс еще особая галерея с памятниками из древнейшего монастыря Хорюдзи. Отличительную особенность музея составляют немногочисленность, просторность и затемненность экспозиции. Часто в большом зале выставлены две-три картины или всего несколько скульптур. Можно подолгу находиться наедине с каждой из них.

В ограду Национального музея вделаны огромные Черные ворота — Куромон, редкий образец парадного входа в богатую резиденцию начала эпохи Эдо. Их открывают для прохода на несколько часов по субботам и воскресеньям. Если выйти из них и отправиться в сторону района Янака, то скоро можно добраться до большого кладбища

Янака. На нем много могил выдающихся людей — от последнего сёгуна Токугава Ёсинобу до первого русского епископа Японии Николая. Если же пойти из музея в другую сторону, к станции Угуисудани (Соловьиная долина), то можно выйти к району массового скопления *рабухотэру* (love hotels), специфически японских заведений. Специфических не потому, что в других странах не сдают номера по часам для любовных (или просто сексуальных) свиданий, а потому что в Японии в связи с местной уникальной ситуацией отели любви превратились в развитую (и лишенную стигмы порока) субкультуру.

Во-первых, отношение к телесной стороне любви всегда отличалось в Японии свободой и отсутствием ханжества. Но главное даже не это, а то, что в связи с традиционной теснотой нередко даже законным супругам не первой молодости особо негде предаваться любовным утехам — дети за тонкой перегородкой или теща... Соответственно, найти время выбраться, так сказать, на пикник на два-три часа — самое милое дело. Большинство любовных отелей весьма фантазийно устроены — с тематическими номерами, с ярчайшим дизайном и подчас с не слишком изысканными, но веселыми трюками. Скажем, необъятное ложе устроено посреди комнаты на острове, куда можно добираться вброд, а можно переправиться, раскачавшись на канате-тарзанке. Можно в таких гостиницах остаться на ночь — они в среднем не так уж и дороги. Вот только, пожалуй, одиноким туристам там будет грустно...

### Асакуса

Асакуса уступает Уэно по концентрации больших музеев, но это не менее живописный район Ситамати, а пожалуй, и более. Он находится в километре-полтора к востоку от Уэно и до сих пор сохраняет свою репутацию квартала развлечений и простых нравов. Более того, когда-то на территории Асакусы находился знаменитый квартал веселых домов (в Японии их называли «зеленые дома») Ёсивара. Память об этом и даже некоторые сле-

ды, впрочем немногочисленные, еще остались на узких улочках.

В наши дни главной туристской приманкой в Асакуса являются тысячи мелких магазинчиков и лавок, половина которых торгует обычной яркой и недорогой ерундой для приезжих, а в остальных можно подчас найти вещи редкостные и совершенно неожиданные. Лавки на задних и боковых улочках и сегодня в основном ориентированы на местных, и порыться там в товарах — сущее удовольствие. Впрочем, говоря про лавки, следует сразу же заметить, что большая их часть расположена на аллее Накамесэ, которая ведет к главному храму Асакусы — Сэнсодзи.

Парадный вход к Сэнсодзи видно сразу по выходе со станции метро «Асакуса». Это огромные Громовые Ворота (Каминаримон). Но, может быть, прежде чем устремляться сразу в ворота, стоит остановиться перед ними в Информационном центре и взять местные карты и буклеты. А еще лучше задать какой-нибудь заранее подготовленный вопрос, например: где лучше заказать ужин с гейшами? Высококласные дома развлечений ушли из Асакусы, и Ёсивара давно не существует (массажные кабинеты не в счет), но культура обслуживания гостей во время выпивки в отдельном кабинете осталась. Сейчас в Асакусе есть, говорят, до полусотни гейш. Однажды, несколько лет назад, я спросил в Информационном центре, как пройти к могиле Хокуся, — он провел большую часть жизни в тех краях, умер и похоронен там же. Удивительно, но ответили только после некоторого замешательства, общих консультаций и телефонного звонка куда-то. Я был первым, кто обратился к ним за такой справкой. Недавно снова зашел с тем же вопросом — забыл, как идти, и потерял старую карту с нарисованным маршрутом. К моему удовольствию, ответ дали сразу и довольно уверенно начертили маршрут. Возможно, после моего визита они ввели ответ в базу данных, да и, наверно, к Хокусаю потянулось больше народа. Сделаем и мы сейчас этот детур — повернем сначала к маленькому невзрачному храмику, где покоят-

ся Хокусаевы косточки, а потом вернемся к исполинским Грозовым Воротам.

Могила Хокусаю расположена на тесном кладбище при храме Обета Веры (Сэйсёдзи) в четвертом околотке района Мото-Асакуса. Это как раз посередине между станциями Асакуса и Уэно. Войдя в малоприметные ворота между жилыми домами, попадаешь в предхрамовый двор, в котором стоит весьма невыразительный бронзовый бюст Хокусаю в западной реалистичной манере. Он выполнен в 1926 г. и поставлен на этом месте в 1990 г. в ознаменование 230-летия со дня рождения мастера. Поскольку никаких могил больше не видно (известно, что кладбище в войну разбомбили), многие посетители, покрутившись вокруг памятника, уходят, что, не скрою, я сделал и сам в первый раз; к тому же начинало темнеть, и я боялся, что территорию вот-вот закроют. Тем не менее можно набраться храбрости, пройти по узкой дорожке между правой стеной храма и жилым домом и выбраться на маленький участок с могилами. Там уже на Хокусаю набрести несложно, поскольку его надгробный камень единственный убран в деревянную будочку под патинированной металлической крышей. Камень очень прост, с трещинами. Точнее, видно, что он был расколот и вновь соединен по мере возможности. На камне надпись скорописью, воспроизводящая подпись Хокусаю: Гакё Родзин Мандзи. Так он называл себя в старости — Старик, одержимый рисунком (или Безумный от живописи старец). Мандзи — счастливый знак свастики. За свою долгую жизнь (1760–1849) Хокусаю сменил около сорока имен и еще больше домов. Несмотря на прижизненную славу и почитание, жил он весьма бедно и неупорядоченно. Имена менял не только в ознаменование новых творческих периодов, как часто было принято у японских художников, но и подчас по безденежью — передавая (продавая) успевшее прославиться имя ученику. А дома менял, скрываясь от кредиторов или полагая, что проще переехать, чем устроить генеральную уборку и разобрать завалы бумаги на полу. Несмотря на



**Бронзовый бюст Хокусаю во дворе храма Сэйсёдзи (слева)**

**Надгробный камень на могиле Хокусаю убран в деревянную будочку под патинированной металлической крышей (справа)**

масштаб дарования и «всеобщую отзывчивость» (Хокусаю живо интересовался западным искусством и наукой, а в Европе его имя стало известно знатокам еще при жизни), он оставался воплощением человека из Ситамати — образованного лукавого плебей, жившего интенсивно и беззаботно.

Вернувшись к воротам Каминаримон, перед которыми никогда не иссякает бурливая толпа, задумаемся в очередной раз над относительностью древности и современности. Ворота эти разрушались за последних два века несколько раз из-за землетрясений или войн. Так, они полностью сгорели во время большого пожара 1865 г. и толком не были отстроены много лет. Построенную после землетрясения 1923 г. более скромную версию разбомбили в 1945 г. американцы. Зачем? Просто они все бомбили и практически сожгли весь город. Заново построили ворота только к 1960-му и повесили знаменитый гигантский фонарь.

«Седая древность» во многих других случаях в нынешней Японии — это новодел. Хорошо это или плохо?

Разумеется, лучше иметь изначальный неповрежденный памятник, что часто вряд ли возможно. Есть и такой вариант: устанавливать на месте разрушенного памятные таблички и строить нечто ультрасовременное. Нет, я думаю, японцы поступают правильно, воссоздавая повторение разрушенного памятника. Если подходить к делу бережно и профессионально, то это единственный подход, позволяющий зримо и материально воспроизводить наследие. Бревна молодые и краски химические, скажут буквалисты и хулители «новоделов». Но все бревна и даже камни разрушаются и подлежат замене и консервации время от времени, а краски и технологию японцы стараются использовать традиционные, по возможности конечно. (Вот, например, нынче в белила гейшам ни свинец, ни ртуть не добавляют, и как к этому ревнителю аутентичности относятся?) Результат же — старая архитектура в современном городе. Это, если угодно, принцип японской пластичности в отношении со временем. Время для них не поступательно, как в культурах, верящих в прогресс, а циклично — все воспроизводится, пусть с вариациями, но суть остается. Данный принцип лежит в основе существования древнейшего храма богини Аматэрасу в Исэ — каждые двадцать лет его аккуратно раскатывают по бревнышку и строят на том месте точно такой же. Точнее, рядом есть два священных участка — на одном стоит храм, а второй двадцать лет отдыхает. Потом они меняются функциями.

Основная примета Каминаримон — исполинский красный фонарь (напомним, что данный цвет не имеет никакого отношения к «кварталу красных фонарей», цветовая символика соответствующего квартала была иной). На фонаре написано: «Ворота Грома». Статуя бога грома Райдзина находится слева в воротах, а статуя парного ему бога ветра Фудзина — справа. На фотографиях их не очень хорошо видно, потому что они защищены частой проволочной сеткой от голубей и бомжей. Воспользуемся гравюрой художника Эйсэна, чтобы лучше рассмотреть изображения статуй.



Эйсэн. Ворота Каминаримон

Громовик Райдзин изображен в виде демона с красным телом в полете, окруженного гирляндой из барабанов. На барабанах — узор *тамое*, представляющий собой три вписанных в круг запятых, что передает вихревое движение. В народных верованиях считается, что Райдзин любит покушать детские пупочки. Поэтому когда гремит гром и приближается гроза, родители предупреждают детей: запахнитесь от греха подальше.

Ветрила Фудзин с зеленым телом считается одним из древнейших синтоистских богов: он принимал важное участие в Сотворении мира, помогая Идзанаги и Идзанами отделить небо от земли. Пуская ветры, он рассеял утренний туман и прочистил священные ворота между небом и землей, что позволило солнцу воссиять. Иконография Фудзина — страшный демон с надутым мешком за плечами — восходит, вероятно, к греческому Борею. Она пришла в Китай через Гандхару, Индию и Великий шелковый путь.

Пройдя в ворота, мы вступаем на территорию Горы Золотого дракона — так обозначается с древности священное пространство храма, хотя никакой горы и даже пригорка там нет. По широкой аллее Накамисэ с двумя рядами лавок быстро пройти можно только поздним вечером, в остальное время там сплошная толпа. Впрочем, торопливо пробежать Накамисэ нет никакого резона, там



**Ворота Ходзомон открывают вид на площадь перед главным храмом Сэнсодзи**

есть на что поглазеть. Приходя туда с интервалами в несколько лет, я заметил, что товары продают какими-то волнами. Хотя многие лавки специализируются на чем-то одном (сладостях, изделиях из бамбука или бумаги, керамике или пластмассе, обуви или одежде), особой уникальности там не видно. Помню, в середине 1990-х гг. там продавали упоительные трусы-боксеры, которые можно было использовать как шорты для джоггинга или для более интимного употребления. На них были ярко напечатаны известные гравюры *укиё-э*. Представьте, например, две страшные рожи актеров с картинок Сяраку, помещенные сзади лицом друг к другу, или какого-нибудь молодца-самурая с пикой — спереди. Поскольку весь купленный тогда запас я быстро сносил (занимаясь джоггингом), а еще больше раздарил восхищенным подружкам, через пару лет отправился в Асакусу с целью воскурить благовоения в храме и запастись трусами. Увы, их и след простыл. Возможно, они были признаны политически некорректными. Зато купил великолепные носки *таби* с отдельным большим пальцем и благородным классическим узором



**На стене ворот Ходзомон со стороны площади висят огромные варадзи — соломенные лапти**

эпохи Эдо. Прошло несколько лет, и носков с традиционным узором больше не найти — продают с драконами и покемонами. Тогда же купил в одной из обшарпанных лавок в задних нетуристских рядах *дзикатаби* — матерчатые сапоги-чулки с отдельным пальцем. Приятельница-японка смеялась, ужасалась и говорила, что в подобных нынче ходят только строительные рабочие. Тем не менее я в них с удовольствием разгуливал, иногда надевая на лекции по культуре Эдо к вящему восторгу студентов. А несколько лет спустя по-новомодному яркие, всевозможных размеров, начиная с детсадовских, *дзикатаби* можно было увидеть в массе лавок, куда строительные рабочие явно не заглядывают...

Вторые ворота — Ходзомон — открывают вид на площадь перед главным храмом Сэнсодзи. В верхней их части хранятся храмовые сокровища, а на стене со стороны площади висят огромные варадзи — соломенные лапти. Их недавно сплели благодарные прихожане. Обычай этот довольно распространен: две исполинские сандалии висят на стене храма Большого Будды в Камакуре.



Наверно стоит здесь отметить, что храм Сэнсодзи для Асакуса — центр культовой и культурной жизни. Собственно, само слово *сэнсо* — это на китайский манер прочитанные иероглифы «асакуса», т. е. «мелкая трава». В незапамятные времена (в 628-м, по преданию) города и в помине тут не было, имелся лишь поросший мелким тростником берег реки Сумида. Однажды два брата-рыбака, Хаманари и Такэнари, по фамильному прозвищу Хинокума, выловили в реке позолоченную статую бодхисатвы Каннон. О чужеземной религии — буддизме — они и не слыхивали. От греха подальше братья выбросили находку в воду, но статуя упорно попадалась в сети еще несколько раз. Тогда они отнесли ее деревенскому старосте Хадзи-но Мацути (по другой версии, он был сосланным столичным аристократом). Староста окружил статую почетом и построил для нее храм. В тот день в небе видели танцующего золотого дракона, радовавшегося тому, что статуя нашла достойное пристанище и поклонение. Впоследствии на этом месте и вырос огромный храмовый комплекс, который стали называть «Горой Золотого Дракона».

За заслуги всех троих, старосту и рыбаков, причислили к рангу богов, но не буддийских, а синтоистских, построив в их честь храм Асакуса-дзиндзя. (Его еще называют «Сандзя», «Тройственный храм», и устраивают перед ним каждый год в мае праздник — один из трех самых главных храмовых праздников в Токио.) Когда появилось первое здание храма, неизвестно. Но это действительно старейший храм в Токио: при раскопках 1945 г. ученые нашли черепки середины VII в. Нынешняя постройка стоит с 1649 г., когда ее распорядился поставить сёгун-строитель Иэмицу, чье имя нам уже встречалось при рассказе о мемориале Тосёгу в Уэно. В этом синтоистском святилище часто устраивают свадьбы на старинный манер.

Рядом с Асакуса-дзиндзя находится огромный главный храм всего комплекса Сэнсодзи — Каннондо. Некоторые считают, что построили его уже в 645 г. Так или иначе, нынешнее сооружение стоит с 1958 г., его воссоздали взамен разрушенного в 1945-м. Главным объектом поклонения



Свадьба на старинный манер  
Свадебный поезд подъезжает к храму. Октябрь 2010 г.



Храм Каннондо

в нем является статуя Каннон, и храм, разумеется, буддийский. Здесь стоит сделать паузу и задуматься о японском национальном характере, выражающемся в религиозном синкретизме и толерантности. Два деревенских рыбака вылавливают статую бодхисатвы, значимую для чужеземной тогда религии, буддизма, и за это их объявляют *ками* — богами синто! Храмы, посвященные ловцам и их «улову», устраивают вплотную друг к другу. И храмы эти относятся к разным религиям. Японцы ходят и молятся в оба.

Сам храм Каннондо представляет собой зрелище грандиозное по масштабу. Впечатляет вид и с его террасы на площадь — над ней всегда стоит дымок от тысяч курительных палочек, сжигаемых пачками в широченных чанах. Толпа вокруг курильниц усиленно машет на себя руками, сгребая дым, — он считается целебным.

Вокруг главного храма — пятиярусная пагода, множество мелких святилищ, монументов и памятных стел, старых и новых. Маленький шестигранник слева от Каннондо является редким памятником раннего периода Эдо, построенным в 1618 г. храмом бодхисатвы Дзидзо. Двер-



Дым от курильниц считается целебным



Маленький шестигранник — храм бодхисатвы Дзидзо (1618)

цы раскрывают только по большим праздникам — обычно статуя там заперта в полной темноте.

Когда я был в последний раз у храма Асакуса, там не только проезжал на рикшах свадебный кортеж. На площадке сбоку давал представление *сарумаваси* — поводырь с обезьянкой. Этот вид городского развлечения был весьма популярен в течение столетий. Вряд ли он с тех пор сильно изменился, разве что у поводыря прикреплен к голове микрофон, от которого провод тянется к внушительному усилителю сзади площадки. В этом вся Япония: те же обезьянки, те же ужимки и прыжки, что и двести — триста лет назад, но с чудесами современной техники. Уличных поводырей обезьян часто изображали Хокусай и другие художники той эпохи. Становились они и героями представлений театра Кабуки. Например, в пьесе «Уцубодзару» («Колчан из обезьяньей шкуры») некий самурай, собираясь на охоту, увидел дрессированную обезьяну. Пленившись ее красивой шкуркой, он хочет силой от-



Представление сарумаваси у стен храма Асакуса

обрать животное у поводыря, чтобы, убив обезьянку, обтянуть ее кожей свой колчан. Но когда он поднимает на зверюшку палку, та думает, что ее просят станцевать, и начинает исполнять свой номер. Пораженный самурай отказывается от намерения ее убить и, выражая танцем свое раскаяние, уходит.

Отворот Каминаримон за рекой Сумида хорошо видна другая Япония — ультрасмелой архитектуры и всяческого хайтэка. В панораму укладывается и еще недостроенная телебашня, которая будет



Вид от ворот Каминаримон на другую Японию за рекой Сумида

самым высоким сооружением Токио, свыше 600 м, непостижимо и опасно высоким в местах, где земля дрожит чуть ли не каждый день. И золотой головастик на крыше здания компании «Асахи» — плод творческого полета одного заезжего француза, который убедил наивных пивоваров, что это — пламя.

Если пойти в противоположную от золотого пламени сторону (по Каминаримон-дори), за пять минут можно дойти до Музея барабанов (Тайкокан). Еще лучше сделать остановку на этой улице в одном из маленьких ресторанов, где подают *тэмпура* — креветок, обмазанных тестом и обжаренных в масле. Моя приятельница Юка уверяла, что это самое лучшее место в Токио, чтобы полакомиться тэмпура. Особенно она упирала на какое-то редкое чистейшее масло, которое там используют и часто меняют. «А в других не часто?» — спросил я, ничего в данном процессе не понимая. По сведениям Юки, не очень часто, а нередко средней руки заведения в других районах за дешево покупали в тэмпурных на Каминаримон-дори ис-

пользованное масло и ничтоже сумняшеся варили тэмпура в нем. Я никогда особенно не любил эти чрезвычайно и не по-японски жирные мокрые штукорины, а теперь разлюбил совсем. Впрочем, как считается, они и не японские, а изначально португальские.

Так вот, съев пару палочек тэмпура (или не съев), можно идти дальше — к Музею барабанов. Он невелик, но барабанов там множество — от крошечных наладонных до гигантских *тайко*. Вообще, ударных инструментов в Японии великое множество — от ксилофонов до запечатанного ящичка из сосны, на котором мастерски играет Марк Пекарский, извлекая из каждой стороны совсем разные звуки.

Кстати, музеев в Асакуса, в пешеходной досягаемости один от другого, не меньше полудюжины. Например, есть два музея сумок — один народов и дизайнеров мира (у выхода со станции Асакуса линии метро Тоэй-Асакуса), а другой — японских (у выхода со станции Асакуса-баси той же линии). Еще есть замечательный Музей традиционных ремесел Ситамати эпохи Эдо — это совсем рядом, к северо-западу от парка Ханаясики. А если свернуть от Музея барабанов на север и пойти по Кокусай-дори и через три минуты свернуть налево на Каппабаси-дори, то можно зайти в Музей фольклора Асакусы Тэпко (Тэпуко Асакуса-кан). Но еще интереснее пройти чуть дальше по этой улице до Квартала едальных принадлежностей Каппабаси (Каппабаси Догугай). Это уникальный город ресторанный и кухонный оборудования, растянувшийся на километр вдоль одноименной улицы. Приближение к нему можно опознать по громадной скульптурной голове повара в колпаке на крыше пятиэтажного здания на перекрестке. К поварам там особо почтительное отношение. Если выбирать что-нибудь с умным видом или задать специфический вопрос, то в ответ спросят, не шеф-повар ли вы (*сэфу-сан*), и предложат скидку. Так было со мной в магазине ножей: среди сотен или тысяч всех размеров и форм я заинтересовался группой ножинок с шириной лезвия от 20 см и шире (именно шириной, а не длиной).

Хозяин осведомился, не сэфу-сан ли я, и, услышав честное «нет», все равно предложил отдать их как *сэйпу* (sale). Я представил себе, как перед подружками буду небрежно нарезать таким ножичком лимон к чаю, и чуть было не соблазнился, но, вообразив, что может случиться с молодцами из аэропортовской секьюрити в какой-нибудь стране, где политкорректность не велит отличать еврейского профессора от исламистского террориста, вздохнул и отказался.

Вообще купить в Каппабаси можно все — от промышленных морозилок до бумажных стаканчиков, включая великолепную керамику и изделия из лака, и все это по особым оптовым ценам для рестораторов. У туристов, впрочем, наибольшей любовью пользуются пластмассовые муляжи *суси*, которые, пока не возьмешь в руки, не отличишь от настоящих. Помню, как я развлекался дома в Нью-Йорке, когда ставил перед гостями на большое блюдо с суси одну-две пластмассовые и загадывал, какая будет реакция и в какой момент мистификация раскроется. Бывало, еще в руках, бывало, и перед носом, но когда одна изящная барышня попробовала проглотить, не глядя и не разжевывая и ее долго пришлось колотить по спине, я испугался и невинные шутки прекратил.

Но вернемся к более традиционным развлечениям Асакусы. Сразу за главным храмом (Каннондо) Асакусы расположен парк развлечений Ханаясики — буквально Публичный сад цветов. Возможно, название напоминает об иных публичных цветах — проститутках Ёсивары, ведь как раз на месте легендарного квартала платной любви и устроен нынешний парк развлечений. Он состоит из некоторого количества качелей-каруселей, пары театров, нескольких кинотеатров, множества залов игровых автоматов и полускрытых массажных кабинетов — как же без них! Народ по Ханаясики бродит простецкий, кругом полно полицейских, но мало что напоминает о славной истории Ёсивары. А ведь сценки оттуда и портреты ее обитательниц составляли колоссальную часть картинок *укиё-э*. Еще каких-то двести лет назад это был бурлящий центр сто-

лицы, созданный для отправления потребностей природы, но ставший местом притяжения всех передовых сил культуры. Красавицы из веселого квартала Ёсивара и актеры театра Кабуки были наиболее популярными сюжетами в гравюре укиё-э — по крайней мере, до первой четверти XIX в. включительно. Почему так происходило? Сделаем небольшой культурно-исторический экскурс. Вдруг он поможет тем, кто там окажется, представить, что вот так семенили по улочке на высоких кири гэта легендарные красавицы, вдохновлявшие купцов швыряться золотом, приказчиков — взламывать хозяйскую кассу и после ночи любви идти в бандиты, а художников уровня Харунобу или Утамаро — переселяться в этот район и запечатлеть быстро отцветающих красавиц.

С начала XVII в., когда ставка новой династии сёгунов была перенесена в Эдо, городок стал стремительно застраиваться, для чего потребовались десятки тысяч мужчин. Многие тысячи потребовались для обслуживания двора диктатора и прочей военной верхушки. Дополнительным фактором послужил закон *санкин котай*, согласно которому каждый удельный князь (даймё) должен был периодически проживать со своими приближенными не в своем родовом владении, а в новой столице. Так династия Токугава боролась (вполне успешно) с местным сепаратизмом и возможными восстаниями в провинциях. Когда мужья уезжали на год в Эдо, женщины из этих феодальных семей, как правило, оставались дома. Иногда соотношение мужчин и женщин в столице достигало пропорции 10:1. Соответственно, в Эдо вслед за одинокими молодыми мужчинами немедленно потянулись содержатели и содержательницы борделей со своим «товаром», а также инициативные девушки из окрестных деревень.

В начальный период существования столичного квартала платной любви существовал и еще один довольно нетипичный источник дохода его обитательниц. Проституцией были вынуждены заниматься многие молодые вдовы и дочери аристократических и самурайских се-

мей, оказавшихся без своих мужчин, владений и средств, поскольку все перечисленное сгинуло в истребительных междоусобных войнах начала XVII в. Этот контингент был рафинирован, прекрасно воспитан и образован, что представляло для клиентов едва ли не большую притягательность, чем собственно плотские утехи. Общество таких женщин стоило разорительно дорого. Впоследствии, когда за пару поколений этот ресурс барышень из благородных был исчерпан, содержатели веселых домов стали воспитывать в сходном духе свежие кадры низкого рождения. Девушкам полагалось владеть кистью, чтобы рисовать картины, каллиграфически писать, уметь слагать стихи и помнить сотни, если не тысячи классических стихотворений, знать искусство чайной церемонии, разбираться в курениях благовоний, петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать и, разумеется, уметь развлекать гостя изящной беседой и тонким обхождением. Так повелось, что дома свиданий в Японии стали не столько местом незамысловатого удовлетворения физиологических потребностей, сколько средоточием эротически сдобренного, но в целом не столь сексуального, сколь эстетически окрашенного изысканного препровождения досуга. Кварталы удовольствий были центром притяжения ведущих художественных сил культуры «быстротекущего мира», важнейшим средоточием творческой активности и источником вдохновения для художников. Многие из них, как, например, Утамаро, просто жили внутри квартала либо через дорогу. Японские художники, может быть, наиболее характерны в этом отношении, но отнюдь не исключительны: во все времена художники тяготели к просвещенным гетерам, а в новое время — и к незамысловатым бордельным дивам (на память приходит большой любитель японцев Тулуз-Лотрек).

Квартал Ёсивара был впервые устроен в Эдо в 1617 г., когда власти удовлетворили прошение самурая Сёдзи Дзингэмона, представителя содержателей публичных домов, о выделении для их бизнеса особой огороженной территории. Прецедент разрешенного правительством



Масанобу. Ворота квартала Ёсивара

квартала любви уже существовал в Киото с последних лет XVI в., а его устройство было скопировано с соответствующих институций минского Китая. Из Китая же, кстати, было позаимствовано и слово, обозначающее публичные дома и появляющееся почти во всех названиях гравюр с красавицами. Слово *сэйрô* (от кит. *цинлоу*) означает буквально «зеленые дома» (или «голубоватые башни»; цвет, обозначаемый иероглифом *сэй/аой*, более всего соответствует цвету далекого леса на горизонте). Выражение «цинлоу» было известно в Китае с раннего Средневековья, оно встречается в стихах танских поэтов Ли Бо, Ду Му и других. Изначально так обозначались дома (или высокие башни) в богатой усадьбе, в коих жили жены и наложницы. Потом слово было перенесено на публичные дома и заимствовано, как и многое другое, молодым перемчивым соседом, Японией.

Итак, с 1617 г. огороженный квартал платной любви располагался на территории примерно в 5,5 га в самом центре города недалеко от Эдоского замка. Через сорок лет городское начальство решило перенести его подальше от центра. Это решение было немедленно « поддержа-

но» грандиозным пожаром Мэйрэки 1657 г., во время которого большая часть Эдо выгорела дотла, а число жертв (сгоревших и утонувших) составило 108 тысяч человек. Новый квартал был устроен на площади в 7,2 га в районе Асакуса уже через восемь месяцев после пожара. Он стал называться «Новая Ёсивара», но через какое-то время слово «новая» отбросили.

Квартал Ёсивара был огорожен высокими стенами и отделен широким рвом от города. Строго говоря, это был целый район, делившийся на свои собственные кварталы. В него вели единственные ворота — Омон, устроенные в северной части. От ворот начинался центральный бульвар Накано-тё, пересекавшийся параллельными улицами. В юго-восточном углу находился храм Куросукэ Инари (Лисьему богу), который считался покровителем проституток. (В разные времена в пределах Ёсивары было четыре храма, обслуживавших духовные запросы девушек.) Справа от входа в квартале Эдо-тё располагались самые престижные заведения. За ним был квартал Агэя-тё — с домами свиданий *агэя*. Поскольку агэя часто путают с чайными домиками (*тяя*), а последние — с местом, где пьют чай, об этом феномене следует сказать несколько слов.

Домики агэя были местом предварительных свиданий. Туда посетитель приходил знакомиться с девушкой,



Место предварительных свиданий

договариваться, проводить с ней какое-то время за беседой, саке- и чаепитием, и только после этого можно было отправляться с ней непосредственно в «зеленые дома». В агэя также проходили денежные расчеты и велись счета клиентов — куртизанкам высокого разряда считалось неприличным дотрагиваться до денег.

Что же касается чайных домиков, они первоначально были заведениями за пределами лицензированного квартала, где поили чаем и угощали официантками\*. Другим популярным местом незарегистрированной проституции были городские бани — прославленные и в гравюре, и в литературе, скажем, в историях Сикитэя Самба «Укиёбу-ро» (1809–1813). Владельцы официальных публичных домов боролись с нелегальными конкурентами еще энергичнее, чем власти, и регулярно наводили на них полицию. Чайные домики закрывали, девушек высылали на родину в деревню или принудительно переводили внутрь в Ёсивара, где они должны были работать бесплатно три года. Но поскольку новые чайные домики открывались с новыми девушками и в новых местах сразу после облавы, власти наконец решили их узаконить, перенеся в Ёсивара. Там они неожиданно для владельцев и секс-персонала старых заведений стали пользоваться таким успехом у клиентов, что затмили собой старые агэя и перехватили их функции. Первоначально, в конце XVII в., их было восемнадцать и располагались они в Агэя-гё, но с началом нового века чайные домики перекочевали на главный бульвар веселого квартала и размножились необычайно. Особо милovid-

\* Японский опыт, возможно, наиболее эстетически выразителен, но отнюдь не уникален. Достаточно вспомнить парижские кафе второй половины XIX в., времени *belle époque*. В 1880-е гг. чрезвычайной популярностью пользовались *brasseries à femmes*, в которых напитки подавали экзотически одетые (точнее, полуодетые) официантки, чей основной заработок составляло обслуживание не столиков, а в постели. Приведем в качестве примера картину Э. Мане «Бар в Фоли-Бержер» — изображение знаменитого кафе-шантана, пользовавшегося сомнительной репутацией. (Выставлена в Салоне 1882 г., хранится в Институте Курто в Лондоне.) Равнодушно-отрешенная девушка за стойкой бара является французской реинкарнацией задумчиво-печальных девушек из чайных домиков Харунобу.

ные и умелые девушки пользовались общенародной славой и воспеты тонкой кистью Харунобу. Причем нередко Харунобу создавал два варианта одной и той же композиции: в одном хрупкая девушка грациозно несет сидящему на лавке посетителю чашечку чая, а в другом клиент уже распустил руки и лезет ей под кимоно, а она расставила ноги...

Вместе со старыми домиками свиданий агэя исчезли к 1760-м гг. и два высших класса куртизанок старой школы, опиравшихся еще на давние аристократические традиции публичных домов императорского Киото, — *таю* и *кóси*. Обладательницы этих рангов отличались не только редкостной красотой и многочисленными талантами, но нередко и дурным характером. Они имели право отвергнуть не понравившегося им нового гостя и демонстрировали это, отказавшись выпить с ним чашку саке в агэя. В случае принятия клиент мог рассчитывать на постельные утехи не раньше третьего визита. Общение с таю было церемониально запротоколированным. Это, конечно, грело тщеславие худородных нуворишей, но раньше или позже, а иногда и стремительно их разоряло. Истории того времени изобилуют печальными сагами о растратившемся купце или приказчике, забравшемся в хозяйскую кассу и после вынужденным бежать и стать благородным (или не очень) разбойником. Еще до побега несчастный любовник, в дополнение к неподъемной плате за удовольствие\*, был окутан множеством ограничений: он не имел права ходить к другим куртизанкам, а будучи пойман —

\* Стоимость услуг куртизанки, согласно преискуранту, была примерно такова: таю и коси брали 1 рё и 1 бу (1 рё составлял 4 бу, или 16 сё, или 6000 мон и равнялся примерно 185 г золота). Для сравнения: на 1 рё в начале XVII в. можно было купить 1 коку (примерно 180 кг) риса, т. е. годовую норму этого основного продукта питания. К этой цене следует добавить сопутствующие расходы — на угощение в агэя, на чаевые для антуража куртизанке и нередко на проститутку для своего собственного антуража. В начале XIX в. цены заметно упали. Большинство ёбидаси стоили 2–3 бу, некоторые — 1 рё, и только две, согласно сведениям на 1825 г., брали плату по-старому: 1 рё и 1 бу. А рис к тому времени, напротив, вздорожал. Удивительно ли, что многим приходилось довольствоваться девушками попроще и покупать за 20 медных монеток картинку недоступных куртизанок.



Девушки низших разрядов.  
Художники Кунисада (слева), Утамаро (справа)

должен был платить большой штраф, ублажать надутую возлюбленную (для чего его могли обрядить в кимоно девочки-прислужницы и отрезать мужскую гордость — косичку с макушки). Неудивительно, что куртизанок высших разрядов называли «разрушительницами крепостей» (*кэйсэй*) — в память о чрезмерном увлечении одного китайского императора своей наложницей, в результате чего он забросил государственные дела, не отреагировал вовремя на вторжение врагов, и царство его было разрушено. В итоге пользование услугами таю и *кочи* сошло на нет, особенно когда в массовом порядке появились более дешевые и укладистые девушки из чайных домиков.

По аналогии с их номинальным ремеслом их называли *сантя* — вид зеленого чая. К середине XVIII в. появилась новая разработанная номенклатура. Высшим разрядом стал *ёбидаси* («только по предварительной записи»). В каталогах-*сайкэн* обитательниц Ёсивары, издававшихся каждые полгода, эти куртизанки обозначались особым значком — двойная гора с точкой внизу. Ступенькой ниже шли *дзасикимоти* — «держательницы гостиной», т. е. вы-



Харунобу.  
Забавы куртизанок высоких разрядов

сокопоставленные проститутки, имевшие в своем распоряжении две комнаты. Они обозначались в каталогах двойной горой без точки. Еще ниже шли *хэямоти* — «держательницы комнаты», т. е. спальни, где проходила и светская часть их жизни, и постельная (их символ — один пик в каталогах). Обычно *ёбидаси* имели в услужении двух маленьких (до десяти лет) девочек — *камуро* и одну-двух *синдзо* — молоденьких девушек от десяти до шестнадцати лет. Всех этих девушек часто изображали Киёнага, Утамаро, Эйdzан и прочие популярные художники. В отличие от всех прочих разрядов, *ёбидаси* не должны были сидеть на зарешеченных верандах, показывая себя потенциальным клиентам. *ёбидаси* выходили поджидать гостя в чайные домики, устраивая пышное шествие в окружении *камуро* и *синдзо*. Часто в антураж входил еще и мужчина-прислужник, который независимо от возраста назывался *вакамоно* («малый»). *Вакамоно* обычно тащил ящик с принадлежностями куртизанки или нес над нею зонтик. С середины XIX в. эти группы куртизанок объединяли простоты ради в один высокий разряд — *ойран*.



Кроме этих дорогих и высокопоставленных красавиц существовали также многочисленные группы довольно низкопробных проституток. Их низкий статус не был помехой для художников, любивших изображать в сериях разные типы и группы жриц любви, носивших к тому же выразительные наименования (*кири* — «на недолго»; *каси* — «работающая у рва», т. е. на пленэре, и изображавшаяся обычно со свернутым в рулон матрасом; *цудзиками* — «особа с перекрестка», ее также изображали с соломенной подстилкой под мышкой; *сироку* — «четыре-шесть», т. е. берущая четыре сотни медных монет ночью и шесть сотен — днем; *тэтто* — «пистолет», т. е. та, с кем связываться было небезопасно). Как правило, эти девушки изображались с кокетливо зажатым в зубах уголком платочка — условный прием намекнуть на пылкую натуру, настолько страстную, что для сдерживания криков и стонов (от скромности, разумеется) ей приходилось кусать платок. За пазухой такие персонажи обычно держали рулон бумажных салфеток (быстро вытереть что придется). Рулон салфеток — одна из постоянных деталей, позволяющих опознать на картинке проститутку невысокого ранга.

По сведениям на конец XVIII в., в Ёсивара было около трех тысяч проституток. Однако вместе с будущими (каму-ро и синдзо) и бывшими проститутками (те часто работали бандершами — *яритэ*) и прочим обслуживающим персоналом, включая издателей и художников, число обитателей Ёсивара превышало десять тысяч. Это был настоящий город в городе со своими обычаями, сленгом и искусством.

После большого пожара в 1872 г. Ёсивара отстроился лишь частично, шарму в нем поубавилось. Во время землетрясения 1923 г. весь район был полностью разрушен. Возрождение шло с трудом — и девушки были уже не те, и клиент пошел другой, попроще. Вместо этого в 1930-х гг. на пепелище стали строить дешевые кинотеатры с заграничными мелодрамами. Немые фильмы комментировались рассказчиками-*бэнти*, а звуковые ими «переводились», обычно в меру собственного разумения иностранных наречий и чувства юмора. При этом один и тот же рассказ-

чик говорил на разные голоса — за мужчин и женщин, стариков и детей, злодеев и положительных героев.

В 1950-е гг., на волне послевоенного восстановления, оживилась было и старая добрая Ёсивара, — опять же в Токио понаехало много одиноких строительных рабочих, да и вообще от здоровых народных обычаев грех отказываться. Тем не менее не без давления американских оккупационных властей и под влиянием новых веяний проституция была официально запрещена в 1958 г. Начался последний исход специалистов высокой квалификации в менее значимые, а потому не столь заметные для полиции и престарелых моралистов места (например, Кабуки-тё, если кому интересно). В 1960-м на краю бывшего квартала любви, у засыпанного пруда Бэнтэн, почитатели и ветераны сложились и поставили памятный знак — стелу в честь «Ханано Ёсивара» («Цветов Ёсивары»), как называли его обитательниц. На стеле трогательная эпитафия поэта Ямадзи Канко, профессора Женского университета Кёрицу.

Там же, за оградой, маленький храм богини счастья Бэнтэн, покровительницы музыки и прочих развлечений. Рядом — остатки пруда Бэнтэн-икэ. Во время страшного пожара, вызванного Великим землетрясением, многие пытались спастись в его воде, и 190 человек утонули. Через три года, в 1926-м, в их память была воздвигнута статуя милосердной богини Каннон, стоящая и поныне на высоком пьедестале. Вокруг часто можно видеть пожилых женщин; среди подношений богине — бутылки с водой, сигареты, банки с пивом...



Статуя Каннон в Ёсивара

В 1966-м Ёсиваре был нанесен последний удар: переименованы улицы и кварталы. Исчезли с карты присутствовавшие на ней более двух веков названия Эдо-тё, Кёмати, Суми-тё или Агэя-тё. И, конечно, исчезло главное название района — Син-Ёсивара. (Памятник Цветам Ёсивары стоит нынче по адресу Сэндзоку Сан-тёмэ, 22.)

Все же Ёсивара осталась не только в старых гравюрах — можно еще пройтись по тем улицам, постоять у памятной стелы. Сдается мне, что скоро по кварталу могут начать водить ностальгические туры с культурно-сексуальной направленностью. Мне видится густо набеленная экскурсоводка в наряде ёбидаси, шепчущая на ушко зачарованному туристу, сидящему рядом с ней в коляске рикши, о том, как тут было хорошо...

### Праздники в Асакусе

В многочисленных храмах Асакусы круглый год проходят какие-нибудь празднества. Например, в начале февраля (обычно 3-го) в храме Сэнсодзи устраивают *сэцубун* — разбрасывание жареных бобов с приговариванием: «Черти — вон, счастье — в дом». В основе обряда лежит представление о том, что очищение от нечистой силы, несущей напасти, приносится жареными соевыми бобами, которых черти не переносят. Поэтому обряд называется «бобометание» (*мамэмаки*). Раньше для него наполняли специальную деревянную мерку — поднос *самбó*, ставили ее на алтарь. Помолясь, глава семейства или член семьи, родившийся в год данного зодиакального знака, швырял с нее пригоршни жареных бобов (называемых «счастливыми бобами», *фукумамэ*) по комнатам, а также в домочадца в маске черта и, наконец, в открытую дверь. Сейчас бобы мечут с террасы храма, часто приглашая для этого известных спортсменов или телезвезд. Бобы попадают в густую толпу, а не в чертей, но толпа радуется и лакомство съедает.

В марте проходит праздник любования цветущей сакурой на реке Сумида — с катанием на лодках, фейерверками и выпивкой. В апреле на территории Сэнсодзи можно

посмотреть на *ябусамэ* — стрельбу из лука на полном скаку и в самурайском облачении. В мае в Сэнсодзи пляшут Танец сокровищ (*такаро-но май*), а в соседнем Асакуса-дзиндзя величают трех древних основателей (*сандзя мацури*). В июле — праздник влюбленных звезд Танабата на Каппабаси-дори, праздник-ярмарка китайских фонариков в Сэнсодзи и фейерверки на реке Сумида.

В августе (в самую невыносимую влажную жару) в Асакусе устраивают карнавал самбы. Зажигательные латиноамериканские танцы, от которых раскочегарится и паралистик в зимнюю стужу, танцуют выходцы японского происхождения из Бразилии. Да, в начале XX в. в Бразилию и некоторые другие страны Латинской Америки уехали несколько тысяч бедных японцев. Некоторые через два-три поколения добились больших успехов. Альберто Фухимори (так там произносят фамилию Фудзимори) даже являлся президентом Перу в 1990–2000 гг. Однако в последние десятилетия латиноамериканские японцы потянулись в Японию в качестве репатриантов (процесс был очень значителен в период экономического бума). Множество их поселилось в Асакусе, они организовали землячество выходцев из Бразилии и вот теперь танцуют на улице самбу, румбу и фокстрот.

Ну, октябрьские танцы Золотого Дракона в Сэнсодзи можно не описывать. Дракон он и есть дракон, там вся территория, как мы помним, представляет собой Гору Золотого Дракона, а вот в ноябре там устраивают танец Белой Цапли (*сирасаги*) и Петушиную ярмарку в Васидзиндзя — святилище Орла.

Орлиный храм — едва ли не главное в Японии синтоистское святилище, посвященное птицам. Собственно, оно посвящено древнему принцу-воителю Ямато Такэруно микото (который ассоциируется с большой белой птицей), а также связан с Амэ-но Хи Васи — Орлом небесного солнца. Но главный храмовый праздник, тем не менее, именуется «Петушиной ярмаркой» (*тори-но ити*), поскольку устраивают его в дни зодиакального петуха (*тори*). В эти дни на территории храма продают приносящие счастье



Орлиный храм — синтоистское святилище, посвященное птицам

предметы, среди которых, как ни странно, нет изображений петуха или орла (впрочем, и они появились в последнее время). Главный амулет с ярмарки — это миниатюрные грабли (по-японски «медвежья лапа», *кумадэ*) для загребания счастья и маски веселой женщины с надутыми щеками — *отафуку*. Отступление на тему сравнительной культурологии: в Японии счастье гребут граблями, а в России — лопатой. Вероятно, японцы согласны оставить всякую мелочь, просочившуюся между зубьями, так же как хорошие грибники не берут едва вылезшие грибочки.

А в декабре вокруг храма Сэнсодзи устраивают ярмарку ракеток (*хагоита ути*), когда-то использовавшихся для игры в волан, а ныне исключительно декоративных. Это существенная часть новогоднего убранства дома. Размером хагоита могут быть от игрушечных до двухметровых опахал. Рассказывают, что несколько лет назад сотрудники одной компании сложились и купили такую гигантскую ракетку своему боссу. В момент поднесения на новогодней пирушке ракетку обвалили на босса. Новый год он встречал в больнице. А когда вышел, никого не уволил, потому что всех простил. В Асакусе живут простые добрые люди, и нравы Ситамати там еще не умерли.

## ГОРА ТАКАО

**В** Японии можно ехать на поезде часами и видеть за окном все тот же городской пейзаж — например из Токио в Йокогаму, а можно наоборот — меньше чем за час добраться до глухих мест с запутанными тропками, горными монахами-отшельниками и дикими обезьянами. Одно из самых примечательных таких мест есть в районе Большого Токио — это гора Такао с ее храмами и природным заповедником.

Она расположена примерно в 50 км от Синдзюку, одного из центров Токио, и доехать туда можно поездом линии Кэйо меньше чем за час (до станции Такаосан-гути). Я отправился туда пасмурным осенним днем, когда накрапывал теплый дождь, а листья только начали желтеть. До красных кленов был еще целый месяц. Возможно, из-за погоды и еще потому, что это был обычный будний день, станция была почти пустой. В праздники же, особенно в праздник хождения по огню (*хиватару мацури*), здесь собираются огромные толпы.

Под огромным стендом со схемой маршрутов подъема на гору был ящик с бесплатными большими картами (по-японски, но с обозначением по-английски основных названий). Гора Такао невысока, всего 599 м, но достаточно крута. На вершину, к знаменитому храму, можно подняться и в вагончике по канатной дороге (самой, кстати, крутой в Японии, угол подъема составляет более 30 градусов), а можно и в кабинке подвешенного лифта (на этот раз самого длинного, как сообщает буклет, длиной чуть меньше 900 м). Но я выбрал путь наверх по змеящейся тропинке — как поднимались на гору паломники более тысячи лет. Самая длинная (около 4 км) и самая живописная обозначена ныне на картах как путь № 1 и начинается налево от станции, между статуей бодхисатвы Дзидзо, покровителя путников и маленьких детей, и небольшим храмом. Эта статуя высечена совсем недавно, и хочется сказать — в постмодернистской манере, поскольку пропорции ее

и поза выдают изрядную долю юмора. Головастого мальчика с книжкой называют Тон-тон Дзидзо.

Справа, во дворе храма, статуя другого Дзидзо — Надэ-надэ. Она тоже новехонькая, сияет свежей бронзой. Впрочем, лосниться она может и от прикосновений болящих: говорят, Надэ-надэ помогает, если потереть сначала его, а потом соответствующую большую часть тела. Маленькая табличка у подножия трона просит не тереть об него домашних животных — хотя, казалось бы, от шерсти бронза отполируется еще лучше. Рядом под балдахином — другая новая статуя, но уже основательно покрытая благородной патиной. Это Кобо-дайси — Великий учитель Обширного Закона Кукай, основатель эзотерической школы Сингон и один из самых важных деятелей японского буддизма. Вырезанная в мраморе надпись сообщает, что это 88-я остановка на паломническом пути по 88 храмам. Таких маршрутов, более или менее кольцевых, в Японии несколько. Весьма известен и популярен поныне маршрут по острову Сикоку, но есть и на Хонсю, т. е. вот этот. Современные паломники ходят по храмам с особой книжкой, пустые страницы которой они заполняют (за триста — четыреста йен штука) печатями в каждом месте, удостоверяющем, что они там побывали и помолились. (Печать надо ставить в конторе храма.) Храмовый комплекс на вершине горы и его новые постройки внизу принадлежат особой ветви школы Сингон — Тидзан, или Горы Мудрости. Он называется «Такао-сан Якуо-ин Юкидзи» — «Обитель Царя-целителя храма Сущей Добродетели горы Такао». Он относится к трем главным храмам этого направления в восточной части Японии. Впрочем, давно пора ступить на тропу и начать подъем.

Маршрут начинается довольно полого, дорогу недавно расширили и замостили, сделали проезжей для маленьких грузовичков, выполняющих всякие парково-хозяйственные работы. Окружают ее высоченные сосны и криптомерии, которые делают дорогу сумрачной даже в ясный день. Сегодня же, когда небо непроницаемо и с короткими перерывами сочится мелкими каплями,



Головастого мальчика с книжкой называют Тон-тон Дзидзо (слева)

Статуя Кобо-дайси у подножия горы (справа)

как будто висящими в воздухе, пейзаж выглядит довольно мрачно. Впрочем, такой, пожалуй, и должна быть дорога к древнему храму, где живут *тэнгу*. Но о *тэнгу* чуть позже. Покамест их появление предваряют многочисленные маленькие фигурки Фудо — Неколебимых Сиятельных Царей, охранителей буддизма, и их прислужников додзи. Они стоят на высоких столбиках вдоль дороги с мечами и удавками, а вокруг — тишина. Иногда мелькнет стертая каменная статуя бодхисатвы Дзидзо, почти неотличимая от камней опорных стенок, если бы не красная полинялая шапочка. Ставились и продолжают ставиться такие статуи по обету, в защиту детей, обычно болеющих, умерших и нерожденных, многими тысячами.

После очередного крутого поворота открывается ступенчатая тропа к Компира-дзиндзя — синтоистскому маленькому храму в честь силача Компиры. В ноябре это одно из красивейших мест на горе Такао, когда храм и ворота тории перед ним погружены в буйство красных кленов; сейчас же их едва можно различить за пеленой тумана. В негоходишь, поднявшись едва до середины горы. Меж-



**Дорога к древнему храму Такао-сан Якуо-ин Юкидзи  
А вдоль дороги фудо и додзи стоят... И тишина...**

ду предметами повисает белесо-серая масса, делающая очертания смутными и обманчивыми, а огни — завораживающими и немного пугающими. Трудно представить, что на часах — полдень, а солнце — где-то там, в зените. Вероятно, примерно в такой атмосфере и складывались японские легенды о горных духах и бесах. Вот исполинский кедр с вылезшими из-под земли корнями — они напоминают осьминога. Его так и называют — *тако-суги*. Наверно, этот осьминог пугает не одно поколение странников в тумане. Сбоку доносятся резкие крики — это роща обезьян, в былое время вороватых и требовательных, а сейчас закормленных по науке и большей частью безопасных. Впрочем, выскочив из тумана, напугать они могут.

Аллея красных фонарей над почти отвесным склоном приводит к храмовым воротам Дзёсинмон — Вратам Чистого Сердца. Монастырский комплекс складывался на протяжении многих столетий. По преданию, первый храм на горе Такао был основан монахом Гёки в 744 г. Он прославился своей ролью в постройке огромной статуи Будды в храме Тодайдзи в Нара и был послан императором



**На подъеме к вершине  
Завораживающие и немного пугающие огни в тумане**

Сёму укреплять буддизм на восток страны. После смерти Гёки был причислен к рангу бодхисатв — почти Будды.

Еще от Гёки, а вскоре после него от Кукая пошла традиция монахов-аскетов и странников на Такао. Их называли *ямабуси* — живущие в горах. Они сочетали доступные только посвященным верования школы Сингон с народными практиками синтоизма и шаманизма. Кроме того, ямабуси изучали воинские искусства и считались непобедимыми в бою. Их и их синкретический культ Сюгэндо — Путь учений и испытаний — окружает и по сей день таинственный ореол. Гора Такао является главным учебным центром для ямабуси в районе Канто, т. е. на традиционном востоке Японии.

Одним из наиболее значительных настоятелей в Якуо-ин был монах Сюнгэн Дайтоку, который пришел из крупного центра на горе Дайго в Киото в последней четверти XIV в. и придал ему новую мощь. Статую его (изваянную совсем недавно) можно видеть справа сразу за воротами и за деревянными будками, охраняющими от непогоды свирепых небесных генералов, что защищают монастырь от напастей. Сюнгэн сидит в облачении горного странни-



Сюнгэн Дайтоку в облачении горного странника

ка (их можно узнать по белым или желтым плащам и широким коротким штанам), в руке у него посох с кольцами, перед ногами на подставке — огромная раковина, в которую ямабуси трубили как в рог.

Справа от статуи виден щит с votивными дощечками. В отличие от обычных пятиугольных плакеток эма, что можно увидеть во всех синтоистских храмах, здесь дощечки (на них пишут просьбы божеству) сделаны в форме сандалий-гэта с одним «зубом» — вертикальной планкой, на которую опираются при ходьбе. Поскольку стоять в таких гэта и поддерживать равновесие почти столь же сложно, как и стоять на ходулях, эти приспособления подразумевают постоянное переступание ногами, т. е. постоянное хождение по пути духовного и физического совершенствования. Огромные железные гэта этого типа можно видеть чуть дальше, в подношениях у другого маленького храма. В таких, вероятно, ходил легендарный провозвестник горных аскетов Эн-но Гёдзя, живший чуть раньше Гёки.

Напротив статуи Сюнгэна, сидящего с посохом, помещено изваяние гигантского посоха, точнее, верхней его



Синтоистский храмик с огромными однозубыми гэта

части с кольцами-колокольцами. Такие посохи-сякудзё служили неперменным атрибутом монашеского снаряжения. Они символизировали священный жезл, мировое древо, являлись знаком духовного авторитета. Шесть колец в наверху символизировали шесть миров мироздания — от верхнего неба блаженных до области голодных духов грешников. Кроме того, позвякивание этих колец во время ходьбы играло важную двойную роль: оно пробуждало все живое от спячки, а также предупреждало всякую мелкую ползающую живность о необходимости убраться с дороги, чтобы монах нечаянно не раздавил никакой козявки.

Среди божеств, почитаемых на горе Такао, особо важное место занимают *тэнгу* — горные существа, которые, согласно японской мифологии, в изобилии обитают в горных лесах по всей стране. Их изображают в виде полуптиц-полулюдей с клювами, а иногда — с длинными носами. Такой нос свидетельствует о зрелости тэнгу — вероятно, с годами и опытом в него преобразуется птичий клюв. Особенность горы Такао в том, что культу тэнгу там придается большое значение, в других же местностях от-

ношение к ним обычно опасливое, но не очень серьезно-уважительное. Это скорее лешие или демоны, а не боги. Тем не менее, у горных отшельников ямабуси, за которыми уже тысячу лет сохраняется слава кудесников, есть свои особые отношения с этими существами. Несколько их изваяний можно увидеть в разных местах монастырского комплекса — при входе, перед главным храмом или в виде огромной маски. В тот сырой и туманный день, когда я взобрался на гору, у старшего тэнгу под носом висела солидная капля. Кстати, описанные выше гэта с одной высокой вертикальной планкой («зубом») называются «гэта тэнгу».

Перед алтарем, посвященным Сюгё-дайси, чья деревянная статуя в виде странника занимает центральное положение, есть еще одно интересное свидетельство уникальных обрядов, справляемых на горе Такао. Если бутылки саке, пирамиды из цитрусовых и золотая *ваджра* (двусторонний трезубец) — обычные предметы, которые можно увидеть на многих алтарях, то огромный золотой карандаш (совершенно европейского типа) — вещь достаточно редкая. Рядом с ним — и справа и слева — разложено множество тонких узких дощечек-*гома*. На них написаны имена и просьбы — здоровья или иные важные вещи. Для писания на них (или, возможно, чисто символического обозначения писания) и лежит исполинский карандаш. Когда дощечек наберется много, их переносят на специальные щиты, где подвешивают постукивать на ветру. Раз в год, во второе воскресенье марта, дощечки собирают и сжигают — считается, что в дыму и пламени их содержание лучше дойдет до богов. На горе Такао устраивается в течение года множество праздников, но этот наверняка самый популярный. Ведь монахи не просто разжигают огромный костер, они еще ходят по огню, точнее, горячим углям. Обряд называется *хиватару мацури* — праздник перехода через огонь и собирает тысячи паломников, которым тоже предоставляется возможность пройтись босиком по горячей золе (уже не по пылающим углям). Начало этому ритуалу положил еще Сюнгэн Дайтоку в XIV в. Он собрал восемь тысяч таких планок, спалил и плясал



Гигантский посох-сякюдзё



Тэнгу — японский леший

на углях, пока к нему в видении не явился огненный бог Идзуна Дайгонгэн, который и стал потом считаться главным покровителем храма. В наши дни монахи, прежде чем ступить на угли, хлещут себя бамбуковыми прутьями, вымоченными в кипящей воде. Разгорячившись, они смело прыгают в пекло, попарно. Когда пройдут все монахи (многие специально приходят с отдаленных гор), настает очередь всех желающих. Большинству достается уже приятно теплая зола, которая не столько жжет, сколько пачкает босые пятки.

Из других праздников можно отметить Праздник разбрасывания бобов (изгнание чертей в начале весны — 3 февраля); Праздник молодой листвы (по воскресеньям в апреле — мае); наслаждение дикими растениями (суббота в конце мая); слушание сверчков (суббота в середине сентября). Кроме того, по особым дням проводятся медитации под струями водопада Бива. Но до него надо еще дойти, спускаясь с горы.

А в комплексе Якуоин есть множество разных мелких храмов, иногда величиной с ящик — например святилище лисьего божества Инари, покровителя риса. Изображе-

ния лис в красных передничках иногда населяют просто большой камень.

Так незаметно передвигаясь от храма к храму, от изваяния к изваянию (среди них могут быть и огромные декоративные бадейки для sake), можно дойти до вершины. На ней устроена смотровая площадка, с которой в туман видно одно лишь белесое море, впрочем, по-своему вполне впечатляющее.

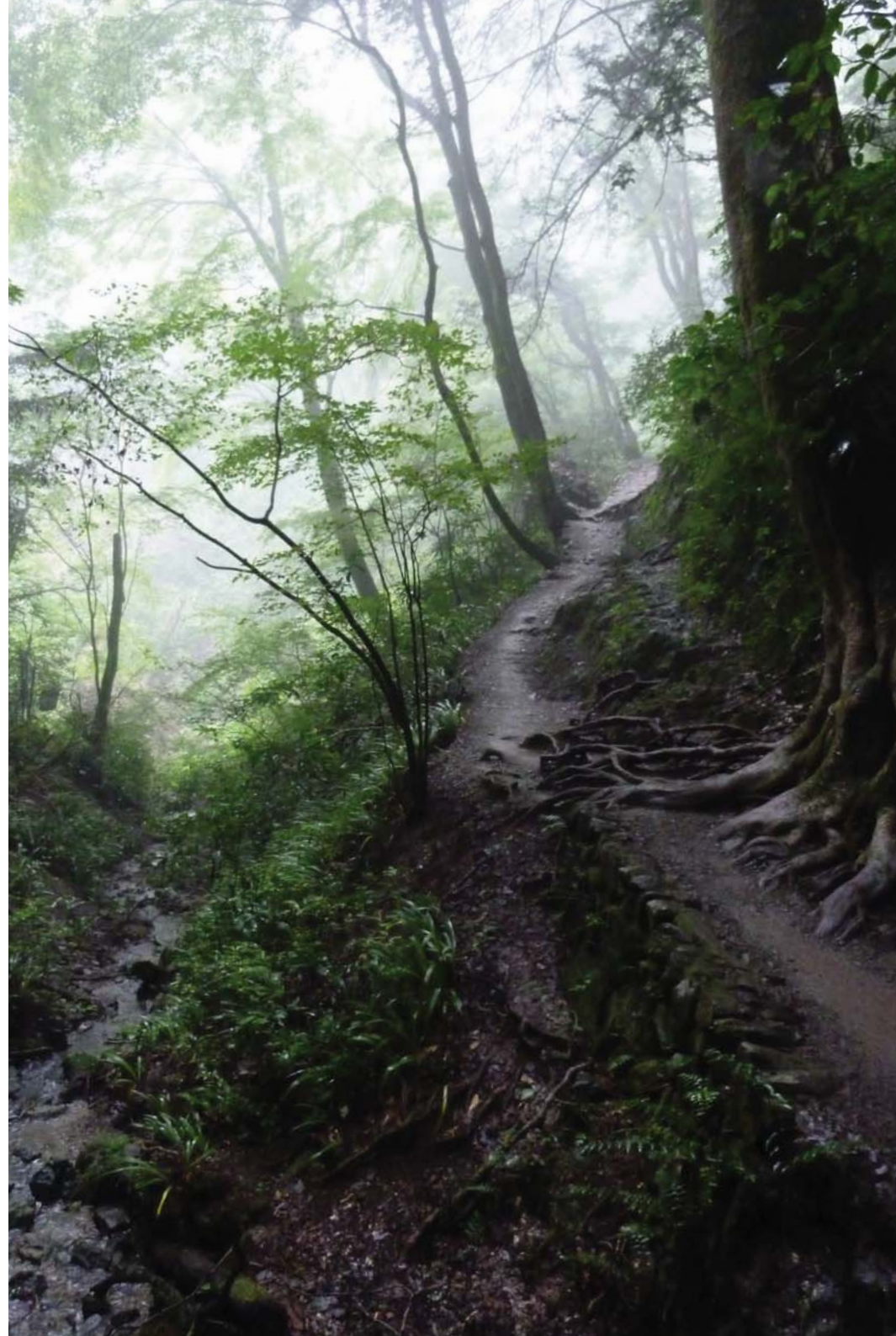
Для спуска лучше всего выбрать тропу № 6. Она, пожалуй, самая живописная. Часто ступать приходится по камням, между которыми течет горный ручеек, или переступать через огромные корни. На всем протяжении спуска в 3,5 км я не встретил ни души. Нередко казалось, что место это абсолютно глухое, в котором ни солнце, ни люди не показывались уже много дней. Нигде ни малейшего мусора. Объявление на вершине горы вежливо просит уносить всю свою упаковку от еды и питья с собой вниз. В одном месте рядом с тропинкой был приколот к шесту сильно поли-

нявший щит с образцами звуков, издаваемых местной живностью: *гуггу-гуггу-гуггу*, *кокко-кокко-кокко*, *како-како-како*, *бюю-бюю-бюю*, *питтю-питтю-питтю*, *рифинрифин*, *хихин-хихин* и *бубубу*. К счастью, никаких подобных устрашающих песен я не слышал. Услышать на узкой тропке на краю пропасти какое-нибудь *гуггу-гу* из тумана — то еще удовольствие.

Незаметно тропа вывела к водопаду. В наши дни нельзя так просто прийти и усесться под его ледяные струи. Тер-



**Ледяные струи водопада.**  
Вход — только по записи (*вверху*)  
Спуск с горы Такао. Тропа №6 (*справа*)





ритория обнесена забором, надо заранее записываться у монахов, проходить инструктаж и специальную подготовку и получать допуск. А без подготовки запросто можно и окачуриться, ведь даже в летнюю жару вода там ледяная. Зато боги любили такой вид подвижничества. Осталась в веках слава о легендарной верности жены по имени Хацухана, которая дала обет просидеть сто ночей под струями водопада для избавления своего мужа от паралича. Он в итоге на девяносто девяную выздоровел, а она на сотую умерла. Событие это запечатлели многие художники, например Цукиока Ёситоси.

Уже почти у самого подножия в каменных склонах вырублены маленькие пещерки. В них в крошечной темноте установлены изваяния. Кто их видит (без фонаря или свечи), кто им поклоняется? Кто и зачем потратил массу усилий по вырубанию этих храмов в теле скалы в малозаметном месте, где редко пройдет паломник? При фотографировании внутренность освещается вспышкой — исчезает таинственная чернота, но много другой таинственности остается.

В самом низу стоит на обочине еще один огромный каменный посох горных отшельников, отграничивая собою пространство священной горы. Еще чуть ниже, уже у большой (легковая машина проедет) дороги устроена группа маленьких семи богов счастья и удачи. Они чрезвычайно популярны по всей Японии. Это жизнерадостные боги дольного мира, с которыми простой человек чувствует себя вполне комфортно и не помышляет о том, чтобы залезть в огонь или в водопад.



Семь маленьких богов счастья и удачи весьма жизнерадостны

## ХАКОНЭ

**К**огда появляется возможность, в каждый приезд в Токио я стараюсь побывать в Хаконэ. В этой горной местности примерно в ста километрах к юго-западу от столицы можно часами бродить по ущельям и перевалам, посещать музеи под открытым небом (или под крышей), отмокать в горячих источниках, пересечь озеро Аси на как бы старинном корабле и пройти по старой дороге Токайдо. Все это можно сделать даже в один день, если взять хороший туристский темп. Многие так и делают, да и я однажды поступил так же, но, разумеется, лучше притормозить и провести в Хаконэ дня два-три минимум. Да и наиболее удобный билет туда — «Хаконэ фури пасу» (Hakone Free Pass), годный для неограниченного пользования всеми местными средствами передвижения и дающий право на множество скидок в музеях и *онсэн*ах, рассчитан на два (5000 йен) или три (5500 йен) дня. Купить его можно на станции Синдзюку и отправиться оттуда поездом до Одавара.

Выйдя в Одавара, можно не спешить пересаживаться в старомодные вагончики местной горной железной дороги, а стоит пойти посмотреть башню старинной крепости — это 10–12 минут от станции. Одавара была когда-то столицей клана Омори, а потом — Ходзэ (они просто однофамильцы со знаменитыми Ходзэ времен камакурского сёгуната, см. о них в главе «Камакура») и, стало быть, приамковым городом. Замок был возведен в первой половине XV в. и не раз был разрушен. Нынешняя башня — в значительной мере недавняя (1960) реконструкция, но весьма впечатляющая. Князя Одавара в эпоху Эдо обеспечивали работу заставы Хаконэ на тракте из Эдо в Киото, но туда мы еще успеем добраться — в рельсовом подъемнике, в кабинке подвесной канатной дороги и по воде.

Еще в Хаконэ можно ехать на «Романтическом поезде» (Romance car). Как-то я ездил на нем под Новый год. В поезде сплошное стекло, включая потолок, и даже впереди

вместо спины машиниста в фуражке видны прямо рельсы, а по бокам — горы. (А машинист сидит в будочке сверху, как старинный кучер на козлах, и неизящным своим затылком пейзажа не нарушает.) Помню, по прибытии на станцию мы быстро добрались до тропы и ушли в горы. Компания была живописная и разношерстная. Моя приятельница, американка Михаль, до приезда в Японию, где жила уже несколько лет, провела какое-то время в Непале, научившись там разным необыкновенным шаманским вещам, о чем и получила соответствующий «диплом». Однажды, поддавшись на мои настойчивые уговоры, она взяла меня в шаманский трип, и, хотя я ни во что не верю, пробрало до самых печенок. Ощущения были настолько сильные, что пришлось долго поливать меня холодной водой, чтобы привести в чувство. Сейчас она живет в Орегоне, в глухом нью-эйджном скиту, и я все хочу туда поехать, чтобы повторить опыт. Еще была маленькая и симпатичная Рэйчел — дочь евреев из Румынии, уехавших в 1950-е гг. в Израиль, а позже перебравшихся в Канаду. Она давно проживает в Японии, замужем за видным специалистом по рэйки и акупунктуре, да и сама пишет на темы нетрадиционной медицины. Еще была молодая японка Момоко (Персик). Она дизайнер и приехала из Парижа. Был еще средних лет голландец Йост — как и полагается, с меня ростом, но пошире. Я изумился, узнав, что ему 65. Несколько лет Йост провел в Африке консультантом ООН, в Латинской Америке (был в Сантьяго в день переворота Пиночета) и на Тайване, где с китайским мастером изучал даосскую медицину.

В старину, чтобы прокладывать тропы в горах Хаконэ, часто приходилось разравнивать землю, прорубать заросли, перекидывать мостики, мостить хляби и выкладывать ступеньки. Вот по этим стародавним маршрутам — большая часть их в состоянии хорошей или средней проходимости — мы и углубились. Тропинка серпантинно круто поднималась ввысь, потом мы шли по висячему мостику, затем проходили по дну темной и влажной лощины, а после — по прозрачному и пахучему сосновому лесу. Солнце сияло и припекало. Я, думая, что в горах будет холодно

(конец декабря), оделся теплее, но снял постепенно все слои до майки, причем было явно не жарко, но действовал какой-то особый горный эффект — солнце, прозрачный воздух и безветрие.

То слева, то справа мелькала Фудзияма — это было зрелище, на которое стоило и хотелось смотреть. Она была довольно далеко — пешком, наверно, дня два-три идти, но временами казалось, что занимала полнеба.

Через несколько часов неторопливого восхождения мы поднялись на плоскую вершину горы Асамаяма (802 м, согласно табличке — не так уж мало, если подниматься практически с уровня моря). Там был восхитительный завтрак на траве и всё вокруг: горы, синь без единого облачка, ясная, как увеличительное стекло; изогнутые сосны со своим умопомрачительным духом; кружок небанальных и неболтливых людей. Хотелось задохнуться от чего-то такого теплого и терпкого в груди, лечь в пышную желтую траву и истаять дымком, смешавшись с *мацукадзэ* (ветром в соснах). Было, конечно, при всем том и чувство зыбкости, странности, эфемерности — какая же Япония и какой же японист без этого! И ощущение того, что это острое благорастворение (человек с иным темпераментом сказал бы, наверно, счастье) ненадолго. Впрочем, картина от того не делалась хуже.

А потом мы спустились с вершины и набрали на *рёкан*, устроенный у горячего источника. В источник мы и погрузились, скинув покровы. И это было достойное увенчание дня: на краю бамбуковой рощи — поляна; на поляне выложенная огромными камнями яма или прудик с горячей водой со средней величины комнату. А вокруг, соответственно, небо, горы... Лист кленовый плавает... Пар поднимается. Сосновые иглы на горячем камне благоухают. И лежишь себе на неглубоком дне и смотришь то ввысь, то вблизи. А поскольку нравы стали нынче вестернизированные и деликатные, источник разделили на две ямки по половому признаку. В общем-то зря. Вот в Баден-Бадене на это смотрят проще. Впрочем, вернемся в Хаконэ.

Общий вид на озеро Аси →



Если из Одавара ехать в глубь горного массива на поезде линии Тодзан, можно выходить на любой станции и гулять по горам с заходом в какой-нибудь специфический музей. Первый по маршруту — Музей рыбной пасты (Камабоко хакубуцукан). Бывает и такое — его устроила компания-производитель «Судзухиро и К°», гордая своим питательным продуктом. Оттуда можно пройти в Музей естественной истории с образцами местной почвы и ископаемыми скелетами. Далее следует Художественный музей Хомма, от коего фанатики музейного дела могут дойти до Музея натуральных стройматериалов. Грешным делом, я ни разу не решился зайти ни в один из них.

Близ крошечной станции Тоносава (Башня на болоте) в конце XIX в. была устроена дача Русской православной духовной миссии в Японии. Епископ Николай, радевший о здоровье своих семинаристов, потратил массу денег на постройку большого дома и вывоз туда воспитанников. Много лет назад я видел архивные групповые фотографии: ученики токийской семинарии, будущие православные священники и катехизаторы в летних полосатых *юката*, стриженные и тощие, с почти неразличимыми на пожелтевших снимках лицами. После Октябрьского переворота, когда прекратилось финансирование из России, дачу пришлось продать; большинство семинаристов разбрелось в переводчики и шпионы. Сейчас самое примечательное место в Тоносаве — это обширный Сад бегоний да горячие источники имени принцессы Сяры. (Впрочем, речь идет не о принцессе, а о редких деревьях из семейства камелиевых. О них подробнее скажу чуть дальше в описании святилища Хаконэдзиндзя.) Кстати, до этого места можно добраться еще на бесплатном шаттле от станции Хаконэ-Юмото.

Через перегон есть станция Мияносита. В начале 1890-х гг. туда ездил на воды молодой флотский офицер Сергей Китаев и покупал там гравюры для своей коллекции, как он писал в одном из писем, называя ее «деревня Мияношта». Интересно, не там ли ему всучивали сделанные специально для иностранцев поздние копии, кото-

рыми гордится ныне Музей имени Пушкина, завладевший после революции коллекцией Китаева? Впрочем, деревушка была совсем маленькая, нравы, наверное, еще не испорченные, и фальшивки сбывали предприимчивые дилеры из Кобэ. Но с другой стороны, Китаев наверняка останавливался в отеле «Фудзия», устроенном на западный манер одним японцем, побывавшим в Европе и Америке. Обслуживал отель исключительно иностранцев. Так что и лавки с гравюрами могли специально для них торговать свежеизготовленными хокусаями и сяраками. Так или иначе, припомнить названия японских деревенок из старых дореволюционных русских писем и фотографий — значит добавить какое-то неожиданное, несколько щемящее измерение, попав в эти края.

Следующая станция — Ковакидани (Долина Малого Кипения, или Маленькая Кипящая Долина). От нее можно дойти или доехать на автобусе (напомню, что все автобусы и поезда там бесплатны для обладателей фри-пасса) всего за пять минут до большого комплекса горячих источников Хаконэ Ковакиэн Юнессун. Под открытым небом там можно нежиться и в каменном прудике, и под водопадом, а также в маленьких, но ароматных бассейнах, наполненных sake, кофе, зеленым чаем и вином (все по отдельности). Дух — головокружительный. Кстати, я думал, что от большого количества испаряемого горячего sake или вина можно запросто опьянеть и утонуть, подышав там полчаса. Помню, служил я действительную в Советской армии. У нас в полку один боец, которого поставили в караул охранять цистерну со спиртом, раздразил люк и сунул было с котелком, но вдохнул паров и упал на дно. Так его там потом и нашли, заспиртованного. Но в sakeйной бочке оказалось вовсе не пьяно — наверное, они туда совсем немного, просто для отдушки, плеснули.

Из онсэнэ Ковакиэн можно поехать дальше на автобусе до городка Хаконэ-мати, что на озере, а можно вернуться на станцию железной дороги — для полноты картины так, пожалуй, будет интересней. Близ следующей станции Тёкокуномори есть большой музей под открытым небом —

Музей скульптуры (Тёкокуномори бидзюцукан). Там на склоне горы выставлены работы современных японских и западных художников. В буклете музея утверждается, что он располагает самым большим в мире собранием работ Генри Мура — их там и впрямь немало. Еще есть приличная коллекция керамики Пикассо и несколько его картин. Не уверен, что Пикассо уместен в горах Хаконэ, но Мур на зеленом склоне смотрится неплохо.

Кстати, о музеях с иностранной тематикой. Несколько парадоксально, на мой взгляд, выглядит то, что в таком японском горном заповеднике есть множество мелких и милых музейчиков, которые являлись бы редкостью и в европейских городах. Так, в городке Сэнгоку с населением менее 10 тыс. человек (далее на запад километрах в 10–12) есть Музей венецианского стекла, Музей Лалика (тоже стекло) и Музей Маленького Звездного Царя (т. е. Музей Маленького принца Сент-Экзюпери). Все они по соседству друг от друга затеряны в глубине японских гор. Есть в этом, право, какая-то трогательность. Попробуем представить себе музей Сэй-Сёнагон в Вышнем Волочке или, скажем, Музей японской керамики типа раку в Кисловодске.

Поезд довозит до городка Гора. Он и впрямь стоит под крутой горой, на которую вагончики могут забраться, только если их тянут вверх по канату. Пол в таких вагонах устроен ступеньками. Стоит тут же пересест в вагончик, и можно ехать в нем пятнадцать минут до конца, а можно выйти через пять и зайти в Художественный музей Хаконэ (Хаконэ бидзюцукан), вполне качественный.

Подъемник привозит пассажиров на вершину Горы Ранних Облаков — Соундзан. Там лучше всего, не теряя времени, пересест в кабинку фуникулера и поплыть, покачиваясь, над зелеными долинами и новыми горами, все выше и выше. Оттуда по правую руку открывается захватывающий вид на гору Фудзи — кажется, что находишься почти на одном уровне с ее снежным конусом. Впрочем, часто ее не видно из-за облаков, но в том-то и прелесть: знать, что она вот тут рядом, справа, и вообразить. Как говорили дзэнские мастера, невежды смотрят глазами, а це-



Фуникулер на горе Соундзан

нители — сердцем. С другой стороны, если так, то зачем куда-то вообще ездить? Ведь как там было про мудреца: «Настоящий мудрец, не выходя на двор, познает мир». Но обычные японцы не мудрецы; в огромных количествах они едут смотреть на горы и любоваться цветами и кленами или восходом солнца над горой Фудзи. Я в данном отношении ближе к обыкновенным японцам, нежели к мудрецам, и если Фудзи не захотела показаться мне из-за туч, так то — по грехам. По крайней мере, я сделал попытку.

Скоро к облакам прибавляется дым и пар, поднимающийся со склонов — кабинка прибывает в высокую Долину Большого Кипения (Овакудани) и останавливается. Сейсмическая активность там не прекращается ни на миг уже многие тысячи лет — иными словами, это небольшой действующий вулкан. Из расселин в горной породе вылезает струйками, клубами и пучками желтоватый дым со специфическим серным запахом. Там до сих пор ведутся какие-то разработки — добыча серы, наверное. Ранее это место называлось Одзигокудани — Долина Большого Ада, но к визиту императора Мэйдзи в 1870-х гг. ее переименовали, сочтя, что места, посещаемые императором,



Долина Большого Кипения — Овакудани

не могут быть адом. Странно, однако: Будда и милосердные бодхисатвы запросто идут в ад вызволять грешников, а императору не пристало. Вспоминаю, что меня впервые привез в этот ад — именно так его и называл на старый лад — отец Янез, профессор-иезуит из университета Св. Софии, где я подвизался в середине 1990-х. С весьма довольным видом он позировал на фоне поднимавшихся из-под земли клубов серы. Если католический ад выглядит похоже, то он не такой уж страшный, скорее унылый.

Так или иначе, туристов в погожий день там очень много. Они ходят по дымящейся земле, фотографируя друг друга на фоне вонючих струек, и закусывают в ресторане с видом на кипящую долину. Кстати, там можно купить яйца, сваренные в бьющем из-под земли кипятке. На вид они довольно пугающие — в черных пятнах и серых разводах от воздействия на скорлупу сернистой воды, но внутри почти белые, разве что небольшой запах чувствуется. Называются они *куро тамаго* (черные яйца) и, согласно поверьям, каждое съеденное прибавляет семь лет жизни. Порцию в пяток яиц (соответственно 35 лет



Спуск к озеру Аси

жизни) можно купить всего за 500 йен. Про долголетие не уверен, но удар холестерина обеспечен. Да, разумеется, в таком месте не могли обойтись без музея. В нем можно узнать о местной вулканической активности и полюбоваться на рыб в аквариуме.

От Овакидани начинается спуск (на второй линии канатной дороги до станции Тогэндай) к озеру Аси. Вид на постепенно открывающееся в обрамлении гор синее озеро совершенно захватывающий. Кажется, что оно очень далеко внизу, но за пятнадцать минут вырастает в огромную водную гладь. Озеро Аси (Аси-но ко) — центр огромного природного заповедника Национальный парк Фудзи-Хаконэ-Идзу и, пожалуй, один из самых чарующих его видов. Оно вытянуто в длину (чуть более 7 км, или 20 км по береговой линии), и по нему часто величаво проплывают многопалубные галеоны (или каравеллы), нечто резное-золоченое в духе диснеевских фильмов про пиратов.

Опять же невольно задумаешься: кораблики ничего себе, яркие и затейливые, и для пиратского антуража на каких-нибудь Карибских островах смотрелись бы очень



Кораблики в пиратском стиле на озере Аси

милу. Собственно, они и здесь не так уж плохо смотрятся, если только отвлечься от мысли, что все происходит в глубине японских гор, под сенью Фудзиямы. Впрочем, когда в пасмурный день ее не видно, *карутя сёкку* (cultural shock) или, говоря по-русски, когнитивный диссонанс получается не такой сильный. Для чего они сделали такие туристические корабли, а не старинные японские джонки? Чтобы туристам было не так чужестранно и чтобы американцы или европейцы растрогались бы, увидев «свои» псевдоиспанские галеоны? Или, быть может, это забота о японских детках — попотчевать их экзотикой из книжек Стивенсона? Но только вряд ли нынешние японские детки читали Стивенсона, разве что про Джека Спарроу. В нем если что и есть японское, так это только жидкая борода — в кино смотрели. И почему бы не «попотчевать» японских детей (и иностранных туристов) собственными старинными кораблями, разве будет менее романтично? Мне кажется, это типично японский случай, когда прекраснодушная *кокусайка* (интернационализация), усиленно продвигаемая властями, оборачи-



Красные ворота тории вырастают прямо из воды

вается потерей вкуса и конгруэнтности. Впрочем, не будем слишком строги — озеро по-прежнему захватывающе красиво, да и корабли не так уж плохи.

По мере приближения к городку Хаконэ-мати на другом конце озера все видней становятся вырастающие прямо из воды красные ворота тории. Их поставили сравнительно недавно, в 1951-м, в ознаменование мирного договора, который Япония подписала с 49 государствами и тем формально завершила Вторую мировую войну. (С Советским Союзом, а теперь и с Россией мирный договор так и не был подписан.)

Святыню Хаконэ-дзиндзя, коему красные тории принадлежали, более тысячи лет, первые упоминания относятся к 757 г. Именно тогда из столичного города Нара в эти отдаленные глухие места пришел буддийский подвижник Манган. Имя его означает Десять Тысяч Томов — именно столько он прочитал буддийских сутр. В горах Хаконэ, после трехлетней аскетической практики, он имел видение, согласно которому от него требовалось основать святилище, где бы в гармонии жили буддийские

божества и японские камни. С конца X в., когда настоятелем стал сын императора, Хаконэ-дзиндзя получил императорский герб — три хризантемы в круге, и императорское покровительство. Два века спустя в святилище нашел приют молодой Минамото-но Ёритомо, который бежал из места ссылки неподалеку, начал войну против своих врагов из рода Тайра, проиграл битву, и если бы не милосердие настоятеля Гёдзицу, давшего ему приют, погиб бы, и история Японии была бы другой.

А что касается тории, то их установили в воде по образцу знаменитых ворот посреди моря близ острова Миядзима неподалеку от Хиросимы. Для путешественников по озеру красные ворота выглядят своего рода маяком, обозначающим, куда пристать, подняться по крутой лестнице на высокий берег, где полностью спрятанный за буйной растительностью — рощей высоких криптомерий — стоит старый храм. К нему можно подобраться и с суши, если идти через городок, держась поближе к берегу, и пройти под двумя огромными тории. Строго говоря, здание храма не такое уж старое — оно стоит с 1936 г., но это верная перестройка в старинном стиле *гонгэн дзукуруи*. В нем обитают три *ками*: внук солнечной богини Аматаэрасу Ниниги-но микото, его жена Коноханасакуя и их сын Хикохоходэми. Их изваяний нет; главная материальная святыня — это бронзовое зеркало, говорят, около 90 см в диаметре. Его не может видеть никто. Оно охраняется двумя статуями собак — одна золотая, другая серебряная. Их тоже трудно увидеть.

За столетия славной истории в Хаконэ-дзиндзя накопилось немало сокровищ — часть их выставлена в прихрамовом музее. Собственно, это *хамоцу-дэн* — Сокровищница. Там можно увидеть статую святого Мангана, которой более тысячи лет, и кинжал братьев Сога, знаменитых отпущением убийце своего отца. История братьев Сукэнари и Токимунэ Сога одна из самых известных в Японии, она послужила сюжетом для повести «Сога-моногатари», нескольких пьес для театров Но и Кабуки, а также бесчисленных гравюр укиё-э. Поскольку события этой истории

происходили в Хаконэ, ее стоит кратко пересказать. Некто Сукэтика Ито, служа роду Тайра, надзирал за молодым Ёритомо, жившим на соседнем полуострове Изу в ссылке. Надзирал он плохо: Ёритомо соблазнил его дочь, о чем Ито узнал, только когда та родила ребенка. Младенца дед немедленно убил, а затем попытался убить и Ёритомо, но тот сумел бежать. После этого Ито захватил земли своего соседа и кузена Сукэцунэ Кудо, уехавшего по делам. Когда Кудо вернулся, он от обиды велел своим людям убить сына Ито, Сукэясу Кавадзу. Дело было в 1176-м, и у Сукэясу остались два сына, четырех и двух лет от роду. Они-то и отомстили престарелому Сукэцунэ восемнадцать лет спустя, затесавшись во время большой охоты у подножия горы Фудзи в лагерь обидчика и зарезав его ночью. Оба при этом погибли сами. Настоятель Хаконэ-дзиндзя Гёдзицу (тот, который ранее укрывал Ёритомо) с честью похоронил их; сейчас на территории есть маленький храм для умиротворения духа братьев Сога.

За главным храмом есть роща деревьев *химэсяра*. Это огромные деревья до 2 м в обхвате и до 25 м высотой. Они считаются священными, ибо в Индии под такими деревьями (санскр. *сала*) ушел в нирвану Будда. Эта роща — единственная в Японии, состоящая исключительно из *химэсяры*. На краю ее, том, что выше по склону, есть могила основателя храма Мангана.

Спуститься к воде к тем тории, с которых мы начали, не менее впечатляюще, нежели подниматься от них с озера. По старой лестнице с выщербленными ступенями из неровных камней (говорят, еще Манган их самолично вытесал и уложил) идешь как по полутемному туннелю, образованному высокими деревьями. И неожиданно показывается красная рама тории, а в ней — блистающая гладь воды. В ночь на 31 июля на озере перед тории разыгрывается красочный праздник кормления дракона. Он восходит к тому времени, когда Манган исправил нрав кровавого чудовища, который с незапамятных времен жил в озере и питался юными девушками, коих ему должны были поставлять раз в год. Манган убедил девятиглавого



дракона сменить диету, и с тех пор раз в год его кормят особым красным рисом, сваренным храмовыми жрецами. В надлежашую ночь, при свете факелов, настоятель (один, без сопровождающих) выезжает на лодке в озеро и перед воротами, призвав дракона, вываливает в воду кадучки с рисом общим объемом три *то*, три *сё* и три *го* (1 *то* = 18 л, 1 *сё* = 1,8 л, 1 *го* = 0,18 л). Всего получается 59,94 л. Точная мера очень важна: если дракона перекормить, и отвесить, простоты ради, 60 л, то его изволит пучить, и на озере поднимается буря. Храм Кудзурю-дзиндзя (девятиглавого дракона) стоит рядом с главным.

И еще один праздник был связан с Хаконэ-дзиндзя: новогодний забег (2–3 января) студентов от храма Ясукуни в Токио до Хаконэ. Команда состояла из пяти человек, каждый бежал по эстафете чуть больше 20 км. Всю дистанцию пробежали за 11 с небольшим часов. На следующий день другие группы из пяти студентов бежали обратно. Бегают и сейчас, только вместо храма Ясукуни — от редакции газеты «Ёмиури».

### Застава Хаконэ

Рядом с пристанью в Хаконэ-мати расположена старая дорожная застава Хаконэ Сэкисё. Такие заставы в эпоху Эдо были устроены военным правительством сёгунов Токугава вдоль тракта Токайдо, соединявшего Киото с Эдо. Заставы служили для контроля за перемещением населения — путешествовать полагалось с пропуском, не иметь запрещенных грузов (а за некоторые разрешенные надо было платить пошлину). Застав было 53, и рядом с ними были станции — постоянные дворы, многожды воспетые в сериях гравюр художниками — Хокусаем, Хиросигэ, Кунисадой и другими. Застава Хаконэ считалась самой важной, самой строгой и самой большой. Ведь еще во время междоусобных войн XVI в. князья говорили: «Кто владеет Хаконэ, владеет Японией». Помещалась эта застава в таком месте, которое было сложно миновать из-за непроходимости гор и отсутствия обходных путей. Впрочем,

за попытку пробраться мимо заставы через горы карали смертью — отсечением головы и распятием. В самом конце эпохи Эдо контроль ослаб, заставы были закрыты и с течением времени разобраны. На месте заставы Хаконэ долгое время был пустырь. В 1983 г. в архивах префектуры Сидзуока случайно нашли детальный отчет о закрытии этой заставы в 1865-м, с планами и обмерами всех помещений. После долгого изучения и обсуждения в 1999 г. местные власти решили провести археологические раскопки и на основе находок и описей 1865 г. воссоздать заставу. Первая очередь была открыта в 2004 г., а в окончательном виде всё построили весной 2007 г. Таким образом, этот впечатляющий памятник — тоже новодел, как и многое другое в Японии, но возводили здания не только по всем старым спецификациям, но и с использованием исключительно классических материалов, традиционных плотницких инструментов и старой технологии. Результат весьма впечатляющ.

Застава Хаконэ существовала два с половиной века, с 1619 г. Стратегическое расположение — в узком проходе в горах — делало ее главным местом проверки путешественников. У тех, кто двигался по направлению к Эдо, искали главным образом оружие (ввоз его в столицу сёгуны строжайше запретили). А из покинувших Эдо особенно строго проверяли женщин — ввиду крайней нехватки женщин в городе, им было запрещено покидать его без специального разрешения. Кроме того, даже тем, у кого был пропуск, не позволялось вывозить ценности сверх небольшого минимума. Для тщательного обыска одежды, волос и укромных местечек на теле на заставе служили женщины-пограничницы, отличавшиеся особой дотошностью. В общем, граница была на замке, и в итоге ни к чему хорошему для властей это не привело. Впрочем, заставы на дорогах придумали не в эпоху Токугава, а намного раньше — еще в древности. Вокруг них всегда бурлили страсти — преступники, контрабандисты, несчаст-

Общий вид заставы Хаконэ →





Ворота заставы Хаконэ

ные беглые любовники... Нередко заставы становились местом действия эмоционально нагруженных драм для театров Но или Кабуки. Например, вспомним *«Атака-но сэки»* (*«Застава Атака»*) из репертуара Но или основанную на ней *«Кандзинтё»* (*«Список пожертвований»*, 1702) для Кабуки. Расскажем о ней на примере иллюстрации Хокусая из Манга.

Ёсицунэ, молодой князь из рода Минамото, разбивший армию рода Тайра в битве при Данноура в 1185 г., вызвал зависть своего жестокого брата Ёритомо. Ёсицунэ вынужден спасаться бегством вместе со своим вассалом, силачом Бэнкэем, и небольшой группой других сторонников. Но все дороги перекрыты заставами. Путники переодеваются в горных монахов ямабуси и подходят к заставе Атака, что у реки Какэхаси в нынешней провинции Исикава. Начальнику заставы Тогаси Саэмону группа кажется подозрительной. Бэнкэй как главный монах ямабуси говорит, что они бродят для сбора пожертвований на ремонт великого храма Тодайдзи в Нара. Тогаси просит его прочесть имена тех, кто дал денег, по списку жертвователей



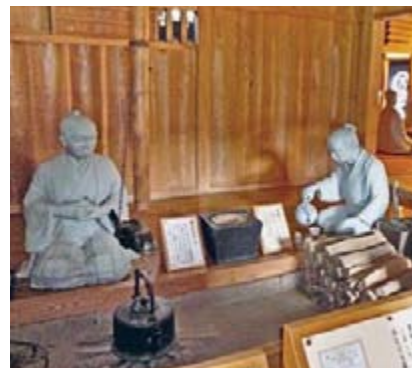
Хокусай. Проход беглецов через заставу

(*кандзинтё*). Такого списка у Бэнкэя, разумеется, нет, но он спокойно достает чистый свиток и, развернув его, без запинки начинает длинную череду имен и званий. Проницательный пограничник замечает (он сидит на террасе у Хокусая), что подозрительный монах читает по пустому листу, но будучи благородным воином, не может не восхититься самообладанием и верностью Бэнкэя. Он задает ему ряд вопросов о монашеской жизни, на что Бэнкэй, который и впрямь раньше был монахом, обстоятельно отвечает. В это время Ёсицунэ в драной одежке носильщика смиренно и недвижно сидит в сторонке (справа у Хокусая). Наконец, Тогаси разрешает отряду пройти и даже дает им денег «на восстановление храма», но один из его солдат вдруг замечает, что носильщик очень похож на беглеца Ёсицунэ. Отшутиться не удастся, и тогда Бэнкэй изображает ярость по поводу того, что из-за ничтожного носильщика у него возникли неприятности, и начинает колотить его. Тогаси поражен такой находчивостью и преданностью — поднять руку на своего господина, чтобы спасти его! — и велит своим солдатам пропустить пут-

ников. Отойдя на безопасное расстояние, Бэнкэй падает ниц и просит простить его за неслыханное поведение. Ёсицунэ мягко благодарит его за спасение, и силач и забияка Бэнкэй впервые в жизни начинает плакать.

Пьеса «Список пожертвований» является одной из самых популярных в списке восемнадцати главных пьес театра Кабуки. Все роли в ней необычайно сложные. Актеру, играющему Бэнкэя, надо показать воина, изображающего монаха, и, не моргнув глазом, читать по пустому свитку; актер, представляющий Тогаси, должен изображать суровость, но вместе с тем показать зрительному залу, что он догадался, что свиток пуст, а перед ним — как раз те, кого они должны схватить; актер же, изображающий Ёсицунэ, должен показать благородного князя в обличье слуги и сидеть не двигаясь и не произнося слов большую часть действия. Возможно, все это психологическое напряжение не вполне прочитывается у Хокусая, но некое смутное затишье, чреватое взрывом, он, пожалуй, все-таки передал.

Путешественники, приблизившиеся к заставе Хаконэ, должны были ожидать во дворах-«наполнителях» — один был со стороны Киото, другой — со стороны Эдо. Оттуда они по очереди пропускались в ворота. В главном здании, в западной стороне двора, путников допрашивали и досматривали. В приемной для устрашения были выставлены многочисленные ружья и луки. Их можно увидеть в воспроизведенном интерьере (настоящие). В прочих комнатах при воссоздании заставы посадили манекены — чиновников с важными бумагами, рядовых солдат, есть и женщина, у которой ищет что-то запретное в прическе надзирательница... Интересно, что все манекены покрашены нейтральной (и довольно противной) серой краской. Оказывается, при детальном описании помещений заставы в документе 1865 г. расцветка костюмов не была отмечена — и исторической точности ради решили не гадать вообще. Не думаю, что это было правильное решение — серые изваяния в реальном интерьере выглядят неорганично и пугающе. Во многих музеях мира при воссоздании исторических интерьеров помещают манекены, одетые в одежду соответ-



Воссозданные интерьеры и экспонаты музея «Застава Хаконэ»  
Наблюдательная вышка (вверху справа)

ствующего времени, а неточность или вариация в цвете или фасоне — неизбежное допущение. Мне кажется, что немного ошибиться в цвете кимоно было бы меньшим злом, нежели запускать на соседнее озеро опереточные корабли пиратов Карибского моря. К тому же известно, что пограничниками служили члены клана Одавара, — они приезжали на месяц и жили на заставе «по вахтенному методу». А это значит, что одеть фигуры можно было бы в цвета воинов клана. Наверно, и сами японские музейщики, которые делали экспозицию, задумывались над этим, но почему они в данном случае решили быть такими историческими пуристами, я не знаю.

На задах за кордегардией выстроен симпатичный ретирад для пограничников. Как обходились путешественники — неведомо. В сохранившихся чертежах он, видимо, не отмечен, ибо не построен. На ближней горке была устроена вышка для наблюдения за озером. Все лодки также должны были получать разрешение, чтобы выйти из гавани.

В 50 м от заставы устроен небольшой, но качественный Музей заставы — где, в отличие от архитектурного новодела, все подлинное. (Кроме двух манекенов при входе — их почему-то все-таки покрасили в человеческие тона и одели в натуральные одежды.) Среди экспонатов музея — оружие, монашеские посохи, костюмы, старые документы (например, иллюстрации отрубленных голов нарушителей границы или подорожные). Особую витрину занимают золотые и серебряные монеты — овалы большие *кобаны* и огромные *обаны*. За одну такую монету можно было купить годовой паек риса — около 180 кг.

За музеем, точнее за автостоянкой и проезжей дорогой, остался километровый участок непроезжей дороги — старого тракта Токайдо. По дороге этой ходили пешком, перемещались в паланкинах или ездили верхом; колесный транспорт, как правило, не использовали. Для удобства путешественников — спасения от летней жары

Аллея исполинских кедров →





У тракта Токайдо стоит замшелый камень с надписью  
«Старая дорога вдоль Восточного моря. Аллея кедров» (слева)

Барсук тануки приглашает в харчевню (справа)

и зимних ветров — дорога была обсажена огромными японскими кедром (дерево *суги*, называемое еще криптомерией). В начале этого отрезка Токайдо стоит замшелый камень с надписью: «Старая дорога вдоль Восточного моря [Токайдо]. Аллея кедров». По краям — эти исполинские кедромы. Проходя под их сенью, можно попытаться представить себя путешественником с картинок Хиросигэ или Хокусая — впечатлительным мужичком, обнимающим гигантский ствол, или молоденькой красавицей, сумевшей пройти через заставу по подложной подорожной, или осиротевшим в младенчестве сыном, бродящим по стране в поисках убийц своего отца... В былое время путь по Токайдо занимал месяц, а то и два. Сейчас между Токио и Киото — несколько часов на поезде или автобусе. Но разве стала жизнь во много раз лучше?!

Замечтавшись, можно пройти мимо двух очередных музеев, коими кончается аллея кедромов, войти в городок через большие тории и выпить в харчевне у тануки.

## КАМАКУРА

**Д**о Камакуры из Токио ехать примерно час, и за этот час поезд уносит от небоскребов Синдзюку к тихим малолюдным улочкам с одно- или двухэтажными домиками средневековой столицы Японии Камакуры. Строго говоря, официально она не была объявлена столицей — в Киото был по-прежнему императорский двор, и номинально верховная власть находилась там. Но императорскому священноначалию мало кто из провинциальных самураев на деле подчинялся: их держала твердой рукой ставка военного правителя Японии, которая заседала как раз в Камакуре. Временный и походный характер власти военных подчеркивался названием их правительства — *бакуфу*, что означает «военная палатка». Из «палатки» самурайские князья правили страной без малого семьсот лет, и этот режим установил в конце XII в. Минамото-но Ёритомо в своих вотчинных землях — в Камакуре.

Как маленькая деревушка Камакура существовала с дописьменных времен. Известно, что первый буддийский храм, стоящий и поныне, был там основан в середине VIII в. Но резкий взлет случился в конце XII–XIII вв., когда численность населения подскочила до 200 тысяч, превзойдя даже столичный город Киото. Вообще, по подсчетам исторических демографов, в то время Камакура была четвертым по численности городом на земном шаре. Но судьбы городов переменчивы, как и людские: в конце XIX в. там снова было сонное царство с семью тысячами жителей и рисовыми полями по краям от главного проспекта. Да и сейчас там живет всего лишь чуть больше половины от населения того времени, когда целый период в истории Японии назывался эпохой Камакура.

Несколько слов для исторического контекста. В XII в., после нескольких сотен лет процветания, императорская власть в Киото ослабела. Бразды правления захватил могущественный род Тайра, глава которого Киёмори сделался фактически диктатором Японии, державшим в строгости



Улица Камакуры

самых императоров. (См. о нем еще в главе «Киото, Гидзи».) С противниками он безжалостно расправлялся, в частности убил оспорившего его власть Минамото-но Ёситомо, главу другого могущественного клана. Через несколько лет выросшие сыновья последнего собрали войско и разбили клан Тайра (1185). Минамото-но Ёритомо стал самым влиятельным военачальником страны (в 1192 г. император дал ему звание сёгуна) и правил из своего дворца в районе Окура (в современном 3-м квартале района Юки-но Сита) в Камакура. Вскоре после его смерти фактическая власть перешла к родственникам жены из рода Ходзё, но так или иначе Камакура в течение полутора веков была местом, где принимали государственные решения. В 1336 г. после трехлетних войн сёгуном стал глава рода Асикага, который перенес свою ставку в Киото.

Камакура была идеальной природной цитаделью — с трех сторон ее защищали непроходимые горы, а с юга было море. С таким расположением связывают название города. Согласно народной этимологии, поскольку селение напоминало печку (*камадо*) и кладовую (*кура*), в которых вход был только с одной стороны, а три остальных были глухие, вот его и прозвали печкой-кладовкой. (Один слог потом выпал, и получилось Камакура.) Впервые это

название зафиксировано в «Записках о делах древности» («Кодзики»), т. е. оно существовало до 712 г.

В древности в горах были пробиты Семь проходов, которыми отчасти пользуются и поныне. Сейчас город начинается сразу к югу за Йокогамой, хотя северная его часть (вокруг станции Кита-Камакура) была в средневековые времена предместьем с внешней стороны от Семи проходов. Многие сейчас, приезжая из Токио, выходят в Кита-Камакура и начинают осмотр города с этого района. Там есть что посмотреть, например, три из пяти главных дзэнских монастыря города (Кэнтёдзи, Энгакудзи и Дзётидзи) или Обитель Разводов (Энкири-дэра). На этом можно и остановиться, ведь только в моем любимом Энгакудзи можно провести целый день. Но, пожалуй, если поставить себе цель получить более полное и последовательное представление о Камакуре, то начать лучше с центрального для старого (да и нынешнего) города места — Цуругаока Хатиман-гу, святилища бога Хатимана на Журавлином холме.

### Цуругаока Хатиман-гу

Это самый большой и главный синтоистский храм Камакуры. В начальный период истории города к нему сходились три главные дороги (ныне не сохранившиеся). Прямой широкий проспект Вакамия-одзи длиной чуть больше 1,5 км ведет к нему с моря, от залива Сагами. Ее проложили в самом начале эпохи Камакура по приказу Ёритомо, который решил воспроизвести главную магистраль Киото Судзаку-одзи. Вакамия означает «Молодой принц» — в честь новорожденного сына Ёритомо Ёриизэ (убитого потом в возрасте 22 лет). На подходе к храму устроены три тории. Два ближних к храму были последний раз перестроены в 1924-м из бетона; их регулярно подкрашивают в ярко-красный цвет. Первые же стоят с XVII в. и являются национальным сокровищем. Как самые ближние к заливу, они считались самыми важными, маркируя связь между городом и морем. Изначально эту

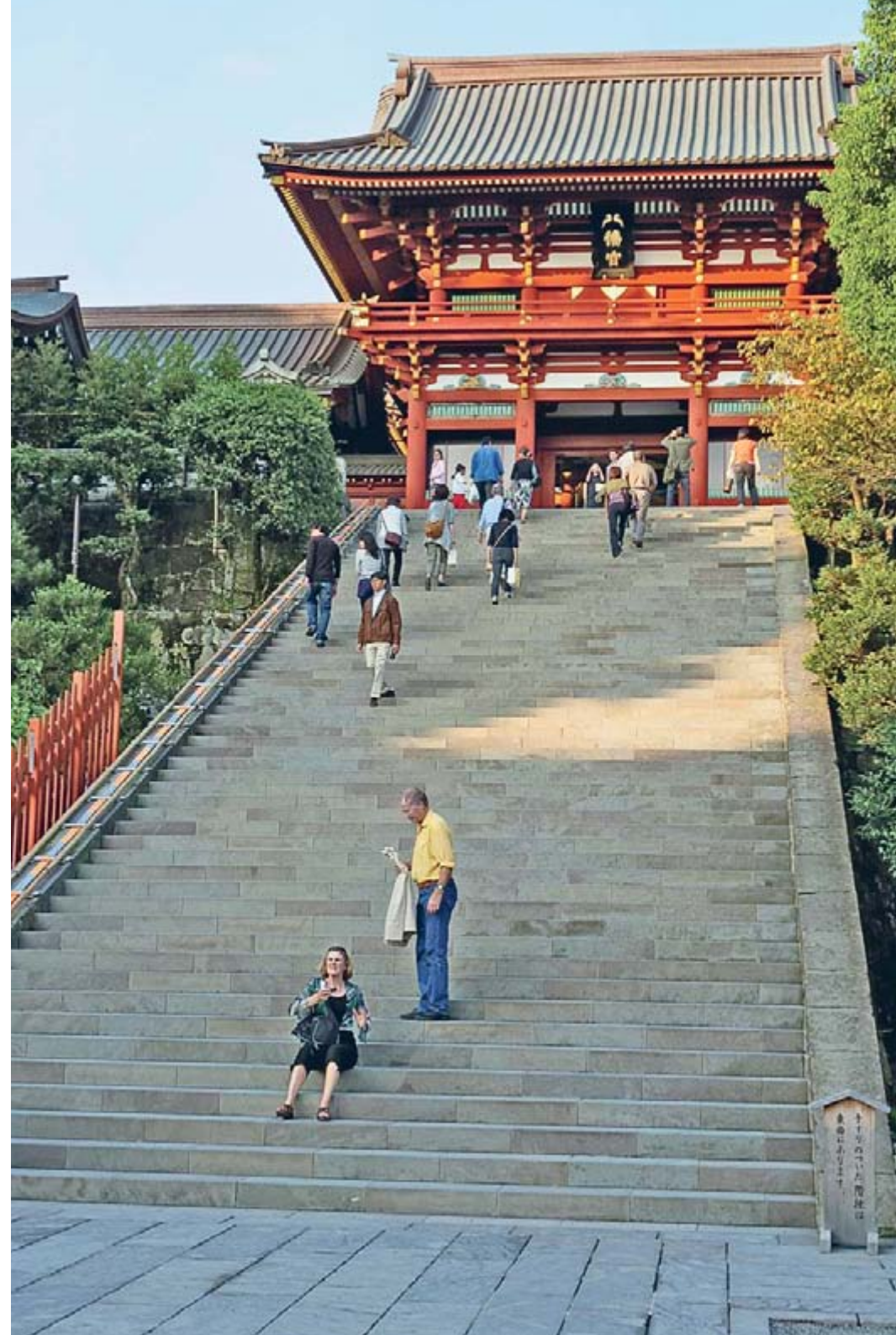
дорогу использовали только в ритуальных целях — по ней сёгун отправлялся на паломничество в храмы Исэ или Хаконэ. Также по ней шествовали важные визитеры. На восточной стороне Вакамия-одзи в XIII–XIV вв. располагались дворцы правительства — Вакамия бакуфу.

Между первыми и вторыми воротами расположена площадка Гэба Ёцукадо — место, где всадникам полагалось спешиваться, привязывать коней и идти дальше пешком, из уважения к богу Хатиману. Хатиман — обожествленный древний император Одзин, живший, согласно официальной мифографии, в III–IV вв. За воинственность он стал считаться богом войны и покровителем воинов. К тому же он был родовым божеством клана Минамото, которые вели свое происхождение от боковой императорской ветви — потомков императора IX в. Сэйва. Вскоре после вторых тории начинается возвышенная эспланада, обсаженная сакурой — *данкадзура*. Она сложена из больших камней в 1182 г., которые Ёритомо приказал таскать своим ближайшим родственникам и прочему окружению, чтобы тем самым помочь удачному разрешению от бремени его супруги Масако. В начале апреля данкадзура превращается в туннель, образованный буйно цветущей по ее краям сакурой.

За третьими воротами есть три маленьких мостика. По их сторонам по повелению жены Ёритомо Масако устроены два пруда, называемые Гэмпэй (сокращенное наименование враждовавших родов Минамото и Тайра). Тот, что справа — больше, в нем цветут белые лотосы (родовой цвет Минамото). На нем три маленьких островка (слово *сан*, т. е. «три» может также означать рождение/создание). Левый пруд — поменьше; лотосы в нем красного кровавого цвета; островка — четыре (слово *си*, т. е. «четыре» означает также смерть). Какой пруд какой род символизирует — догадаться нетрудно.

В проеме третьих тории вырастает широкая лестница в 61 ступень, наверху виден сам храм. Слева от лестницы

**Лестница в 61 ступень, наверху ее виден Цуругаока Хатиман-гу →**





до марта 2010 г. стояло тысячу лет огромное дерево гингко, за которым прятался убийца третьего сёгуна, сына Ёритомо, — оно было сломано ураганом. Сейчас от него остался тщательно лелеемый пенёк, недавно пустивший клейкие листочки. Убийцей был, кстати, внук Ёритомо, 19-летний настоятель Хатиман-гу.

На ровной, усыпанной гравием площадке перед лестницей устраивают многочисленные празднества. Например, там есть трехсотметровая дорожка, где дважды в год, весной (третье воскресенье апреля) и осенью (16 сентября), бывают конные ристалища *ябусамэ* с одетыми в полное самурайское облачение всадниками, которые стреляют по мишеням на полном скаку. Начало этим соревнованиям положил сам Ёритомо в 1187-м. Чуть дальше — сцена для ритуальных танцев и свадеб. Ее возвели в память о танце дамы Сидзуки, несчастной возлюбленной его несчастного брата Ёсицунэ. Жестокий Ёритомо хотел убить его за то, что тот был слишком удачлив в бою и популярен в народе. Захваченной в плен беременной Сидзуке приказали плясать перед Ёритомо. Она подчинилась, но попутно исполнила песню, прославлявшую ее возлюбленного Ёсицунэ. (Заметим, что в барабан во время танца бил верный вассал Ёритомо Сукэцунэ Кудо, которого через несколько лет убьют братья Сога.) Песнь Сидзуки так взбесила гневливого Ёритомо, что он поклялся убить ее новорожденного ребенка, если таковой окажется мальчиком. Сидзука молилась о рождении девочки, но безуспешно. Родился мальчик, которого немедленно зарезали и выбросили на морской берег. (Другого ребенка Ёсицунэ и Сидзуки зарезал спустя несколько лет сам отец, когда пришло время умирать. Об этом трогательно рассказано в «Повести о Ёсицунэ», которую замечательно перевел на русский Аркадий Стругацкий.) А на той площадке нынче устраивают пляски памяти Сидзуки — каждое второе воскресенье апреля.

С левой стороны площадки стоит огромный стенд — настоящая стена — с оплетенными соломой бочками саке. Это самое популярное подношение богу.



Стенд с оплетенными соломой бочками саке — самое популярное подношение богу

В уголке скромно примостились несколько автоматов по продаже божественных предсказаний *омикудзи*. В старое время каждый тряс сам себе судьбу вручную: заплатив денежку, надо было взять в руки и потрясти деревянный ящичек с маленьким круглым отверстием. Из отверстия показывалась бамбуковая палочка с написанным на ней номером. Служка выдавал соответствующую номеру сложенную бумажку, на которой туманными словами было написано грядущее. Сейчас для этой цели поставили автоматы, которые значительно ускорили процесс и уменьшили очереди. На вид они мало чем отличаются от автоматов по продаже пива, только предсказание судьбы стоит дороже (500 йен). (Впрочем, отличие есть: судьбопродавцы не требуют приложить к считывающему устройству удостоверение личности



Автоматы по продаже божественных предсказаний омикудзи

с записанным на нем возрастом, а новейшие пивные машины требуют подтверждения совершеннолетия.) А прочитанные предсказания можно привязывать на специальные щиты по соседству — со стороны они напоминают лохматые абстрактные ковры с богатой фактурой.

Рядом с автоматами, перед монументальным, отделанным бамбуком туалетом, стоит восхитительно замшелый каменный фонарь. Судя по дизайну и цвету камня, он был сделан недавно. Мох на его двускатной крыше густой и сочный — он не вырос сам в течение столетий, а был пересажен искусными садовниками. В разглядывании этого фонаря не меньше очарования, чем в стоянии, задрав голову, перед самым гигантским храмом. Что, собственно, можно сказать о Хатиман-гу? Он большой, красный, помпезный (я говорю о главном здании — *хонгу*), на верху лестницы; стоит с 1828 г. Пожалуй, самое сильное впечатление храм производит, если смотреть на него ночью и с некоторого расстояния. На нынешнее место его перенесли по приказу все того же Ёритомо, а основан он был в районе Дзаймокудза, близко от берега залива, прапрадедом Ёритомо — Минамото-но Ёриёси — в 1063-м. Место было тщательно выбрано учеными геомантами. На севере за ним стоит гора, на востоке — река, на западе — большая дорога, а на юг открывается вид на морской залив. Территория святилища огромна, хотя в Средние века была значительно больше. На ней сейчас располагаются два музея — Музей национальных сокровищ и Музей современного искусства, а также детский сад.

Неподалеку от Цуругаока Хатиман-гу на холме, где стоял храм Хоккэдо, был похоронен Ёритомо. Когда-то это место было его частной усадьбой и первой военной ставкой. Всесильный диктатор умер в 1199 г. 52 лет от роду, упав с лошади. Фантастическая судьба: мальчиком потерял отца (а матери пришлось стать наложницей его убийцы); был вынужден скрываться от преследователей в дупле дерева; был сослан в отдаленные края; в двадцать с чем-то умудрился убедить самураев сплотиться вокруг него и пойти войной на Тайра; обиделся на младшего бра-

та Ёсицунэ за военные подвиги (решающую победу над Тайра) и много лет пытался убить его, пока не преуспел; по ходу дела взял в плен возлюбленную Ёсицунэ по имени Сидзука и заставил плясать перед собой на площадке храма Хатиман-гу. Наконец, получил от запуганного императора высший воинский титул — вроде генералиссимуса, и вот — в расцвете сил, на вершине славы упал с лошади, сломал шею...

Злосчастье преследовало и его детей: ему наследовал семнадцатилетний Ёриэ, но реальной властью завладели его мать Масако и ее отец (т. е. его дед) Токимаса. Они были из рода Ходзё, боковой ветви Тайра, и, хотя Ёритомо своей женитьбой на Масако породнил их с Минамото, род этот они ненавидели. Ёриэ, второй сёгун, был убит в возрасте 22 лет. Его собственный первенец был уже тоже убит к тому времени в возрасте шести лет, второй сын, Кугё, отдан во младенчестве в монастырь и пострижен в монахи. В итоге третьим сёгуном стал второй сын Ёритомо — Санэтомо, хоть и старался он избегать всякой политики, занимаясь преимущественно сочинением стихов (неплохих) и каллиграфией, убили и его. Это произошло в 1219 г. у большого дерева гинкго перед тем же храмом Хатиман-гу. Убийцей был его племянник, сын Ёриэ монах Кугё. Через несколько часов близкие родственники со стороны Ходзё торжественно отрубили голову и ему — как бы в наказание за убийство сёгуна, а фактически убив последнего потомка рода Минамото-но Ёритомо.

Править в качестве бессменных регентов стали сами Ходзё. В народе говорили, что род Тайра проиграл битву, но выиграл войну (в лице боковой их ветви Ходзё). А от Ёритомо не осталось толком даже могилы — лишь на вершине холма стоит маленький памятник в виде пагоды. А под холмом, примерно на месте бывшего Хоккэдо (разобранного в 1872 г.), стоит маленький синтоистский храм Сирохата, где, считается, обитает дух Ёритомо, ставшего ками. Белое знамя (*сирохата*) — это боевое знамя рода Минамото. Это простейший тип синтоистского храма с двускатной крышей, одна из сторон которой переходит



**Маленький синтоистский храм Сирохата, где обитает дух Ёритомо**

в длинный низкий навес. Навес этот обычно устраивался над небольшой лестницей, которая вела внутрь. Рядом с храмом стоит памятная стела — в честь пятисот воинов клана Миура, которые совершили на этом месте харакири после неудачного для них столкновения с войсками Ходзё в 1247 г.

### **Дзюфукудзи**

От Цуругаока Хатиман-гу можно отправиться в расположенный неподалеку в западной стороне монастырь Дзюфукудзи. Это третий по рангу монастырь из дзэнских Пяти Гор (*Годзан*) в Камакуре, с коих и пошло победное шествие дзэн-буддизма по Японии. Начать с третьего, а не с первого и более знаменитого Кэнтёдзи имеет смысл, потому что он, во-первых, рядом, а во-вторых, непосредственно связан с сёгунами Минамото. А самое главное — хотя и ныне ранг у него третий, по времени он был самым первым дзэнским монастырем, основанным в Японии.



**Ворота монастыря Дзюфукудзи**

Дзюфукудзи был заложен в 1200 г. на горе Черепаховой долины (Кикокудзан) и полностью называется Дзэнский храм Алмазной ваджры, долголетия и счастья (Конго Дзюфуку дзэндзи). Он был основан через год после гибели Ёритомо его вдовой Ходзё Масако, которая пригласила первого и главного проповедника школы дзэн Риндзай монаха Эйсай. Незадолго до того он вернулся из Китая, где стал наследником дхармы китайских чаньских мастеров. Эйсай также привез из Китая несколько чайных кустов и обычай пить зеленый чай — как подспорье для медитации, вещь полезную для общего здоровья, а также для процветания всей страны. О пользе чаепития он написал ученый трактат «Кисса ёдзёки» («Записки о питье чая и сохранении жизни»). Масако, а также ее сын Санэтомо, когда он был третьим сёгуном, часто посещали Дзюфукудзи, пытаясь с помощью новомодной тогда медитации (и чашечки чая) найти покой в жизни. Говорят, что Санэтомо полюбил чай, когда однажды наутро после попойки Эйсай вылечил его от похмелья крепким и терпким напитком. Монастырь невелик ныне, и значительная часть его поме-



**Могила Санэтомо и его матери Масако. На самом деле это кенотаф**

щений закрыта для праздных визитеров, но побродить по узким дорожкам с видами на старые храмовые постройки через открытые ворота — сплошное удовольствие. Кстати, наряду с главной храмовой святыней — статуей Будды Шакьямуни, здесь хранятся и два огромных деревянных изваяния божественных охранителей Нио, перенесенных в 1872 г. из Цуругаока Хатиман-гу в результате правительственного приказа о разделении синтоизма и буддизма.

Самая примечательная

часть Дзюфукудзи, открытая для посетителей, — это, безусловно, кладбище, расположившееся под крутой скалой, а отчасти вырубленное непосредственно в горном склоне. Поднявшись к кладбищу, можно увидеть далеко внизу, сквозь заросли бамбука, красные монастырские крыши.

На этом кладбище находится самое большое в Камакуре средоточие скальных гробниц *ягура*, относящихся как раз к эпохе Камакура. Среди них — могила Санэтомо и матери его Масако. Вряд ли они нашли покой при жизни, но после смерти, на территории дзэнского монастыря — кто знает... Впрочем, пещера с памятником Санэтомо — это кенотаф. Где лежат его невинно убиенные кости и лежат ли где-либо вообще — неизвестно. (Их пепел поместили в храм Тёсёдзюин, а он был впоследствии разрушен.)

Вообще же скальные гробницы весьма живописны — низкие, темные, с грубо обтесанными и замшелыми входами. Некоторые полускрыты ползучими растениями, другие сильно закопчены: кто-то продолжает жечь свечки и благовония семь столетий спустя.



**Скальные гробницы монастыря Дзюфукудзи весьма живописны**

Из интересных людей недавнего прошлого там похоронена маркиза Исо Муцу, урожденная Гертруда Этель Пассингэм (1867–1930), англичанка и жена японского дипломата в Лондоне. Она написала замечательную книжку о старой Камакуре в 1918 г. Еще там покоится известный писатель Осараги Дзёро, создавший, в частности, роман «Эрико» о любви японца и русской женщины. Кроме того, есть могила крупного поэта хайку Такахама Кёси. Я часто вспоминаю его пронзительный новогодний стих:

*Кодзо котоси  
цурануки ббно  
готоки моно*

*Старый год, новый год,  
словно кто на палку их  
нанизывает.*

Тут есть и отголоски архаических представлений о древесном стволе, что соединяет завершающийся год с нарождающимся, и, как мне видится, образ человеческих лет, тонких и непрочных, как палые листья или листки бумаги. Какой-то небесный мусорщик их протыкает палкой, чтобы напихать в мешок да и выбросить.

## Сугимото-дэра и Сякадо Киритоси

К востоку от Хатиман-гу, в некотором отдалении стоит древнейший храм Камакуры — Сугимото-дэра, основанный в архаические времена VIII в. и посвященный богине милосердия Каннон. Оттуда раскрывается романтический вид на город. А в километре от него — один из самых интересных горных проходов, Сякадо Киритоси. Он не входит в число Семи Проходов, поскольку находится внутри исторического города времен эпохи Камакура, но он, пожалуй, самый живописный. Он назван Сякудо (Зал Шакьямуни) по соседнему храму, который не сохранился — ему покровительствовали регенты Ходзэ, а с их падением храм закрыли, а главную статую Будды перенесли в Токио, в храм Дайэндзи. Проход Сякадо узок и тесен даже сейчас. С потолка и стен сыпятся камни. Хоть его и расширили несколько десятков лет назад для проезда машин, но из-за опасности обвалов проезд давно закрыт. Пешеходы могут пробираться на свой страх и риск, но иногда (например, весной 2010 г.) в результате проливного дождя и сползания породы проход полностью заваливает. К осени 2010 г. он был снова расчищен, но выглядит очень пугающе. У выхода из него большое скопление скальных могил ягура — в них покоятся останки примерно девятисот воинов Ходзэ, которые совершили самоубийство после захвата Камакуры проимператорскими войсками Нитты Ёсисады в 1333 г.

## Хасэдэра

К юго-западу от Цуругаока Хатиман-гу находится большой храмовый комплекс Хасэдэра. К нему быстрее всего добраться на местной узкоколейке Энодэн от центральной станции Камакура до станции Хасэ (что означает Длинная долина). Если верить легенде, он может соперничать древностью с храмом Сугимото-дэра.

Предания доносят, что в 721 г. благочестивый монах Токудо-сэннин в далеком от Камакуры историческом



Ворота храмового комплекса Хасэдэра

центре Японии Ямато (ныне это префектура Нара) набрел в лесу на гигантское камфорное дерево (*кусуноки*). Он решил, что из ствола можно извлекать две огромные статуи бодхисатвы Каннон, что он и сделал с помощью мастеров-резчиков. Одну, из нижней части ствола, поместили в храме Хасэдэра близ тогдашней столицы Нара. Другую (большую), помолясь, столкнули в воду, с тем чтобы она приплыла сама-знает-куда и просветила светом истины тамошних обитателей. Спустя пятнадцать лет, июньской ночью 736 г., жители деревушек на побережье Нагаи полуострова Миура, близ нынешней Камакуры, увидели сильное сияние, идущее со стороны моря. Побежали смотреть — там статуя милосердной бодхисатвы, которая все озаряла своим светом да еще и пахла, поскольку камфорная. Статую торжественно перетащили в Камакуру на холм, который называли Кайкодзан — Гора Морского Света, и построили для нее храм Дзисэин Хасэдэра, или, сокращенно, Хасэдэра Каннон.



Проход к Каннон-до в Хасэдэра ветвится дорожками по саду

Высота статуи (ее запрещено фотографировать) 9,18 м. В дополнение к основной голове она имеет одиннадцать дополнительных сверху. (Несмотря на общее количество, этот иконографический тип называют Одиннадцатоголовой Каннон.) Благоуханное камфорное дерево ныне скрыто под золотой фольгой, которой статую обложили в 1342-м по повелению Такаудзи, первого сёгуна новой династии Асикага, — вероятно, он хотел обеспечить себя милостью главной статуи своих поверженных врагов. Еще полвека спустя третий сёгун Асикага Ёсимицу добавил огромный овалный нимб. Вероятно, без всего этого золота впечатление было мощнее, хотя размер и сейчас внушает почтение. Покоится статуя в зале Каннон-до, самом большом и самом дальнем в храмовом комплексе.

Проход к Каннон-до ветвится дорожками по саду, в котором стоит задержаться надолго. Он примечателен растениями (в частности, знаменит своими двумя тысячами кустов гортензии), прихотливым рельефом, прудами и многочисленными каменными скульптурами. Так, по



Перед Залом бодхисатвы Дзидзо находится маленький прудик под названием Ман-икэ – Свастиковый пруд

правую руку, перед Залом бодхисатвы Дзидзо, находится маленький прудик под названием Ман-икэ — Свастиковый пруд. Сделан он именно в форме этого иероглифа, благожелательного символа в буддизме. (Кстати, на многих японских картах и планах буддийские храмы обозначаются именно таким знаком, тогда как синтоистские передаются значком тории.) Еще интереснее, чем форма пруда, две каменные фигуры на его берегах. Это баба Дацуэба и ее старик Кэнъэо. Они играют важную роль в народных представлениях о смерти, загробных карах и избавлении от адских мук. Страшная Дацуэба (буквально «Сдирающая одежды старуха») встречает умерших у подземной реки Сандзу-но кава, Реки Трех Дорог. Она раздевает грешников и развешивает их одежды на деревьях с помощью своего спутника Кэнъэо (буквально «Развешивающий одежды старец»). Большую роль в спасении умерших, особенно маленьких детей и даже нерожденных эмбрионов, играет бодхисатва Дзидзо. Впрочем, прежде чем перейти к саду Дзидзо в Хасэдэра, стоит рассказать о представ-



Хокусай. Буддийский ад Дзигоку

лениях средневековых японцев о том, что ожидало умерших в начале их путешествия на тот свет. Проиллюстрируем это с помощью рисунка Хокусая из Манга.

Композиция повествует о происходящем в буддийском аду Дзигоку. Японские представления об аде восходят к соответствующим индийским и китайским идеям. В автохтонной японской мифопоэтической картине мира Синто концепции ада как места наказания

грешников не было. Дзигоку помещается под землей и состоит из нескольких областей, холодно-ледяных или огненно-горячих.

Действие у Хокусая начинается в нижней части справа, там он изобразил двух новоприбывших покойников (или их души, если понимать событие фигурально). На лбу у них белые треугольные косыночки, составлявшие часть погребального обряжения. Что касается других одежд, то покойники их немедленно лишаются, повинувшись встречающей их пятиметровой страшной старухе по имени Дацуэба, которая развешивает их на деревьях с помощью своего спутника Кэнъэо. Они изображены чуть правее и выше двух покойников; множество спутанных линий на коленях у старухи — это как раз одежды, которые она расправляет, перед тем как повесить на дерево сзади. Кэнъэо же греется у костра, а заодно поставил на него котел для варки грешников.

Старуху Дацуэбу называют еще «Сёдзука-баба» — «Старуха Трех Дорог», по протекающей рядом Реке Трех Дорог,

через которую необходимо переправляться покойным. Младенцы и малые дети пересекать реку не умели, и чтобы помучить их прямо на этом берегу ада (Саи-но Кавара, «детское чистилище»), бесы обещали отпустить их в рай, если дети построят из прибрежной гальки гору, по которой и вскарабкаются на небо. Гнусность же адских чертей состояла в том, что как только куча камней достигала некоторой высоты, они ее с улюлюканьем разрушали. Именно такой момент Хокусай изобразил слева внизу. Представления о детских мучениях на берегу подземной реки зародились в XIV–XV вв. внутри секты Чистой Земли.

Выше две грешные души склонились перед столом царя ада Эммы (санскр. *Яма*), который вершит суровый суд. Ему помогают два свидетеля — две головы без тел, торчащие прямо из скалы справа от царя. Это бородатый Кагухана (буквально «Чуткий Нос») и женское лицо по имени Мирумэ («Зрящий Глаз»). Оба видят и чувят все грехи, содеянные в прошлом. Выражение «мирумэ кагухана» применяется в Японии по отношению к чрезмерно любопытной соседке. Два прислужника стоят по краям с таблицами;



Длинные ряды младенцев-дзидзо аккуратно расставлены по уступам сада



**Синтоистский Инари (Лисий бог) — частый гость в буддийских храмах**

один записывает грехи, другой зачитывает приговор. Слева установлено овальное зеркало Дзёхари-но кагами — Кристально Чистое Зерцало, в коем отражается все содеянное. Слово дзё выводит нас к секте Дзёдо — Чистой Земли, для которой разработанная топография ада была особенно характерна. Именно к Дзёдо храм Хасэдэра и принадлежит.

Избавитель детей Дзидзо находится слева по соседству со Свастиковым прудом. Несколько больших его статуй окружены тысячами маленьких каменных дзидзо (как изваянных, так и сформованных из композитной крошки). Это персонификация умерших сразу после рождения младенцев, выкидышей и абортированных эмбрионов, об упокоении души которых заботятся родители. Кулыг дзидзо (с непременным посвящением в храм маленькой статуи) стал массовым в последние десятилетия. Возможно, это происходит в связи с резко уменьшившейся детской смертностью (каждый случай теперь воспринимается более трагически), увеличившимся моральным давлением по поводу абортотворения и общим повышением качества жизни. Плюс умелая пропаганда храмового священства, которое неплохо на этом зарабатывает. Длинные ряды младенцев-дзидзо, аккуратно расставленные по уступам сада, напомнили мне хористов, изображающих Хор нерожденных младенцев, поющих за сценой с закрытыми ртами в опере Рихарда Штрауса «Женщина без тени». В дальнем углу сада находится Дзидзо-до, маленький храм Дзидзо. Вероятно, про-

ходя к храму мимо сдирающих одежды стариков и тысяч окаменевших маленьких душ, родители умершего ребенка испытывают сильные эмоции и готовы заказывать поминальные службы, цветы и изваяния по высшему разряду.

За садом Дзидзо находится маленький храмик — фактически ящик — Какигара Инари, Лисьего бога. Синтоистский Инари — частый гость в буддийских храмах. Далее, мимо изящной звонницы, построенной в 1955-м, можно, повернув налево, пройти к Залу будды Амида. Главный храмовый образ там — целитель Амида Якуёкэ. Почти трехметровую статую сидящего будды сделали по инициативе Минамото-но Ёритомо в 1194 г. Спустя пять лет он упал с лошади — и исцеления не последовало.

Вплотную к Амида-до находится главный храм — Каннон-до с главной святыней, статуей Каннон, с которой мы начали наше повествование о Хасэдэра.

К нему примыкает двухэтажное здание музея Хомоцукан, наполненного сокровищами Хасэдэры. Среди них можно отметить большие подвесные храмовые щиты (изготовлены в 1331-м, всего за два года до падения камакурского режима) или деревянную статую Дайкоку начала XV в. Этому богу удачи и богатства посвящен отдельный храм левее музея. Оригинал древней статуи — в музее, а копия — в центральном алтаре. И верующие, кстати, не вопят, что им непременно требуется молиться на хрупкую музейную ценность. Слева представлен развеселый раскрашенный Дайкоку с внушительной колотушкой, на которой написано «счастье».



**Маленький храм, посвященный Дайкоку — богу удачи и богатства. Вот он слева — развеселый и раскрашенный**





**Восьмигранный вращающийся шкаф для сутр риндзо**

Еще левее расположено редкое в храмовой архитектуре сооружение — здание для хранения сутр, *кёдзо*. Несколько тысяч книг буддийского канона («Три корзины», как они именовались изначально в Индии, — видимо, это были очень большие корзины) хранятся в восьмигранном вращающемся шкафу *риндзо*. Изначально вращение было задумано как подспорье для быстрого доступа к нужной книге, но впоследствии кто-то, кому лень

(или просто тяжело по недоученности) было доставать древний текст, написанный по-китайски, и читать его, решил, что поворота шкафа будет достаточно. Мол, Будда увидит, что некоторое усилие приложено. В итоге появился обычай вращать сутрохранилище риндзо вокруг его оси — три оборота приравниваются по святости к прочтению всех лежащих внутри книг. Сейчас дни шкафо- или книговерчения проходят 18-го числа каждого месяца или под Новый год. Традиционно считается, что такой шкаф изобрел живший в VI в. Великий учитель Фу, который был известен на весь Китай не только своей ученостью, но и добрым нравом. За это его и прозвали Смеющийся Будда. Хокусай в Манга детально изобразил риндзо, чрезвычайно похожий на тот, что в Хасэдэра, — вероятно, срисовывал именно с него.

За сутрохранилищем устроена смотровая площадка — с нее виден залив Сагами, полуостров Миура (куда приплыла в свое время статуя Каннон) и пляжи, на которых собираются местные серферы.

Выходя из Хасэдэра, не забудем спуститься в пещеру Бэнтэн — на другом конце от смотровой площадки, за прудом. Пещере предшествует храм Бэнтэн — с небольшой статуей, изваянной, по преданию, самим Кобо-дайси (многие храмы в Японии упоминают, что у них есть его боговдохновенные творения). Значительно интереснее полихромная и одетая в чистое, часто меняемое кимоно статуя Бэнтэн из Цуругаока Хатиман-гу, сделанная в 1206 г. Это памятник в ранге национального сокровища, и иногда его можно увидеть в экспозиции Камакурского городского музея. А пещера с низким входом и сводами содержит высеченные из горной породы и неотделенные от тела скалы фигуры Бэнтэн и шестнадцати ее святых детей, отвечающих за ту или иную сторону житейского процветания. На меня наибольшее впечатление произвела статуя Сюсин — бога выпивки. Впрочем, самые интересные предметы культа — это крошечные фигурки Бэнтэн, которые



**Высеченные из горной породы фигуры Бэнтэн и ее шестнадцати святых детей (вверху слева)**



**Крошечные фигурки Бэнтэн с именами просителей (вверху справа)**



**Статуя Бэнтэн из Цуругаока Хатиман-гу, одетая в кимоно (внизу справа)**

покупают в соседнем храме, пишут на задней стороне свое имя (или того, за кого просишь) и ставят в пещере рядом с Бэнтэн (или на ее теле). Кое-как они освещаются только от вспышки камеры (что, строго говоря, делать не рекомендуется), а так живут себе в вечном сумраке пещеры.

Рассказ про Хасэдэра был бы неполон, если бы я не упомянул про сувенирную лавку в начале улицы справа от выхода. Там среди обычного (и далеко не всегда вульгарного) туристического набора цацек я увидел крошечные круглые вазочки или лучше сказать, горшочки — не больше 3 см высотой и шириной и с великолепной сдержанно-полихромной поливой. Мой любимый размер.

### Дзэниараи Бэнтэн

Выйдя из пещеры Бэнтэн в Хасэдэра, не стоит забывать об этой богине окончательно: неподалеку есть еще один храм, а в нем еще пещера Бэнтэн, а в ней можно помыть свои деньги. Это святилище Дзэниараи Бэнтэн, или Бэнтэн Мойщицы Денег. Основан он во времена Ёритомо. Собственно, он основан благодаря вещицу сну: Ёритомо увидел старца, который объявил, что он божество Угафуку и повелел заложить храм у чудотворного источника в ущелье в северо-восточной части города. Сон привиделся в день змеи месяца змеи года змеи (1185). Соответственно, в храме почитают изваяние змеи с человеческой головой — так, считается, выглядел в натуральном виде бог Угафуку, который явился в человеческом облике к Ёритомо, чтобы не напугать его во сне. Увидеть эту статую обычным посетителям нельзя — она сокрыта во мраке в дальних галереях пещеры. Змея ассоциируется с буддийской богиней Бэнтэн, из-за чего со временем произошло слияние синтоистской и буддийской образности и верований.

Крупные купюры в Дзэниараи не полощут, и мафиози с чемоданами черного нала, подлежащего отмыванию, там делать нечего. Впрочем, я неточно выразился: это только изначально омовению подлежали лишь монеты (*дзэни* — старинная медная монетка, круглая с квадратной дыркой

посередине — ныне эта форма осталась у пятийеновых монет). Но сейчас полощут и бумажные. Вообще же в святую воду окунают мелкие монеты — от этого они могут удвоиться. Часто там можно заметить доверчивых Буратино отнюдь не детского возраста. И поскольку они думают, что пусть лучше удвоится купюра в 10 000 йен, нежели монетка в 5, то и стараются вовсю. К их услугам на полках пещеры есть бамбуковые бадейки и черпаки. Стиральный порошок приносить не принято. Более скептически настроенные прихожане дополнительно к полосканию личности могут расстаться с некоторой ее частью — для покупки мешочков *о-мамори* со счастливыми заклинаниями. Если и это покажется недостаточным, можно попросить местного жреца стукнуть кремнем о камень над купленным мешочком — из высеченной искры уж точно возгорится пламя благоденствия. (Плата за высечение — по таксе.) Еще можно купить в соседних сувенирных лавках яйца и оставить их на камушке в виде приношения: змеиный бог любит яйца. Так или иначе, вероятно, многим влажная чистка денег помогла — перед входом в святилище стоят сотни красных тории, которые посвятили божеству удачливые предприниматели.

А если кто-то по приезде в Камакуру захочет сразу устремиться на отмывку денег, без захода в прочие святилища и капища, то от главной станции туда чуть больше километра, часть пути надо проделать по извилистому туннелю, прорубленному в горе Гэндзи. Кстати, о станции. Еще лет двадцать назад на окнах билетных касс можно было увидеть расправленные на них для просушки купюры — ими расплачивались за билеты паломники. Сейчас билеты продают в билетных автоматах, которые мокрые деньги с негодованием выплевывают обратно. Машины не верят в удвоение.

Добавлю коду: а японские священники не верят в иностранные деньги. Точнее, они охотно меняют в банке доллары и евро, которые бросают в ящики для пожертвованных иностранных туристов, а вот все остальные валюты они кладут в мешок и посылают на нужды ЮНЕСКО.

## Дайбуцу

От Дзэниараи совсем недалеко до Котокуин — храма Высокой Добродетели секты Чистой Земли. Собственно, само здание рассыпалось под ураганным ветром, вызванным волной цунами еще в XIV в. (дважды — в 1334 и в 1369), но его содержимое уцелело и стоит с тех пор на свежем воздухе, открытое всем стихиям. Первое разрушение случилось на следующий год после захвата города проимператорскими войсками, и храм поспешили отстроить, чтобы не казалось, что новая власть прогневала Будду. (Впрочем, была и другая теория, почему обрушился храм: еще возникали стычки между сторонниками и противниками старого режима регентов Ходзё.) Как раз перед цунами уцелевший на поле битвы отряд Ходзё примерно в пятьсот человек укрылся в Котокуин. Тут, говорят их противники, боги послали бурю, и их всех раздавило... После третьего обрушения, в XV в., решили, что сама святыня, видимо, хочет сидеть на воле. Святыня эта — едва ли не самый знаменитый памятник в Камакуре, Большой Будда, или Дайбуцу. Разумеется, это памятник в ранге национального сокровища; к нему стекается до полутора миллионов посетителей в год. В ноябре 2009 г., совершая свой государственный визит в Японию, президент Обама вспомнил, что в детстве мама тоже возила его в Японию и таскала к Большому Будде. «Но, — широко улыбаясь, добавил президент США, — я больше занимался мороженым из зеленого чая». Вот каких славных простых людей выбирают нынче в американские президенты! А почему-то принято думать, что большие штуковины действуют на всех мальчишек.

Согласно преданиям, идея о постройке гигантской статуи Будды пришла в голову все тому же первому сёгуну Ёритомо, когда он присутствовал на церемонии освящения Большого Будды в старой столице Нара в 1195 г., — старого Дайбуцу тогда отреставрировали после большого пожара. Ёритомо решил, что его новая столица должна иметь такого же. Потом он умер, потом начался сбор де-



Большой Будда, или Дайбуцу в Камакуре

нег, потом, спустя почти пятьдесят лет, монах Дзёко деньги собрал, и статую построили — деревянную. Через четыре года ее сдуло ветром. Снова Дзёко и благочестивая придворная дама Инада стали собирать деньги и наконец собрали на металлическую.

Статую Будды будущего века Амиды отлили из бронзы в 1252–1262 гг., в момент наибольшего могущества камакурского сёгуната. (Впрочем, правительство денег не ассигновало — собирали в народе.) Высота сидящей фигуры достигает 11,3 м, а с пьедесталом — почти 13,5 м. Длина левого уха составляет ровно 2 м, а правого — 1,94 м. Чтобы отлить такую скульптуру, понадобилось более 120 т бронзы. Камакурский Дайбуцу — вторая по величине скульптура Японии, уступающая лишь более старому Дайбуцу из Тодайдзи в древней столице Нара. При этом художественные ее достоинства, пожалуй, будут повыше — более пропорциональная фигура, более умиротворенное выражение величавого достоинства. Кто вылепил модель этой исполинской статуи — неведомо. Он был великим мастером, почти не напутав в пропорциях и передав ве-

лично отрешенное выражение Будды. Зато известно имя мастера-литейщика — Тандзи Хисатомо, а также производителя работ Оно Гороуэмона. Статую отливали частями в тридцать горизонтальных слоев, которые системой хитроумных загибов и желобов цеплялись друг за друга.

Статуя знала и времена поклонения и периоды полного пренебрежения, когда в ней жили бездомные, — так было в начале эпохи Токугава. С веками сползла позолота. Можно только представить, как сверкал колосс (кстати, Дайбуцу сравнивали с Колоссом Родосским) в лучах солнца.

Будда, невозмутимо сидящий под солнцем и дождем, в снегу или зелени листвы, производит странное впечатление. Кажется, что это компьютерный коллаж (или, как говаривали, когда я был школьником младших классов, комбинированная съемка), сделанный специально для создания атмосферы нереальности, когда нечто большее, чем сама жизнь, вторгается (тихо и величаво) в окружающий мир и намекает на присутствие божества здесь и сейчас.

Это ощущение не исчезает даже внутри: в утробу статуи можно зайти за символическую плату в 20 йен. Черная дыра, за которой угадывается голова Будды, при богатом воображении может предстать космической воронкой, из которой льется на тех, кто находится под сенью Прозрачного, благодатная дхарма.

Множество народа залезает ныне внутрь, а еще больше стрекочет затворами своих камер вокруг. А сравнительно недавно — лет этак 150 назад — толпа была поменьше и исключительно японская. Первых иностранцев, англичан Болдуина и Бёрда, которые явились к Большому Будде в 1864 г. и принялись его зарисовывать, зарубил за святотатство прохожий самурай. Его собственную голову выставили на шесте через два дня в Йокогаме — для спокойствия обитателей Иностранного сэттльмента.

В боковом павильоне висят на стенке две соломенные сандалии высотой более двух метров. Их сплели по обету благочестивые паломники, предварительно тщательно вычислив размер невидимых ступней изваяния. Дру-

гой любитель праздных вычислений установил, что если скармливать эти сандалии лошадям, то паре не очень прожорливых соломы хватит как раз на зиму.

Еще в этом павильоне торгуют миниатюрными дайбуцами, сделанными из пластмассы и окрашенными во все цвета радуги, — устрашающие изделия эпохи массовой культуры и Такаси Мураками. А вот раньше умели делать настоящие, отнюдь не вульгарные копии. Помнится, лет этак тридцать назад, Е. В. Маевский подарил мне настольного Дайбуцу — металлического, тяжелого, со вкусом патинированного. Судя по тому, что текст на донце был написан горизонтальными строками справа налево, делали вещицу явно до войны. С тех пор эта отливка почти всегда стоит на моем столе, напоминая о Будде и Маевском, уж несколько лет как ушедшем из этого мира — по истинному его благородству наверняка к Будде.

Вскоре по выходе от Большого Будды можно наткнуться на кафе, где подают мороженое, сделанное из фиолетового батата. Вид — специфический, не для слабонервных; вкус — пожалуй, не хуже печеного батата, но тоже на любителя. Вообще, в какой-то момент лучше перестать бегать из храма в храм и просто пуститься бродить по улицам, подмечая неброскую прелесть мелочей — вот, например, цветок, вставленный в ржавую решетку, которая прикрывает контейнеры с мусором. Это ли не восхитительная икебана! Или старинный дом, или полускрытые лианами обветшавшие фигурки богов в саду у Марка Шумахера, создателя превосходного веб-портала о буддийском искусстве... Или случайно наткнуться на обветшавшую стелу у дороги с божеством Косин и тремя обезьянами — не видящей, не слышащей и не говорящей дурного. Такая стела достойна отдельного рассказа. Косин (кит. *гэшиэнь*) — это название несчастного года, 57-го в шестидесятилетнем календарном цикле, года старшего брата металла и обезьяны. (Вот почему там и появились изображения обезьян.) Кроме того, это обозначение особых дней, которые с периодичностью один раз каждые шестьдесят дней случаются в каждом году. Считалось, что в такие дни (а точнее,



Фигурки богов в саду у Марка Шумахера (вверху)

Стела у дороги с божеством Косин и тремя обезьянами — не видящей, не слышащей и не говорящей дурного (внизу)



Ресторанчик «Цветок туши» (Кабоку) в Камакуре

ночи) из тела спящего человека выползают три червяка, тихо там обитающих (их еще называют «три трупа» — *санси*), и ползут докладывать о всех человеческих грехах Небесному владыке (Тэнтай), который в зависимости от тяжести грехов отнимает определенное количество дней от жизни. Представления эти зародились в Китае в русле даосизма, попали в Японию в эпоху Хэйан, а во времена Эдо вызвали к жизни массовые ритуалы. Они заключались в том, что группы людей объединялись в общества (кодзю), чтобы не спать всю ночь и не допустить выползание из себя и друг друга червяков-доносчиков. Такие камни повсеместно ставили по Японии у дорог, на открытых местах, или окружали ими свое жилище. Здесь на левой стеле есть собственно надпись Косин, а на правой изображено божество по имени Сёмэн Конгó, которое считалось защитником в дни и ночи Косин и охранителем от множества болезней, например оспы.

Ну а потом можно набраться храбрости и зайти в какой-нибудь «атмосферный» ресторанчик — вроде «Цветка туши» (Кабоку), например.

## Кита-Камакура

В Кита-Камакура жили Кавабата Ясунари и Судзуки Дайсэцу, чтобы быть поближе к монастырю Энгакудзи. Там же неподалеку жили англичанин Реджинальд Блайс, знаток хайку и дзэн, и Лэнгдон Уорнер, очень знающий искусствовед из Бостона, который сумел убедить во время войны американское правительство не бомбить исторические заповедники Японии — Киото, Нару и Камакура. Жаль, что в то же время не нашлось влиятельного искусствоведа-германиста, который мог бы сказать, что испепелить Дрезден — варварство. А когда Уорнер умер в 1955 г., около главной станции в Камакуре ему поставили памятник. Блайс и Судзуки похоронены на кладбище за монастырем Токэйдзи, рядом со станцией. О монастыре этом стоит сказать несколько слов.

Токэйдзи (Храм Восточной Радости) более известен как Какэкоми-дэра (Обитель убежища), или Энкири-дэра (Обитель разводов). Основанный в конце XIII в. вдовой одного из регентов Ходзё, это был женский монастырь, единственная сохранившаяся до наших дней часть женской системы дзэнских Пяти Гор. Женщинам, которые в силу тех или иных причин сбегали от мужей и добирались до храма, попадали под его защиту. По истечении трех лет жизни за его стенами они могли выйти официально свободными и разведенными. Лишь за последние два с чем-то века действия этого закона убежища там искали около двух тысяч женщин — это значит, беглянки приходили каждые три-четыре дня. Обычай был отменен только в 1873 г., когда стало возможным получить развод в суде, созданном по западному образцу.

Монастырь Кэнгёдзи считается первым в иерархии дзэнских Пяти Гор. Он велик и по сей день и является главным учебным центром для дзэнских монахов. Упомяну кратко два довольно необычных курьеза: в строительстве его главных ворот принимал участие барсук-тануки, который превращался в монаха и трудился не покладая рук; а еще под группой огромных (2 м в диаметре у корня) дере-

вьев бякусин (можжевельник), чьи саженцы были вывезены из Китая основателем монастыря в XIII в., есть окруженный цепями памятник жителям Камакуры, погибшим в Русско-японской войне. Еще в Кэнгёдзи есть изображение дракона в облаках в храме Хатто (10×12 м), написанное современным художником Дзюнсаку Коидзуми к юбилею монастыря в 2002-м. В последние годы вообще немало современных росписей было сделано в исторических храмах Камакуры и Киото, — можно спорить, удачные они или нет, хорошо это или плохо, но застывшего, слепого сохранения полуразрушенных памятников в Японии нет. И это правильно.

Энгакудзи, находящийся в двух шагах от станции Кита-Камакура, был первым большим дзэнским монастырем, принадлежавшим к легендарным Пяти Горам, который я увидел воочию. Десятки прочитанных книг смешались в голове; я ходил по дорожкам, узнавая и не узнавая, приблизительно понимая, что есть что, — вот это исполинские главные ворота с каллиграфией императора Фусими над средним проходом; вот это, наверно, Сяридэн, в коем покоится зуб Будды; вот Оканэ, Большой колокол — самый большой в дзэнских монастырях, — и будучи в то же время как в тумане. Это и есть легендарный Энгакудзи, построенный в благодарность за отражение монгольского нашествия и в упокоение душ воинов, погибших в процессе — с той и другой стороны? Семь с половиной веков медитации и стяжания дхармы? Здесь суровые мастера лупили палкой бестолковых учеников, добросердечно радея об их просветлении? Вот на пороге этого храма бессчетные поколения взыскующих мудрости новоприбывших сидели по три дня и ночи, прежде чем им нехотя открывали дверь? Голова кружилась. Видя ярко-красные (и непривычно маленькие) листья клена на замшелых каменных ступенях, хотелось замереть-уснуть. Силуэт неторопливого монаха с ведром на коромысле, стучащего деревянными гэта по каменным тропинкам, казался чудесным явле-

**Монастырь Энгакудзи,  
ворота в мемориальный храм Ходзё Мунэтоки →**



北条時宗公御廟所

立入禁止

臨濟宗  
大本山  
円覚寺

нием. Как домашнему гусю, с непонятной самому тоской глядящему за косяком перелетных, хотелось взмахнуть крыльями и пуститься за монахом вслед — возьмите меня, я тоже буду носить воду, только научите — не знаю чему.

Собственно, я лет этак с двадцати хотел научиться дзэнской премудрости, но задавать главные вопросы (даже самому себе) мне всегда казалось чем-то не вполне приличным. В самом деле, глупо как-то спросить: «Что есть истина?» Был уже один такой. Впрочем, он, кажется, из другой книги. Ну, хорошо: «Что есть природа Будды?» И услышать что-нибудь типа классического ответа из прописей, т. е. коанов: «Кипарис в саду». Реакцию на такой ответ мастера лучше всего выразил поэт Рубинштейн: «Ученик пошел домой и стал думать».

Если серьезно, такая восторженность пополам с застенчивостью и сугубо книжным (и явно фрагментарным) знанием сыграла как-то со мной злую шутку. Давным-давно, в первое мое пребывание в Японии, читал я как-то лекцию на тему, не помню как обозначенную в названии, но по смыслу примерно «Иккю и я» — как я стал Иккю заниматься, что в нем вижу и как это на меня влияет. На лекцию каким-то образом пришла Сиратори-сэнсэй, главная жрица синтоистского храма Кодама-дзиндзя, который находится на острове Эносима близ Камакура. Проявив неподдельный интерес к моей скромной, но экзотической персоне, она стала общаться и однажды, услышав мой элегический рассказ о первом паломничестве в Энгакудзи, предложила отправиться туда вместе, чтобы походить по монастырю с ее знакомым монахом, который все складно расскажет и покажет. Я с восторгом согласился, но сдуру позвал еще двух знакомых американских студентов. В итоге экскурсия получилась несколько сумбурной — студентам приходилось все объяснять и растолковывать.

Но самое ужасное ожидало под конец. Жрица Сиратори (это, кстати, означает в переводе Белая Лебедь) была знакома не только с неким монахом, весьма общительным и доброжелательным. Она устроила мне аудиенцию

с главным настоятелем и сказала об этом за пять минут до встречи: «А сейчас нас ждут в покоях у настоятеля, чтобы выпить чаю». Нас провели в большую залу и усадили на дзабутоны. Через две-три минуты молчаливого ожидания у противоположной, довольно далекой, стены показалась процессия из нескольких монахов впереди, за ними шел в парчовой переливающейся робе настоятель с жезлом-метелкой в руке, за ним снова несколько монахов в разноцветных рясах. Все молча уселись и воззрились. Я, не зная, что делать, изобразил поклон в положении сидя (думая одновременно, как глупо это, должно быть, выглядит и перед почтенными монахами, знающими как надо кланяться по-настоящему, и в глазах американских студентов). Японская сторона поклонилась в ответ. Все выпрямились, молчание продолжалось. Тут принесли чай с двумя маленькими кубиками сухих пирожных. Я с облегчением отвлекся на угощение, пытаясь деликатно разрубить острой палочкой типа зубочистки кусок рассыпчатого хлебобулочного изделия. В процессе решил сказать несколько дежурных фраз на тему, как мне тут понравилось и как все вокруг замечательно. Мастер важно покивал и ответил что-то типа «Да уж». Потом он пошушукался с монахами. Потом чашки унесли.

Американские студенты спрашивали, что происходит. Что именно, я не знал и сам. Жрица Белая Лебедь тихонько сказала, что если у меня есть вопросы про Дзэн, я могу их задать мастеру. Я немедленно почувствовал себя в шкуре младшего сына из пасхальной Агады, который не умел задавать вопросы. Кажется, я сказал, что конкретных вопросов у меня нет, точнее есть, но очень много, и я не решаюсь начать, может, мне будет позволено прийти как-нибудь еще? «Может, и будет», — ответил мастер, встал и ушел, медленно, важно и церемониально, во главе своей процессии. После этого оставалось уйти и нашей группе. На выходе, надевая кроссовки, один студент спросил: «Как, напомните еще раз, называется это место?» «Энгакудзи, один из главных дзэнских монастырей страны», — сказал я обреченно. А собственно, о чем я мог спросить досто-



почтенного настоятеля в этой ситуации? Имеет ли пес природу Будды? Как стать счастливым? Сколько времени ему самому понадобилось, чтобы сподобиться просветления? В каком году обновили забор? Как толковать такое-то темное место в Алтарной сутре Шестого патриарха? Есть ли у меня шанс приобщиться к дхарме? Не знаю, но почему-то ощущение какой-то дискомфортной ситуации вспоминается изредка и по сей день...

### Эносима

На местном поезде Эноден можно из Камакуры за пятнадцать минут доехать до острова Эносима со знаменитыми синтоистскими храмами. Лет пятнадцать назад я побывал там в новогодний день, что описал в письме шестилетнему сыну в Нью-Йорк. Приведу его здесь, а потом добавлю еще немного о местных богинях того, о чем детям знать рано.

Милый мой Гаврик!

Вот я снова пишу тебе — уже в новом году. Сегодня первое января, вечер. Помнишь, как мы встречали Новый год в Токио два года назад — ходили ночью в синтоистский храм, звонили в колокол и смотрели, как в яме полыхал огонь, в который бросали всякие старые вещи?

В этом году в двенадцать ночи я был один у себя в университетской квартире; выпил шампанского за ваше с мамой здоровье.

А потом, в четыре часа утра — это еще совсем ночь, — отправился на поезде в город Фудзисава (это за Камакурой, куда мы ездили вместе). Там меня ожидало целое новогоднее приключение.

По соседству с Фудзисавой есть святой остров Эносима — на нем стоит несколько синтоистских храмов. В самом большом храме у меня есть знакомая жрица — она главный священник этого храма. Зовут ее Сиратори — буквально «Белая Птица», или Лебедушка. А фамилия ее Ямамото. Лебедушка Ямамото прочла обо мне в газете и очень заинтересовалась. Пришла ко мне в университет познакомиться, а потом на лекцию — я как раз выступал с лекцией про Иккю. (Это такой знаменитый японец; я про него

когда-то книжку написал.) А на лекции я рассказывал, почему я заинтересовался Иккю и чем мне он нравится. И я рассказал, что когда я был совсем маленький, у меня была любимая книжка про Бонзу и Маленького Послушника. Бонза был важный и глупый, а послушник — умный и находчивый. А много лет спустя я узнал, что маленького послушника звали Иккю. Вот как оказалось... Я тебе читал эту книжку — там смешные картинки, как, например, бонза сидит в ванне (большой бочке) в шелковой шапочке... И я эту книжку показывал японцам, которые пришли меня послушать. Они говорили «со дэс нээ» (помнишь, как ты в Амстердаме так с японкой разговаривал?) и цокали от восхищения.



Бонза и маленький послушник

Короче, Сиратори-сэнсэй пригласила меня на Новый год к себе на остров. По древнему синтоистскому обычаю, Новый год надо встречать с первым лучом солнца. И делать это лучше всего как раз на Эносима, потому что остров чрезвычайно красивый — прямо посередине моря высится как гора, а на нем сосны, заросли бамбука и изогнутые крыши храмов.

Когда я вышел со станции, ко мне подскочил служка и почтительно спросил: «Сутайна-сэнсэй? Пожалуйста на берег, лодка ждет Вас». Было совсем темно; мы спустились к причалу по крутой дорожке, а внизу у воды стоял другой служка, а точнее капитан, и мигал нам фонариком, чтобы мы знали, куда идти.

Вода была непроницаемо черная, лишь вдалеке пролегла светлая дорожка от маяка, который стоит посередине острова. (Помнишь, мы ходили на маленький красный маячок на Гудзоне — Little Red Lighthouse? Вот этот был намного больше.)

Лодка была маленькая и открытая. Когда я прыгнул с берега в нее, она сильно закачалась. «Ну и ну, — подумал я. — Вода-то, небось, холодная. Да и плыть в темноте непонятно куда, ежели что». Но море было покойно, лишь легкая зыбь волновала его. Монахи-моряки уверенно подняли якорь и оттолкнулись шестом

от берега. На носу лодки горел фонарь, и, привлеченные его светом, к лодке подплыла целая стая рыб. Некоторые даже стучались легонько о борта. Казалось, их можно схватить прямо рукой.

Спустя недолгое время я увидел впереди огромную черную гору — это и был остров. Когда мы подплывали, уже начало светать; небо у горизонта порозовело. Мы выпрыгнули на берег, привязали лодку и стали взбираться по крутой лестнице в гору. Перед храмом толпилось уже много народа. Служки провели меня через толпу и ввели в домик сбоку, где сидела Белая Лебедь в полном жреческом одеянии — рукава чуть-чуть не доставали до земли, а подол верхней накидки волочился на целый метр по полу. На голове ее была высоченная черная шапка, привязанная под подбородком тесемочками. Она торжественно меня встретила и велела подать мне священную одежду — белую накидку без рукавов, но как бы с крылышками. Эта накидка называется *каригину* — в ней ходили японские придворные на охоту тысячу лет назад. Сейчас каригину надевают только в синтоистских храмах и только в самых торжественных случаях — и только жрецы и их гости. «Вот бы Гаврику такое», — подумал я.

А потом мы вышли из служебного домика и прошли цепочкой на храмовую площадку. Она была похожа на сцену — приподнятая платформа и над нею крыша на столбах и никаких стен. Впереди шла главная жрица, моя приятельница, за ней три девушки, храмовые прислужницы, потом служба-барабанщик, а потом шесть гостей — пять важных маленьких японцев и один я. А вокруг стояла толпа и глазела. Сиратори начала читать старинные молитвы Норито, и между тем взошло солнце. Служка оглушительно бил в барабан. Народ вокруг вопил «Бандзай!» — красота неопишемая. С нашей возвышенной платформы было видно море, далеко внизу — казалось, что оно все вспыхнуло, — так заискрились и заиграли солнечные блики на воде.

Во время церемонии жрица читала молитвы — за всю Японию сразу и за гостей отдельно. Всем шести приглашенным она поднесла куклы, изображавшие святого Даруму. Сбоку на Даруме было написано мое имя и желание. (Я пошлю его тебе.)

А на голове у Дарумы были нарисованы оливковые листочки. Два оливковых дерева росли перед храмом, а между ними был укреплен голубой флаг с шестиконечной звездой Давида. Это

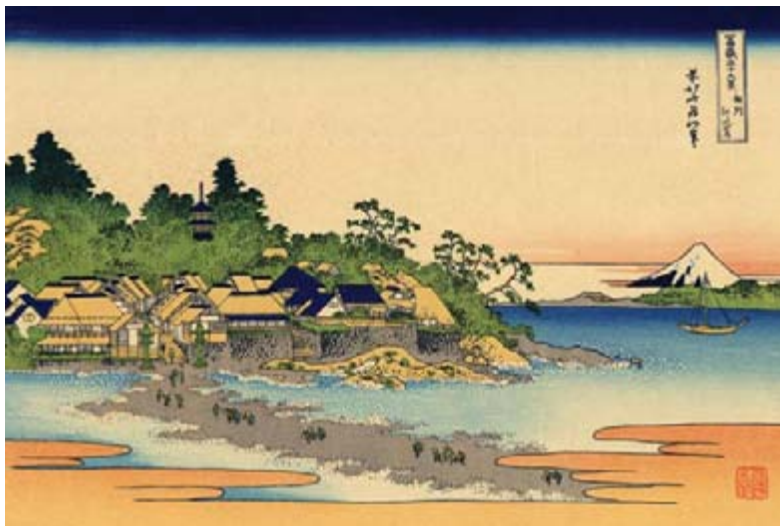
было что-то совсем необычное для японского храма. Оказывается, Сиратори-сан молится у себя в храме за победу Израиля и за процветание евреев.

Когда она была совсем молодая, ей во сне явился Дарума и велел ехать в Иерусалим помолиться за евреев. Это было как раз после Шестидневной войны. Она взяла с собой кувшинчик святой воды из озера Бива, ветку дерева сакаки, надела шапку и отправилась в Израиль. Там она молилась — словами, песнями и танцами — у Западной стены (помнишь, как мы туда ходили?). А жить ей предложили в Иерусалиме в пустой университетской квартире — интересно, может быть, в нашей, на улице ха-Порцим? Да, а воду она вылила в озеро Кинерет, где ты купался в день, когда тебе исполнилось два года. Вот такая необыкновенная японская тетка-священница. А потом мы пили sake, и она приглашала меня на следующий Новый год приехать к ней на остров с моим сыном.

А рядом продавали дощечки с коровами, чтобы писать на них свои желания в новом году. С коровами — потому что новый год считается годом Коровы (или Быка). А также продавали стрелы и картинки с изображением Семи Богов Счастья — как они плывут на корабле, полном сокровищ — *такарабунэ*. Две такие картинки я купил, поставил на них священные печати, и одну пошлю тебе на день рождения. А еще я купил *о-микудзи* — предсказание судьбы. И там было написано: «*Кадзоку-но нака мо таносику наримасё*». Что это такое — я тебе пока не скажу, потому что это секрет. (Но по секрету открою, что это очень хорошая штука\*.) <...>

Исторической точности ради заметим, что храм Кодама-дзиндзя моей приятельницы Лебедушки был весьма почтенным, но не самым большим и не самым старинным (в нем обитает дух генерала Кодама, героя не столь отдаленных времен). Самый знаменитый так и называется: «Эносима-дзиндзя», первое его святилище, Накацу-но мия, было основано в VIII в. буддийским священником Эннином. В нем чтити трех синтоистских богинь, а в конце XII в. все тот же Ёритомо повелел устроить там храм боги-

\* Теперь я могу сказать любознательным читателям, что это за «хорошая штука». «И в семье настанет радость» — гласило предсказание. Увы, оказалось полным надувательством.



Хокусай. Остров Эносима

ни Бэнтэн. Ей он молился о победе над врагами из клана Фудзивара в 1189-м — и победил.

Храм Бэнтэн на Эносима стал знаменит и выдвинулся в тройку главных святилищ Бэнтэн в Японии (два других — на озере Бива, близ Киото, и на острове Миядзима, близ Хиросимы). Паломники ездили туда толпами, а изображения острова и его храмов в цветных гравюрах изготавливались тысячами. Увы, храм был закрыт в начале реставрации Мэйдзи в рамках антибуддийской кампании и четкого разграничения между синто и буддизмом. Впрочем, в 1947-м ограничения были в основном сняты. Прославленная статуя Бэнтэн сейчас хранится при синтоистском храме Хэцу-но мия, основанном Минамото-но Санэтомо. Рядом с главным зданием этого святилища есть маленький восьмигранник, построенный по аналогии с октагональным храмом Юмэдоно в древнейшем монастыре Хорюдзи близ Нары. Подобно тому, как в Юмэдоно хранится статуя Кутэ Каннон, настолько святая, что ее никому не показывали, включая священников, в течение многих столетий, а сейчас раскрывают створки Юмэдоно на несколько часов два раза в год, так и с этой статуей Бэн-

тэн. Ее не показывают вообще, кроме одного раза в шесть лет, — в год Змеи и в год Вепря. Говорят, что в данном случае дополнительным поводом для секретности является особая редкая иконография статуи, — она представляет собой вырезанную из дерева, покрытую гипсом и реалистически раскрашенную обнаженную женщину с весьма детально и анатомически достоверно переданными интимными частями. Похожая статуя принадлежит храму Цуругаока Хатиман-гу и выставлена (одетая в шелковое кимоно) в камакурском музее-сокровищнице близ Хатиман-гу.

За этим октагоном есть небольшое святилище Ясакадзиндзя, посвященное воинственному богу Сусаноо — филиал знаменитого одноименного храма в квартале Гион в Киото (см. о нем в главе о Киото).

С южной стороны острова есть две пещеры. В западной — статуя Кобо-дайси, основателя эзотерической школы Сингон. В глубине пещера раздваивается; в соответствии с учением Сингон о двух мирах — Алмазном (Конго-кай) и мире Утробы (Тайдзо-кай) — рукава пещеры так и называются. Трудно сказать, что причина, а что следствие, но левая часть пещеры (т. е. та, что символизирует мир Утробы, что также можно перевести как «матка») весьма похожа, по мнению многих, на вагину. Не знаю, там вообще-то довольно темно, чтобы квалифицированно судить. Время от времени эта Утроба поглощает паломников (или любителей анатомии?) — своды обваливаются. После большого обвала в 1972-м, когда погибло девять человек, пещеру закрыли на двадцать с лишним лет. Сейчас она открыта, но камни, случается, падают.

В другой пещере, восточной, согласно преданию, Ходзэ Токимаса, тесть Ёритомо и первый регент после смерти последнего, видел гигантского дракона, который обещал ему содействие и подарил три чешуйки с хвоста — они стали впоследствии гербом рода Ходзэ.

Напоследок замечу, что нынче Эносима не тот, что раньше, — из-за миллионных туристских орд. Пожалуй, лучше всего туда ехать в ясный зимний день, когда кругом бело и немногочленно, а за заливом высится в небе гора Фудзи.

## КИОТО. ЮГ И ВОСТОК

О старой столице Японии написано множество романов и путеводителей. Я опишу лишь несколько ее мест — иногда самых главных, иногда самых показательных, а иногда самых незаметных и вместе с тем чарующих. Собственно, чаровать в Киото может все — для кого-то это суперсовременное гигантское здание железнодорожного вокзала, с которого многие и начинают знакомство с городом. Одно из чудес на вокзальной площади — цветные фонтаны. Или оборудованный чудесами хайтэка Центр по исследованию искусства при университете Рицумэйкан — там занимаются оцифровкой старопечатных книг и гравюр. Столь продвинутого технически научного центра нет больше нигде: ни в Японии, ни во всем мире. А для кого-то душа Японии раскрывается в Киото в квартале Гион при виде двух семенящих молоденьких гейш с густо набеленной верхней частью спины, выглядывающей из-под воротника. Кто-то может подумать, что он все понял про Японию и про себя, сидя в Саду камней монастыря Рёандзи, а еще кто-то уловит проблески особой атмосферы в обычных уличных сценах и видах.



Цветные фонтаны на привокзальной площади (слева)



Храмовые ворота тории в стене обычного дома (справа)



Красный домик японского Карлсона

Вот, например, идешь по невыразительной узкой улочке, в середине которой журчит мелкий и узкий канал Такасэ, и вдруг видишь храмовые ворота тории, буквально вделанные в стену обычного дома. Рядом — большое дерево, обвязанное священной веревкой *симэнава*. Что это — остатки храма? Воспоминание о том времени, когда пятьсот лет назад это было дальним предместьем, в котором росло священное дерево, в коем обитала душа божества? Или выглянешь в окно в новом районе, застроенном добротными, но такими современно безликими домами, и увидишь на крыше маленькую хижину со стенами из традиционной деревянной щепы темно-красного цвета. Может быть, там живет какой-нибудь местный Карлсон?

А то идешь себе по улицам и неподалеку от квартала Гион видишь на заборе надпись, которая странно цепляет взор. Да ведь то русские буквы, аршинные притом. Но только написано ими нечто не похожее на русские заборные надписи: «Наму Амида-буцу» — «Славься, будда Амида!». Может, это для спасения душ, запутавшихся с гейшами? Ведь для спасения много не надо: скажи вслух: «Наму Амида-буцу» — и готово. (Правда, желательно это повторять по многу раз каждый день). Забор этот — напротив большого храма Тионъин секты Дзёдо (Чистой Земли);



Смешение байкальского с французским посреди Японии (слева)

Заброшенная башня-кладовая кура рядом с храмом Хигаси Хонгандзи (справа)

для них этот способ весьма действенный. Или наоборот, спускаешься к югу по дороге к храму Китано Тэмман-гу, посвященному духу опального поэта и министра Сугавара Митидзанэ, и видишь, остановившись на перекрестке, слово «Байкал». Погруженный в мысли о погибшем в ссылке Митидзанэ и о собственной юдоли калики перехожего, начинаешь немедленно напевать: «Бродяга к Байкалу подходит...». Но тут же перебиваешь себя: «Wait a minute». Тут что-то не то: рядом с Байкалом написано: «Boulangerie» и «Patisserie». Это круто — посреди Японии назвать французистую булочную-кондитерскую «Байкалом».

Или взять заброшенную башню-кладовую *кура* посреди современной улицы рядом с храмом Хигаси Хонгандзи. Когда-то (да зачастую и сейчас) в таких миниатюрных крепостях с крошечными окошками хранили все ценности знатного дома (или храма) — на случай пожара или набега врагов. Но время склевало и эти куры... Что случилось с ее сокровищами (и их владельцами)?

В Киото еще осталось много старых кварталов с одноэтажными маленькими домиками *матия* — узкими фасадами, которые часто служили лавками для ремесленников и торговцев, живших в этом же доме в задних помещениях. Но они постепенно исчезают. Ведь надо признать, что

при всем эстетическом очаровании, традиционная жизнь в старом доме не может сравниться с жизнью в новом доме, напичканном коммунальными удобствами. Увы!

Начнем описание прогулок по Киото с юга, от вокзала, и пройдем на север по восточной части города, большую часть которой составляет район Хигасияма.

### Хигаси Хонгандзи

Исполинские ворота Гэй-до мон — это, пожалуй, первое, что обращает на себя внимание всех, кто, выйдя из главного входа железнодорожного вокзала, направляется по улице Карасума-дори на север. Эти ворота, похожие на дворец с двухъярусной крышей, поднимаются ввысь на 27 м, а количество изразцов, чуть не достигая 60 тысяч, весит несколько тонн. Ворота были воздвигнуты на исходе эпохи Мэйдзи, в 1911 г. Они ведут в Храм основателя (Гэй-до). Он был построен в 1895 г. и претендует на звание самого большого деревянного здания в мире. При размерах 52×47×29 м он, если и не самый, то безусловно очень большой деревянный дом без внутренних перегородок. Внутреннее пространство поддерживают 66 столбов, а пол устлан 401 татами. (Для сравнения: типичная площадь жилой японской комнаты — это шесть или восемь татами.) Центральный храмовый образ — статуя будды Амиды; по бокам от нее на алтаре размещены изображения принца Сётоку-тайси, первого покровителя буддизма в Японии, и семи индийских, китайских и японских



Внешняя стена комплекса Хигаси Хонгандзи



Гигантские ворота комплекса Хигаси Хонгандзи

предшественников Синрана, основателя течения в японском буддизме, к коему этот храм принадлежит.

В 2011 г. исполняется 750 лет со дня смерти Синрана, религиозного реформатора, основателя секты Дзёдо Син-сю — Истинно Чистой Земли. Эта секта была популярна в простом народе, поскольку не требовала пышной обрядности и эзотерического знания, как старые секты Сингон и Тэндай, и не считала, что человек сам может достичь духовной силы посредством медитации и суровой дисциплины, как учила популярная среди самураев школа Дзэн. Синран учил, что милосердный будда Амида, владыка Чистой Земли (т. е. рая где-то на западе), поможет, если ему истово молиться. Разумеется, это весьма упрощенный пересказ, но суть такова, что сальвационистский (проповедующий спасение) культ, каковой проповедовал Синран, был очень привлекателен. А для буддийских священников он был притягателен также тем, что разрешал жениться и рожать детей, чему сам подал пример.

Комплекс Хигаси Хонгандзи (Восточный Храм Изначального Обета) был основан в 1321 г. на том месте, где Синран был похоронен. Первым настоятелем храма стал правнук Синрана. Впоследствии храм, как обычно, много раз горел и разрушался (землетрясениями и противника-



Храм основателя Гоей-до

ми из других сект), а в последние десятилетия претерпевал еще и внутренние раздоры, в результате чего разделился на несколько независимых течений. (Так, он формально принадлежит сейчас секте Син-сю Отани-ха) и не имеет ничего общего с комплексом Ниси (Западного) Хонгандзи, который находится в пяти минутах ходьбы к западу. Этот западный, кстати, выглядит не столь грандиозно, но в него на протяжении последних пяти столетий свозили многочисленные сокровища скульптуры, живописи и каллиграфии (они хранятся в сокровищнице-куре, и их не показывают), а также малые архитектурные памятники — чайный домик Хиункаку XVI в. или несколько площадок для спектаклей театра Но, одна из которых считается самой старой, а другая — самой большой в Японии.

Кроме циклопических размеров мало что поражает внутри Зала Основателя. Разве что толстенная бухта каната, сплетенная из волос, пожертвованных во славу империи патриотически настроенными женщинами в конце XIX в. Или можно обратить внимание на резное завершение балок перекрытия — они изображают слоноподобного демона *баку* — поедателя дурных снов. Но неторопливо пройтись вдоль длинной внешней стены Хигаси Хонгандзи весьма приятно. Еще можно сесть на пол в галерее, при-

валившись к столбу в три обхвата толщиной, и медитировать над многосмысленными надписями, начертанными там и сям. Например, «Место, куда мы придем, наполнено светом» (ну, не знаю, не знаю...). Или: «Жизнь — это не единственное, что у нас есть. Еще и смерть» (вот это пожалуй).

### Сандзюсангэн-до

Если от юго-восточного угла Хигаси Хонгандзи пойти на восток по улице Ситидзё (Седьмой проспект), скоро пересечешь канал Такасэ и реку Камо. Направо впереди, за станцией метро Ситидзё, откроется храм Сандзюсангэн-до. Это неофициальное и широко распространенное название означает буквально «Зал в 33 проема», что передает восхищение длиной этого сооружения, которое называют самым длинным деревянным строением в Японии. (Его длина 118 м, что на самом деле составляет 33 двойных традиционных расстояния между колоннами.) Официальное название храма «Рэнгэо-ин» — Зал Лotosового Царя, но, наверно, самое популярное его название — «Храм тысячи будд».



Источник для омовения на территории храма Сандзюсангэн-до

Сандзюсангэн-до был заложен императором-монахом Го-Сиракава в 1164 г, в конце эпохи Хэйан. Он сгорел в 1249-м, но был заново отстроен спустя пятнадцать лет и стоит с тех пор. Посвящен он милосердной бодхисатве Каннон и является Лotosовым Царем и восседает в центре зала на лotosовом троне. Размер статуи исходит из меры в «дзёроку» — один дзё и шесть сяку,



Тысяча статуй Каннон

что считалось реальным ростом Будды, но действительная высота ее меньше (335 см), поскольку это сидящая фигура. У статуи одиннадцать голов и 42 руки. Столько голов понадобилось, чтобы наглядно изобразить обет бодхисатвы обращать лицо на призывы верующих во все восемь стран и полустран света, а также вверх и вниз. Число же рук вычислялось по сложной схеме: две главные (нормальные, так сказать) сложены перед грудью в жесте благословения (мудра *гассё*), а сорок дополнительных, приделанных по бокам, на самом деле означают тысячу рук, ибо каждая символизирует 25. В каждой Каннон держит символический предмет — полный каталог буддийской символики от посоха, зеркала и пламенеющей жемчужины до крюка, меча и черепа.

Но не этот величественный образ (в ранге национального сокровища) составляет главную особенность храма. Главное — это тысяча статуй Каннон высотой в человеческий (средний японский) рост, стоящих в десять плотных рядов справа и слева от главной алтарной статуи. Такого полного комплекта не осталось больше нигде в Японии.

Большая их часть была изваяна скульптором Танкэем и его учениками в 50-е гг. XII в., а 124 статуи уцелели с до-пожарных времен столетием раньше.

Такая огромная армия изваяний соответствует многосложной иконографической и теологической схеме. В главе Лotosовой сутры, посвященной Авалокитешваре (называемой по-японски Каннон), сказано, что бодхисатва может принимать 33 обличья (или манифестации), чтобы в зависимости от ситуации наиболее эффективно помогать людям. Среди этих манифестаций есть обличья в виде Будды или десяти небесных богов, или богача, или простого человека-домохозяина, детей и даже чертей. Отсюда 33 проема. Приходившие в храм медленно перемещались вдоль сплошного фронта статуй, символически проходя от одной манифестации к другой. Границы были четко обозначены несущими столбами. Такой же маршрут паломники могли проходить и в реальном географическом пространстве — по всей Японии была раскинута сеть из 33 храмов Каннон, обойти которые считалось душеполезным делом. В Сандзюсангэн-до этот святой маршрут существовал в наиболее конденсированном виде. На самом деле явлений разноликих Каннон там не 33, а 33 033. Арифметика тут простая: главная статуя плюс тысяча других — это 1001, что надо умножить на 33 — вот и получаем великолепно симметричное число в тридцать три тысячи да еще тридцать три.

Но и это еще не все. Помимо тысячи статуй, смотреть на которые грешному человеку скоро надоест (хотя знатоки различают в них разное выражение лиц и прочие тонкости), в Сандзюсангэн-до есть еще тридцать других изваяний. Это 28 небесных охранителей, стоящих в ряд перед тысячью бодхисатв, плюс статуя бога Грома, открывающая эту шеренгу, и статуя бога Ветра, шеренгу закрывающая. Среди них есть выдающиеся образцы скульптуры, которые воспроизводят во всех учебниках и популярных альбомах, например, устрашающе мускулистые Нараэнкэнго и Мисся-конго (первый сразу за Громовиком, а второй — перед Ветрилой), являются свирепыми стражами



Статуя милосердной бодхисатвы Каннон (слева)

Громовик Райдзин (справа)

ворот при всяком буддийском храме. (Их часто объединяют под одним именем Ни-о — Два царя.) У одного рот всегда открыт, словно он говорит: «Стоит, кто идет?», а у другого — закрыт, что означает: «Нечего тут разговаривать».

Сандзюсангэн-до с тысячей статуй и десятками тысяч рук (а лиц там, напомним, одиннадцать тысяч, если считать дополнительные головы) является противоположностью традиционным синтоистским святилищам, где изображения божеств были вообще не приняты, но поскольку все японцы в той или иной степени являются и буддистами и синтоистами одновременно, в них каким-то образом мирно уживаются чрезмерное идолопоклонство и пуристское иконоборчество.

Территория храма не столь живописна, как в большинстве киотских монастырей, но кое-что любопытное есть и там — источник для омовения, или еще стела, воздвигнутая Хонэнном (учителем Синрана) в тринадцатую годовщину смерти императора Го-Сиракава, или восхитительные своей неуместностью скамейки с отлитой в чугуне надписью: «Кока-кола».



## Киёмидзу

Выйдя из Сандзюсангэн-до и пройдя чуть на восток мимо бокового фасада Киотского национального музея с его великолепным собранием, можно повернуть налево (на север), пройти по улице Хигаси-одзи мимо храма Мёхо-ин (это штаб-квартира Сандзюсангэн-до) и через пять минут свернуть на большом перекрестке направо. Вскоре дорога приведет к храму Киёмидзу. Идти к нему надо, поднимаясь в гору мимо множества сувенирных лавок, — некоторые из них торгуют весьма качественной керамикой.

В Киёмидзу, основанном еще в 780 г. одной из древнейших японских буддийских школ Хоссо, также поклоняются одиннадцатиглавой и тысячерукой богине Каннон. Но не алтарный образ, а вид самого храма со стороны, с нависающей над крутым склоном террасой (а также вид с этой террасы) являются главными притягивающими факторами для миллионов посетителей. Оба вида, особенно в пору цветения сакуры или во время красных кле-



К храму Киёмидзу надо идти, поднимаясь в гору (слева)  
Трехъярусная пагода Коясу (справа)



Храмовый комплекс Киёмидзу

нов (*момидзи*), совершенно захватывающи. Во время момидзи (во второй половине ноября) там еще устраивают вечернюю иллюминацию — зрелище получается феерическое, но на любителя.

У подножия холма есть небольшой водопад Отова — святой источник, давший имя храму (*киёмидзу* значит «чистая, или святая вода»). Там полагается пить воду и загадывать желания. Струи водопада сейчас разделены желобками на три. Испить из первой струи — долго жить будешь, из второй — способным к учению будешь, из третьей испить — счастливым в любви будешь. К струйкам всегда очередь, однако пить из всех трех подряд считается неприличной жадностью. Оказавшись там в первый раз, я выпил из двух — но каких именно, толком не разузнал, и теперь время от времени думаю, что из самой главной струи я и не причастился. Впрочем, поскольку и в любви и в учебе могло бы быть явно лучше (про долголетие не знаю, ибо еще далеко мне до патриарха), вероятно, святая вода не пошла по назначению.

За храмом, чуть левее, есть маленький синтоистский храм Дзисю-дзиндзя, который знаменит своими «любов-

ными камнями» (*коцуранай-но сэки*). Это два больших булыжника, обвязанных священными веревками. От одного к другому (дистанция 18 м) ходят молодые люди с закрытыми глазами. Считается, если найти другой камень, не подглядывая, вскоре найдешь настоящую любовь. Можно использовать и поводыря — но тогда в любовном деле без свахи не обойтись. Кстати, кому повезет найти свою половину, приходят потом молиться к трехъярусной пагоде Коясу, что при входе в комплекс Киёмидзу с восточной стороны, — молитва там помогает успешному разрешению от бремени. А если кто-то хочет представить, каково там нерожденным младенцам в утробе, могут за небольшую мзду спуститься в подвал соседнего храма Дзуйгу-до (в самом центре комплекса Киёмидзу), посвященного матери Будды и воспроизводящего ее чрево. (Там очень темно и ничего не видно.)

### Ясуи Компира-гу

Если выйти из Киёмидзу и пойти на северо-запад, то минут через 10–15 (или намного позже — это зависит от того, с какой скоростью проходить по улочкам с лавками и ресторанами, многие из которых отменно хороши) можно набрести на храм Ясуи Компира-гу (через дорогу Хигаси-одзи). Он посвящен мифологическому силачу по имени Компира. Он вообще-то появился впервые в Индии под именем Кумбхира и был крокодиллом, но под воздействием проповеди Будды переменил нрав и стал одним из 28 охранителей, а оттуда перекочевал и в синтоистский пантеон. В старых гравюрах его нередко изображали в компании гейш и прочих куртизанок — их квартал, кстати, совсем недалеко.

Самое интересное в святилище Компиры — это небольшой музей *эма* — вотивных деревянных дощечек, на которых с древних времен изображались лошади в знак подношения храму (они заменяли настоящих коней, которые стоили дорого). Там есть и огромные панели, и эма детских размеров, но главное не размер, а то, что на них

нарисовано, — помимо лошадей уже давно изображают много всякого разного — зоодиакальных животных, на чей год приходится подношение, или композиции по свободной программе, включая неприличные.

Во внутреннем дворе храма — скульптурное сооружение, напоминающее лошадь. Точный его вид представить сложно, поскольку оно сплошь покрыто длинными бумажными полосками с предсказаниями счастья (или несчастья). Прихожане покупают их в будке по соседству, прочитывают, пролезают в дырку внизу и привешивают бумажку поверх других. Издали при дуновении ветра сооружение и впрямь может показаться долгогривой лошадкой — или, скорее, пони.



Чудище, сплошь покрытое бумажками

### Ясака-дзиндзя и Гион-мацури

Вернувшись на Хигаси-одзи и пойдя налево (т. е. на север), миновав здание масонской ложи, попадаешь к тории храма Ясака-дзиндзя. Первое святилище на его месте было основано, согласно преданиям, еще в 656 г., за полтора века до переноса в эти места столицы. С IX в. (и много веков впоследствии) храм назывался Гион-ся, по индийскому названию местности Джетавана-вихара, где обитал могущественный бог Госирша-дэвараджа, который умел насылать эпидемии, если его прогневят. Такое моровое поветрие свирепствовало в Киото в 869 г., и, чтобы ублажить бога, храм назвали местом его обитания и устроили

праздник Гион-мацури. С тех пор его повторяют каждый год в июле вот уже тысячу сто лет. И соседний квартал города, известный главным образом по увеселительным заведениям с гейшами, получил название Гион. Название же Ясака (Восемь Холмов) — сравнительно новое, присвоенное храму после разделения буддизма и синтоизма в конце 1860-х. Старое же имя было овеяно легендарной славой. Военная эпопея «Сказание о доме Тайра» («Хэйкэ-моногатари») открывается следующими словами, которые в Японии знают все:

*Голос колокола в обители Гион звучит  
непрочностью всех человеческих деяний.*

*Краса цветков на дереве сяра являет  
лишь закон: «живущее — погибнет».*

*Гордые — недолговечны: они подобны  
сновидению весенней ночью.*

*Могучие — в конце концов погибнут:  
они подобны лишь пылинке пред ликом  
ветра.*

Перевод Н. И. Конрада



Тории храма Ясака-дзиндзя

Храм переименовали, но название Гион осталось за соседним кварталом, также известным своими быстро вянущими цветами — гейшами. Кстати говоря, имя Гио, созвучное обители, носила одна из наиболее запоминающихся персонажей в «Сказании о доме Тайра» — наложница Тайра Киёмори, главы клана. О ее романтической и трагической истории речь пойдет дальше, при описании маленькой обители Гиодзи.

Вокруг Ясака-дзиндзя расположено множество ресторанов и чайных домиков, где можно уютно посидеть, хотя не во все заведения с гейшами легко войти. Их искусство все-таки рассчитано на понимающих японцев, а не на бестолковых гайдзинов, от которых никогда не знаешь чего ожидать. Впрочем, сначала о божественном — о святилище, а потом — о гейшах.

Массивные красно-оранжевые ворота, расположенные за бетонными тории, сделаны по образцу ворот в буддийских храмах. В зарешеченных клетушках по сторонам от прохода сидят синтоистские ипостаси свирепых буддийских охранителей — но не мускулистые полуголые не-



Главное здание святилища Ясака

бесные цари, а земные *ками*, которые хоть и вооружены луком и стрелами, в своих мешковатых одеждах и с одутловатыми физиономиями выглядят совсем не страшно. Шапочки же у них из накрахмаленной кисеи таковы, что, чтобы сохранить их на макушке, этим лучникам не только что в бой вступить противопоказано, но и вообще резкие движения совершать не стоит. Синтоизм вообще весьма мирная религия — разве что боги иной раз свой божественный ветер пошлют (*камикадзе* по-японски).

На воротах и по всей территории святилища развешано множество бумажных фонарей. Особенно много их под крышей открытой сцены для театральных постановок на центральной площади комплекса. Фонари подарены прихожанами, в основном окрестными бизнесменами. По вечерам в них загораются лампочки (уввы, электрические), и зрелище получается совершенно чарующим — мягким осенним вечером, когда фонарики качаются ночные, когда на улицу приятно выходить... Кстати, фонарей там очень много. И все они новехонькие — в отличие от фонарей храма Компиры, где у многих бумага продрана, а некоторые и совсем исчезли, и на их месте болтается голая лампочка в сорок ватт. Хоть первый иероглиф в слове



Мирный синтоистский страж  
в воротах

Компира и означает «золото» или «деньги» — похоже, с золотишком в храме есть проблемы.

Главное здание святилища Ясака не слишком интересно. Оно чересчур ярко покрашено, хотя тем, кто любит веселенькое, должно понравиться, — это сильный контраст с потемневшим некрашеным деревом буддийских храмов.

Из Ясака-дзиндзя два шага до большого парка Маруяма, где всегда можно увидеть рикш, ожидающих клиентов, и довольно часто заметить гейш. Кстати, удивительное, казалось бы, дело: за последние годы число рикш сильно возросло. Вроде бы вестернизированные молодые люди, которые в Японии шагу не могут ступить без электронных прибабасов и полные всяких западных идей про то, что человек — это звучит гордо, не должны выбирать себе такую работу. Весьма нелегкую физически, не говоря уж о том, что свободному человеку не должно нравиться, когда на нем ездят. Тем не менее возврат к такой деятельности, пожалуй, в масштабах всего общества уравнивает быструю нивелирующую интернационализацию. Ни с того ни с сего часть молодых людей вдруг вынимает из ушей айподы и впрягается в оглобли лакированных двуколок, а другие молодые люди (возможно, айподов не снимая) к ним в коляски садятся. Кстати, я замечал, что иностранцев на рикшах ездит совсем немного. Возможно, какие-то внутренние установки действуют, а возможно, цены: полчаса на двоих — это 8–10 тысяч йен (100–120 долларов осенью 2010 г.).



Бумажные фонари под крышей открытой сцены  
на центральной площади комплекса

Праздник Гион-мацури, который зародился в Ясака-дзиндзя в IX в., ныне, как считается, самый популярный и самый длинный храмовый праздник в Японии. Из месячных мероприятий самых интересных два: парад платформ 17 июля и гулянья в течение трех предшествующих вечеров.

Платформы для шествия бывают двух типов: *яма* и *хоко*, а весь парад известен как *ямабоко дзюнко* — шествие яма и хоко. Последних строят всего девять, и они особенно впечатляющи — с высокими шпилями до 25 м (хоко означает копье, или алебарда). Платформ яма бывает ровно 23. Некоторые выглядят столь высокими и шаткими, что непонятно, как они не падают набок. Впрочем, крепкие молодые люди в смешных униформах условно тысячелетней древности во время шествия держат вокруг платформ натянутые веревки и не дают сооружениям завалиться.

За три дня до шествия полностью собранные платформы открывают для обозрения. Их выставляют в нескольких кварталах к западу от Ясака-дзиндзя, у перекрестка Сидзэ и Карасума-дори. С шести часов вечера окрестные улицы закрывают для движения транспорта, и толпы зрителей могут поглазеть на платформы и даже забраться в некоторые из них. Вокруг, разумеется, море разливанное походных палаток, обеспечивающих выпивкой и закуской. Вечера эти называются *ёияма* (14 июля), *ёиёияма* (15 июля) и *ёиёиёияма* (16 июля).

Процессия отправляется в девять утра на следующий день и за несколько часов с песнями и плясками обходит центральные кварталы по улицам Сидзэ-дори, Каварамати-дори и Ооикэ-дори. Красочно, шумно, жарко. Чисто...

На одной из платформ восседает набеленный и обряженный как кукла маленький мальчик — выбранный на этот год вестник от небесного бога. Согласно строгим правилам ритуального очищения, он не может коснуться земли начиная с 13 июля.

## Квартал Гион

Квартал Гион начинается сразу за святилищем Ясака-дзиндзя к западу и тянется до реки Камо. Это самый большой и самый известный квартал развлечений в городе, хотя есть и другие — это соседний и не менее живописный Понтотё, на одноименной улице на другом берегу Камо-гавы, а также Камиситикэн, что рядом с храмом Китано Тэмман-гу. (Интересно, что на строительство нескольких чайных домиков в этом районе пошли оставшиеся от ремонта в храме стройматериалы. Можно сказать, что молитва и порок или, скажем помягче, святость и развлечения никогда не расходятся в Японии далеко друг от друга. Можно вспомнить еще средневековые истории про монахов и куртизанок.)

Узкие улицы в квартале Гион застроены старыми деревянными домами классической киотской наружности: узкие скромные фасады, часто украшенные одним лишь бумажным фонарем и короткими шторками *норэн*. Основные помещения — глубоко внутри; большей частью это маленькие комнатки для небольших компаний. Самая популярная улица в Гионе — это Ханами-кодзи, что идет с севера на юг от Сидзэ-дори до дзэнского монастыря Кэнниндзи. Типов заведений на этой улице два: дорогие рестораны, где угощают формальными обедами *кайсэки рёри* с двумя десятками крошечных блюд, и еще более дорогие чайные домики (*отья*), где, собственно, гейши и развлекают гостей. (В ресторанах они могут быть, но чаще их нет.) В программу развлечения входит привечание, улыбание, подливание (саке и чая), рассказывание смешных историй, пение и танцы (но не лэп-дансинг). Вообще, эротический элемент, безусловно, присутствует, но проходит по ведомству театрализованного и ритуализованного флирта, не предполагающего особых вольностей со стороны гостей. Собственно, среди гостей в приличных чайных домиках редко бывают иностранцы — с ними, безъязыкими, и не пошутить тонко, и гогочут невпопад и неизвестно чему, да и руки распускают после третьей

чарки (размером с наперсток). Поэтому по большей части туристы могут лишь ходить по кварталу, придумывая себе невесть что о развлечениях в задних комнатах и фотографируя случайно перебегающую дорогу *гэйко* или *майко*. Просить сфотографироваться с ними в обнимку не стоит: они не любят эти штучки.

Способов оказаться в обществе гейш в принципе два. Первый — это пойти в чайный домик со знающим японцем, который возьмет на себя переговоры и бронирование и поручится, что гайдзин не будет безобразничать (но в строгих домах и ему без серьезной рекомендации могут отказать). О том, что получится, можно сказать только одно: удовольствие будет весьма недешевым. А разочаруется человек или нет — это уж как придется. Ведь вот как, например, описывал развлечения с гейшами святой равноапостольный Николай, русский миссионер в Японии, попавший некстати в веселую гостиницу: «Ночью до двух с половиною часов и дольше внизу подмною было чертово игрище: ночевали купцы, призвали гейся с дрянными сямисэн'ами. Пили, ели, хохотали, возились со служанками и гейсями, которых смех и писк раздавался в диссонанс с безобразной музыкой...» (Дневник, 1908, 7/20 августа.) Замечу, что епископ Николай был порядочный мизантроп, к тому же стар (72 года). Да и кому охота слушать чужой пир за стенкой. В общем, я его понимаю.

Второй способ проще: пойти в Гион-кона (Gion Corner, произносится как и пишется), большой развлекательный комплекс на Ханами-кодзи, и купить билет на представление с гейшами специально для иностранцев. Оно включает в себя всего понемножку — быстренько, но изящно они покажут, как делать икебану, взболтают зеленую пузырчатую жижу в чайной церемонии, споют песенку и сыграют комическую сценку, а также спляшут, что будет представлять собой долгое хождение по сцене с непроницаемыми лицами и помахивание длинными рукавами. Что-то в этом, конечно, есть. Но чего-то все-таки не хватает.

## Тионъин

Сразу на север за парком Маруяма (который, напомним, простирается к востоку от Ясака-дзиндзя) есть тот самый забор со словами «Наму Амида буцу», начертанными русскими буквами, а через дорогу от забора — циклопические тройные ворота Саммон главного центра секты Дзёдо храма Тионъин. Они чуть-чуть пониже ворот храма Хигаси Хонгандзи (24 м), но много шире (50 м), а потому считаются самыми большими деревянными воротами в Японии. Построены они в начале XVI в. Величина ворот вызывает размышления: почему они такие устрашающе огромные здесь и в Хигаси Хонгандзи и, как правило, намного меньше, скромнее и соразмернее человеческим масштабам при храмах и монастырях школы Дзэн? Может, все дело в том, что Тионъин построен приверженцами Чистой Земли (Дзёдо), а секта эта была популярна в простом народе, который, как известно, всегда предпочитает большое и внушительное. Вспомним к тому же Большого Будду в Камакуре — той же секты. А в Дзэн люди были по-



Циклопические тройные ворота Саммон комплекса Тионъин



Главный храм Миэ-до (вверху)  
Интерьер храма Амида-до (внизу)

тоньше и поумудренней и знали, что, как говорится, «size does not matter».

За воротами широкая каменная лестница ведет к усыпанной гравием площади, на которой стоят главный и столь же большой храм Миэ-до и несколько других. В Миэ-до центральный алтарный образ представляет собой большую статую святого Хонэна, основателя секты Дзёдо. Кстати, в 2011-м исполняется 800 лет со дня его смерти, по поводу чего в Тионъине в марте — апреле будут грандиозные торжества. Это Хонэн первым решил, что простому человеку достаточно верить в будду Амиду и призывать его имя, а остальное все приложится. В небольшом сооружении за Миэ-до устроена усыпальница Хонэна, в коей хранится его пепел. Рядом, у покоев настоятеля (*ходзё*) там есть интересный сад, куда пускают за особую плату.

Поближе к воротам есть храм Амиды — Амида-до. Огромная позолоченная статуя мистически сияет голым торсом в глубине темного алтаря. Довольно часто там можно стать свидетелем службы, которую заказывают многочисленные прихожане. Посмотреть и послушать можно стоя на веранде, у порога раскрытых дверных проемов. Внутри залезать во время службы неприлично — там сидит какая-то семья, заплатившая за мероприятие.

### Нандзэндзи

Марафон по Хигасияме, восточной части Киото, можно продолжить походом до Нандзэндзи, верховного когда-то центра Дзэн в столице. Идти от Тионъина где-то минут 15 на северо-восток.

Места эта издавна славились красотой — вокруг пологие горы в разноцветной листве, и император Камэяма построил здесь виллу. Потом он обратился к Дзэн, отрекся от престола, стал государем-монахом и передал виллу в собственность монахам. Так, с 1291 г. был основан монастырь Нандзэндзи на горе Дзуйрюсан — Сокровища Дракона. Первоначальное строительство завершил второй



**Ворота монастыря Нандзэндзи на горе Дзуйрюсан  
(Сокровища Дракона)**

настоятель Нанъин-кокуси, семисотлетие со дня смерти которого отмечалось в 2010-м. Прочные связи с императорской фамилией обеспечили Нандзэндзи первенствующую роль в иерархии главных дзэнских монастырей столицы (так называемых Пяти Гор). Нандзэндзи считался принадлежащим к Пяти Горам, но не входил в их число, а числился сверху.

Это был один из главных центров средневековой учености в Японии. Образованные монахи были в то время главными проводниками китайской культуры, и вместе с Дзэн они переносили на родные острова лучшие достижения китайской литературы и искусства. Вот, например, один из старейших рисованных коанов китайского мастера Ма Гунсяня (сер. XII в.): «Встреча мастера Яошаня Вэйяня с губернатором Ли Ао». Ли Ао (по-японски Ри Ко, ум. ок. 844), губернатор провинции, прослышал, что в его краях живет мудрый чаньский отшельник Яошань Вэйянь (Якудзан Игон, 751–834). Он как простой человек пришел к мастеру, но тот не обращал на него никакое-

го внимания. «Видеть вас совсем не то, что слышать ваше имя», — сказал раздосадованный визитер и повернулся, чтобы уйти. «Губернатор!», — воззвал монах и, когда тот обернулся, спросил, почему он предпочитает слышать, а не видеть. Тут Ли Ао спросил, что есть Дао. Монах показал молча вверх и вниз, а потом пояснил: «Облака вверху, а вода в кувшине».

Так, с начала XV в. вошли в моду пейзажные свитки, написанные одной черной тушью. Их создавали не профессионалы-ремесленники, а образованные монахи, для которых это было частью духовной практики. Монастырь Нандзэндзи был одним из первых, где это началось.

Поскольку монастырь был большой, с сотнями насельников, тем, кто искал сосредоточенности и тишины, вероятно, было не всегда достаточно спокойно. Из-за этого в Нандзэндзи и сопредельных Пяти Горам зародился уникальный жанр — сёсайдзу, или «картины ученых келий». Наиболее ранний свиток этого типа носит название «Хижина у горного потока» («Кэйин сётику»). Он до сих пор хранится в Нандзэндзи и имеет ранг Национального сокровища. Изображение приписывается видному монаху-художнику Минтё (1351–1431) из монастыря Тофукудзи — одного из Пяти Гор. Прозаическое вступление Тайхаку Сингэна (1358–1415) имеет дату — «год Воды и Змеи эры Оэй» (1413). Текст повествует о том, что некий монах с Драконьей Горы (Нандзэндзи) по имени Сихаку-дзюн построил себе хижину для ученых трудов и нарек ее «Горный поток». Хотя и была она внутри города, в монастыре, но в сердце своем он хотел, чтоб она была в горах, у глади синих вод. Зная о его настроениях («зная его сердце»), друг его, художник, нарисовал ему картину и попросил других друзей, поэтов, надписать ее. Законченный свиток был поднесен по дружбе. Именно в этом свитке появляется выражение «картина сердца» (*кокоро-но га*), весьма популярное в японском средневековом искусстве. Считалось, что воображаемые пейзажи идеальных мест, написанные в свободной, иногда почти абстрактной манере,



наилучшим образом отвечают задаче передачи «сердца» (внутреннего настроения) художника, а с другой стороны, они отлично помогают «переменить сердце» тем, кто эти пейзажи сосредоточенно созерцает.

Возможно, этот Сихаку построил Конти-ин — ныне один из тринадцати малых полусамостоятельных храмов на территории Нандзэндзи, а тогда самый первый скит такого рода (их называли *таттё* — «отдельно стоящий»). Свиток, написанный для Сихаку почти шестьсот лет назад, до сих пор хранится именно в Конти-ине. Его достают из футляра и экспонируют крайне редко. Я его видел на выставке сокровищ из Нандзэндзи в Токийском национальном музее в 2004-м, но, возможно, кому-то может и повезет увидеть эту уникальную картину непосредственно в Конти-ине, куда пускают за отдельную плату.

Известным образцом типа «картины ученых келий» является свиток, написанный для монаха, известного по сокращенному имени Ко из Нандзэндзи, и хранящийся в Национальном музее в Токио, изображение на этом свитке приписывается Сюбуну. Свиток известен под названием «Чтение в Бамбуковой хижине», 1447 г. Несколько стихотворений воспевают прелесть уединенной жизни и красоту места. Вот одно из них, принадлежащее известному поэту, монаху из Нандзэндзи Сонгану Рэйгэну:

*Лицом к воде, у любимых гор — лишь  
надлежит ставить хижину.*

*Просто «Роцца узорчатого бамбука» —  
называется моя обитель.*

*На запоре ворота не потому, что не  
рад прекрасным гостям.*

*Ежедневно я занимаюсь, но только  
печалюсь, что мало для чтения книг.*

Крошечная фигурка, склонившаяся над книгами в открытом, продуваемом мировыми ветрами и затерянном в горах домике, — это квинтэссенция поэтического духа Дзэн. Дух этот нелегко почувствовать — масса написанного по его поводу сильно мешает. Даже оказавшись на тер-

ритории прославленного монастыря, можно подчас не проникнуться ничем, кроме скуки, а оказавшись в саду камней, поймать себя на том, что вместо расслабленного благорастворения пересчитываешь, сколько там набросано этих неотесанных обломков горной породы. Наверное, стоит узнать, что тут было раньше, и постараться представить ту атмосферу. И прийти еще раз.

На территории Нандзэндзи есть несколько прославленных садов. Это, например, открытый для посетителей сад при маленьком храме Нандзэн-ин. В нем есть искусственный пруд, а на нем маленький остров Журавля и Черепахи. В углу сада, за павильоном (в похожем шатком строении, вероятно, предавались поэтическим утехам дзэнские поэты и художники в XV в., есть маленькая каменная пагода — надгробный памятник одному из важнейших персонажей в истории японского Дзэн — китайскому чаньскому мастеру по имени Ишань Инин (Исан Итинэй, 1247–1317), который был равно сведущ в неоконфуцианстве, поэзии и каллиграфии и для японских монахов был одним из главных культурных героев.

Самый знаменитый сад в Нандзэндзи находится при покоях настоятеля (*ходзё*). Он принадлежит типу сухого дзэнского сада, с обилием камней и мелкой гальки. Но есть также и кустарники и несколько деревьев по краям, т. е. принцип «сухости» не слишком строг (как, например, в саду



Чтение в Бамбуковой хижине.  
Свиток. 1447

Сад при маленьком храме Нандзэн-ин →





Нандзэндзи. Сад при покоях настоятеля (ходзё)

Рёандзи). Этот сад был разбит знаменитым художником и пейзажным архитектором Кобори Энсю около 1600 г. В нем активно использован принцип «одолженной сценичности» (*сяккэй*) — т. е. существенной частью визуального впечатления являются виды окружающих холмов и отдаленных гор — с их то зелеными, то желто-красными коврами листвы. Этот сад называют «Тора-но ко ватаси» (букв. «Переправляющиеся тигрята»). Несколько камней в углу напоминают (при весьма богатом воображении, впрочем) группу из трех-четырех тигрят, которые плывут через реку сухой гальки. Кстати, о тиграх: несмотря на то что в Японии они не водились (а может быть, именно поэтому), их чрезвычайно любили изображать. Должно быть, символическая нагруженность образа тигра, пришедшая из Китая, являлась источником неиссякаемого интереса. Вот и здесь, в настоятельских покоях, есть знаменитые стенные росписи *фусума* с изображением четверки тигров на золотом фоне. Они традиционно приписываются кисти художника XVII в. Кано Танью. Особенно хорош один — пьющий из реки. Нарисованный с весьма относи-

тельным анатомическим успехом, он тем не менее привлекателен выражением морды, напоминающей страдающего от жажды доброго пьяницу. В октябре 2010 г., когда я хотел снова на него полюбоваться, оказалось, что панели впервые за много-много лет увезли на выставку в Нагою — выставка называется «Тигр в искусстве». Зато в виде компенсации была открыта соседняя комната с журавлями на золотом фоне. Такие монастыри-сокровищницы тем и хороши, что никогда не знаешь, что там можно увидеть.

Вот уж что я никак не рассчитывал увидеть в дзэнском монастыре, так это персидский (или турецкий, какая разница) ковер, положенный на татами, а на нем — стулья. Очевидно, таким образом настоятель монастыря приобщал вверенное ему учреждение к «интернационализации», весьма популярной нынче в Японии. Вот и говори после этого, что у японцев вкус никогда не отказывает! Впрочем, тайные мотивы просветленного мне неизвестны, может, за всем за этим кроется некое *самори*.

### Философский путь

К северу от Нандзэндзи начинается узкая дорожка вдоль канала, которую называют «Тэцугаку-но мити», или «Дорога Философа», или «Тропинка Философов», или «Философский путь». Ее назвали так, потому что виднейший японский философ первой половины XX в. Нисида Китаро ходил этой дорогой в университет, где он преподавал много лет, и медитировал по дороге. О его философии говорят, что он соединил Дзэн с экзистенциализмом; они достаточно трудны по отдельности, чтобы я мог в точности постичь, в чем суть такого соединения. Еще говорят, что название придумано не без аллюзии на Путь Философов в Гейдельберге. Весьма правдоподобно — оба отменно живописны, и трудно сказать, какой более красив. В Гейдельберге, впрочем, открывается панорамный вид на город, от коего захватывает дух.

В Киото дух захватывает от цветения сакуры, которая накрывает дорожку и канал нежно-розовым туманом

на несколько дней в году в начале апреля. Канал — это часть гидросистемы, отводящей воды озера Бива в Киото. В Нандзэндзи, который в низине, канал превращается в акведук, что смотрится со всеми его арками крайне неожиданно в дзэнском монастыре.

На протяжении двухкилометрового пути есть несколько маленьких храмов, художественных лавок и уютных кафе. В будний день людей на дорожке немного — наверно потому, что большинство туристов предпочитают два километра на чем-нибудь проехать. Очень зря: такая прогулка — часть аутентичного опыта пребывания в Киото.

### Гинкакудзи

Философский путь приводит к храму Гинкакудзи, более известному как Серебряный Павильон. Без долгих рассуждений его можно назвать душой Японии. Собственно, так назвал Гинкакудзи старейший американский японист Дональд Кин в своей книге о восьмом сёгуне из династии Асикага — Асикага Ёсимасе. Серебряный Павильон, до того как стать дзэнским храмом, был его загородной виллой и средоточием художественных вкусов эпохи Муромати (XIV–XVI вв.). Он был построен в 1482-м, и его роль в культуре того времени была столь велика, что целый исторический период стали называть культурой Хигасияма — по окрестным горам. Роль Ёсимасы — человека с тонким вкусом, некоторым литературным талантом и большими деньгами — в сложении нового стиля культуры была определяющей. Он диктовал свои художественные пристрастия в поэзии, живописи, искусстве сада, чайной церемонии, театре Но — всем этим искусствам Ёсимаса покровительствовал и во всех разбирался. Сравниться с Ёсимасой по значению для последующего развития культуры и искусства в Японии может только один человек — его старший современник Иккю, человек-эпоха. Но его воздействие, не менее, а пожалуй, более значительное, было иным по характеру. Впрочем, об Иккю будет случай поговорить особо.

Серебряным Павильоном главное строение Гинкакудзи прозвали по аналогии с Золотым Павильоном, Кинкакудзи, который построил дед Ёсимасы, третий сёгун Ёсимицу, на другом конце Киото, в районе Китаяма. Вкусы Ёсимицу отличались экстравагантной пышностью, и он приказал покрыть свою виллу позолотой. Вкусы Ёсимасы были сдержаннее и изысканнее, так как он вдохновлялся эстетикой *ваби-саби* — скромной простотой, неброскостью. Истинно красивое — будь то дом, домашняя утварь или картина — должно было казаться слегка припорошенным патиной времени, хранить отблеск благородной потертости и элегантно бедности. Как полный эстет и законченный декадент, Ёсимаса может быть уподоблен человеку чрезмерно утонченного и порочного Серебряного века. Таким он и был.

Время Ёсимасы было временем крупнейших исторических катаклизмов в Японии. Именно тогда десять лет длилась взаимоистребительная война — Смута годов Онин (1467–1477), во время которой столица была практически полностью (и не один раз) сожжена. Посреди голода и разрухи Ёсимаса предавался изящному ничегонеделанию и утонченным излишествами. Один из первых исследователей японского искусства американец Эрнест Феноллоза назвал Ёсимасу «Лоренцо Великолепным Востока», а по словам Дональда Кина, «самый большой недостаток Ёсимасы — его неспособность быть военачальником — был его спасением». Все дружно ругали Ёсимасу за отсутствие твердой руки и воли, но он ничего не мог поделать с взаимоистребительными позывами крупнейших самурайских кланов. Вместо государственных дел и решений он совсем устранился от дел и демонстративно не обращал внимания на военные действия, которые в течение нескольких лет происходили часто на расстоянии нескольких сот метров от его дворца и сада. Например, когда в десятом месяце (ноябре) 1467 г. разгорелась битва между войсками родов Ямана и Хосокава в монастыре Сёкокудзи и дымом от его горевших построек заволочло Дворец Цветов Ёсимасы, все во дворце метались в панике,



Аллея в Гинкакудзи между главными и средними воротами

кроме него самого — он невозмутимо продолжал собираться на поэтическую пирушку. Временное перемирие внес посланец императора (когого также отделяли от театра военных действий лишь немногие сотни метров), но все же монастырь выгорел дотла.

На территории своей виллы Ёсимаса хотел создать эстетический парадиз, своего рода Чистую Землю здесь и сейчас. Эстетика, медитативная практика и образованность у Ёсимасы были дзэнскими, но ему так сильно хотелось жить в Чистой Земле, что он тяготел и к секте Дзёдо син-сю. В результате комплекс построек с садом стал действительно выражать *Нихон-но кокуро* — душу Японии. При этом официальное название Гинкакудзи — Дзисёдзи — Храм Сияющей Благодати. Он относится к группе дзэнских храмов под главенством большого монастыря Сёкокудзи, расположенного к северо-западу. (Дзисё — было монашеское имя Ёсимасы, и так комплекс стал называться после его смерти в 1490 г.)

Необычность Гинкакудзи чувствуется уже при вступлении на территорию. Аллея между главными и средними воротами обрамлена бамбуковыми заборами, за которы-



Гора Сумеру и Серебряный Павильон

ми поднимаются две сплошные стены живых молодых бамбуков. Этот специфический тип изгороди получил название «Забор Гинкакудзи». Длина аллеи не более 50 м, но проход по ней словно отрезает мир за бамбуковыми стенами и очищает сознание ступившего на этот путь от всего внешнего.

Все центральное пространство Гинкакудзи занимает большой пейзажный сад. В отличие от большей части садов камней в дзэнских монастырях, которые предназначены только для любования извне, с веранды, в этом саду можно ходить по дорожкам и любоваться им с разных углов и точек. Разбивка сада на пейзажные элементы и обилие мхов заимствованы Ёсимасой из Сада Мхов в Сайходзи, который за сто с лишним лет до него спроектировал дзэнский священник Мусо Сосэки. На видном месте, перед самым Серебряным Павильоном, устроен идеально ровный усеченный конус из белой мелкой гальки. Это *когэцудай* — Платформа для любования луной. С этого места (не с конуса — его сделали позже — а с этой точки) Ёсимаса предпочитал любоваться луной на фоне окружающих гор. Одну из этих гор, кстати, называют Цу-

киматияма — Гора Ожидания Луны. Лунный свет отражается и от конуса (это вселенская гора Сумеру на символическом уровне, хотя некоторые утверждают, что это гора Фудзи, что вполне вероятно, поскольку в эпоху Эдо, когда насыпали этот конус, своя Фудзи стала более популярной, чем далекая и мифологическая индийская Сумеру). Свет также отражается и от ровных волн, устроенных граблями дорожек вокруг конуса, и от пруда и озаряет призрачным полусветом темный павильон, крытый щепой. Его официальное название — Каннон-дэн (Зал бодхисатвы Каннон), он был заложен в 1482 г. В ясную ночь на нем играют серебряные блики. На первом этаже Ёсимаса практиковал медитацию; это помещение он назвал Синкудэн (Зал Опустошения Сердца — имеется в виду от страстей и суетных помыслов). На втором был устроен алтарь в честь Каннон — Тёнкаку (Зал Слушания Волн — вероятно, волн лунного света, бликовавшего на бороздках гравия внизу.) Особенно хорош Серебряный Павильон зимой — снег добавляет ему заповедной чистоты и тишины.

Другое здание, через пруд от Серебряного Павильона, значительно меньше и менее выразительно снаружи, но совершенно уникально внутри. Это Тогудо — самый первый в Японии дом с интерьером в стиле *сёин* и самый старый, сохранившийся до наших дней чайный домик. Слово *тогудо* состоит из иероглифов «восток», «искать» и «зал». Смысл же его должен быть изложен многими словами: «[Человек с] востока (намек на Дворец Восточной Горы в районе Хигасияма, т. е. на самого Ёсимасу) ищет [Чистую Землю на западе]». Соответственно, название намекает на приверженность Ёсимасы идеям школы Дзёдо, несмотря на его пострижение в дзэнские монахи (достаточно, впрочем, формальное) и на дзэнские эстетические вкусы (вполне, надо полагать, искренние). Тогудо был построен как частный дом для Ёсимасы, в котором он мог предаваться творческим досугам — сочинять стихи и заниматься каллиграфией. Для этого там был спроектирован кабинет литератора с большой плоско-



**Тогудо — самый первый дом с интерьером в стиле сёин и самый старый сохранившийся до наших дней чайный домик**

стью для письма и чтения у окна (своего рода широкий подоконник). Этот дизайн станет впоследствии типичным на несколько веков — собственно, стиль *сёин* и переводится как «кабинет для письменных занятий». Комнатка очень мала — всего четыре с половиной татами, но впоследствии это станет стандартным размером комнат в чайных домах для церемонии в дзэнском стиле *ваби*. В этой же комнате Ёсимаса принимал гостей — поэтов *рёнга*, с которыми он совместно сочинял стихи по кругу, и проводил чаепития, и наслаждался ароматическими курениями (*кикико*).

Эту комнату (собственно, в Тогудо всего две маленькие комнаты — приемная, где сейчас стоит ритуальная статуя Ёсимасы в буддийском облачении, и главная) Ёсимаса назвал «Додзинсай» — что можно перевести как Студия Равного Благоволения. Выражение *додзин* взято из китайского классика Хань Юя и полностью выглядит так: «Совершенноумудрый относится к каждому с равным благоволением (или гуманностью)».

Участие в проектировании Тогудо принял ученик Иккю по имени Мурата Сюко, первый чайный мастер на службе у Ёсимасы (и первый чайный мастер на государственной службе вообще, ибо чайное действо тогда только зарождалось). Сюко также создал перед ним маленький садик. Он состоит практически из одного лишь мелкого гравия, местами попросту крупного песка. Он является истинным соответствием чайному действу в духе ваби, ибо сквозь его несколько унылую серую однообразность проглядывает прикровенная изысканность. Этим блеском обыденность озаряется по вечерам, когда восходит луна и ее матовое мерцание обращает поверхность прозаического гравия в тускло отсвечивающее серебро. Образ луны появляется в стихотворении Ёсимасы об этом саде:

<i>Вага ио ва</i>	<i>Мой домик стоит</i>
<i>Цукиматияма-но</i>	<i>у подножия горы</i>
<i>Фумото-нитэ</i>	<i>«Ожидать луну».</i>
<i>Катамуки цуки-но</i>	<i>И мысли мои идут</i>
<i>Кагэ-о си дзо омоу</i>	<i>к гаснущей в небе луне.</i>

Гаснущая, исчезающая в небе луна является параболой, подходившей к завершению жизни Ёсимасы, а вместе с тем эта танка может рассматриваться как одно из первых воплощений настроения ваби.

Интимный характер церемонии, в которой обычно участвовали два-три и никак не более четырех-пяти человек, исключал необходимость большого пространства. К тому же размеры и не рассматривались как искусственно тесные. Напротив, они следовали размерам хижины благочестивого мирянина Вималакирти, которая, как следует из «Вималакирти-нирдеша сутры», вмещала, в представлении ее хозяина, всю Вселенную. Кстати, когда мне довелось побывать в этой комнатке, со мною был еще один японец и местный служитель-рассказчик. Для троих помещение было идеального размера. Еще один мог бы без особых проблем расположиться рядом на татами (стоять там не предполагается, надо сидеть), но больше народа создавало бы тесноту.

На двойной полке *тигайдана* слева от окна можно видеть чашу *тэммоку*, матово поблескивающую черной глазурью. Этой чашей пользовался сам Ёсимаса, а ввел использование тэммоку в чайной церемонии Сюко. Употреблявшиеся на церемониях у Ёсимасы селадоны Сюко заменил тэммоку с черной глазурью и золотой отделкой, так как китайский фарфор был весьма дорог и к тому же в зеленовато-серых селадонах чай казался мутным. Сосуды тэммоку Сюко заказывал по своим эскизам в знаменитых керамических мастерских местности Сэто. Сейчас самые старые японские чаши стиля тэммоку сохранились в Тогудо и в Синдзюане — мемориальном храме Иккю, учителя Сюко.

К сожалению, Тогудо обычно закрыт для посещения. Раз в несколько лет, впрочем, его открывают на месяц, когда хотят собрать дополнительные деньги, — вход в него (в две маленькие комнатки без росписей и статуй будд) стоит тысячу йен. Справедливости ради следует добавить, что за эти же деньги пускают и в соседний Хондо (Главный зал), построенный в начале XVII в. и ничем особенно не примечательный, за исключением неплохих стенных росписей знаменитых в период Эдо художников Ёса Бусона и Икэ-но Тайга, а также новейших росписей, сделанных уже в нашем веке. Но Хондо открывают столь же редко, что и Тогудо (последний раз — в октябре 2010 г.). Что же касается самого Серебряного Павильона, то его для публики не открывают никогда. Я думаю, это правильно: если это душа Японии, нельзя же в душу всем подряд лезть! Но прийти туда и побродить по саду, посмотреть на все это — необходимо. Иначе посещение Киото не будет считаться за настоящее.

## КИОТО. СЕВЕРО-ЗАПАД

**В** северо-западной части города есть группа буддийских храмов и монастырей первостепенного значения для истории Дзэн в Японии и как памятники истории культуры и искусства. Все они на расстоянии в 20–30 минут ходьбы друг от друга, если идти по дороге Кинукакэ-но мити — Ниннадзи, Рёандзи, Кинкакудзи, Дайтокудзи и несколько других более мелких. Из перечисленных монастырей Ниннадзи один не принадлежит к Дзэн. Он очень древний (основан в 888 г.) и является главным центром школы Омуро секты Сингон. Помимо архитектуры Ниннадзи знаменит своим особым редким сортом сакуры — Омуро сакура, которая цветет поздно и пышно.

### Кинкакудзи

По сведениям туристического центра информации в Киото, храм Кинкакудзи занимает первую строчку среди мест, наиболее посещаемых иностранцами и самими японцами. Вероятно, само название — Золотой Храм — действует на воображение охочей до блеска толпы. К тому же история гибели храма, рассказанная известнейшим писателем Юкио Мисимой (роман «Золотой Храм»), захватывает воображение и будоражит проникновенными описаниями душевной патологии — непереносимости красоты на почве ее чрезмерного совершенства. К этому можно добавить интерес к самому Мисиме, который вскоре по написании психологического портрета монаха, спалившего Кинкакудзи из-за горячечной любви к нему, сам совершил харакири — из-за остро переживаемой любви к Японии. Все это, я думаю, вызывает дополнительный сенсационный интерес к Золотому Храму. Тем не менее это и впрямь одно из красивейших мест в Киото, и даже блеск золота, если только не под прямыми лучами солнца, не так уж раздражает. В сочетании с си-



Кинкакудзи — Золотой Храм

ним небом и в окружении зеленой листвы с красными всполохами кленов осенью картина получается яркая, но эффектная — как и было задумано хозяином Кинкакудзи Асикага Ёсимицу.

Ёсимицу был третий сёгун из династии Асикага и самый могущественный из них. После формального отречения от власти в 1394 г., при сохранении всех тайных пружин и нитей, он много времени проводил в этой своей вилле, которая стала буддийским храмом после его смерти десять лет спустя. Тогда-то вилла была названа Рокуондзи — Храм Оленьего Парка, что является официальным названием Золотого Храма. Оленей, кстати, там нет — название имеет отношение к знаменитому из буддийских сутр Оленьему Парку в Индии, где проповедовал Будда. Золотой Павильон стал для Ёсимицу выражением его практически неограниченной власти и несметного богатства. Вкус его отличался пристрастием к яркому и экстравагантному. Сейчас, пожалуй, крытые золотом стены двух этажей выглядят менее вызывающе, чем тог-



да, — современный человек видел много ярких синтетических красителей и много фальшивого золота по телевизору, а на людей Средневековья это должно было действовать убойно.

Вместе с тем здание производит впечатление хоть и пышной, но легкости. Благодаря верандам вокруг трех его этажей и широким крышам с загнутыми кверху углами, конструкция выглядит элегантно, а когда отражается в мелкой ряби пруда, даже невесомо. Три этажа построены в трех разных стилях. Первый, непозолоченный, выполнен в древнем стиле *синдэн-дзукури* — так, с дощатыми, непокрытыми татами полами темного дерева, массивными столбами и белыми оштукатуренными стенами, строили дворцы аристократы эпохи Хэйан. Сейчас в первом этаже (это Зал Влаги Закона — Хосуй-ин) устроен алтарь, в центре которого установлена статуя Будды Шакьямуни, а сбоку от него — статуя самого Ёсимицу. Их можно увидеть, если смотреть (лучше в бинокль) через раскрытые проемы стен со стороны пруда. (Да, внутрь обычно никого не пускают.) Второй этаж построен в стиле *букэ-дзукури* — т. е. в самурайском стиле, по образцу богатых покоев военной верхушки Средневековья. Сейчас это Зал Чистых Звуков — Тёон-до. Убранство его более скромное. Сейчас внутри стоят статуи бодхисатвы Каннон и четырех небесных царей-охранителей, которые тускло отражаются в полутьме от зеркально натертого пола. Третий этаж, самый маленький, выполнен в стиле китайских дзэнских молитвенных залов (*дзэн-сю буцудэн дзукури*); он покрыт золотом не только снаружи, но и изнутри. Он называется Куккётё — Пик Окончательной Пустоты. Он и вправду пуст и темен, и небо сквозь раздвинутые окна отражается на сверкающем полу.

Территория Кинкакудзи велика и приятна для прогулок. Там есть несколько других зданий, храмов и чайных домиков, есть и маленький водопад. Он называется Рюмон-но Таки — водопад Драконовы Ворота. Согласно древней легенде, рыба, плывущая против течения и поднимающаяся к истокам через водопад, становится дра-



Рюмон-но Таки – водопад Драконовы Ворота (вверху)  
Пагода Белой Змеи — священного животного богини Бэнтэн (внизу)

коном. Струи этого водопада разбиваются о вертикально стоящий камень — это символ такой упорной и амбициозной рыбы *кои* (карпа). Недалеко от водопада есть группа полустертых каменных статуй, земля вокруг которых густо усеяна тысячами монет. Все стараются метнуть монеты в чашу перед средней статуей, но мало кто попадает. За ними есть небольшая пагода Белой Змеи — священного животного богини Бэнтэн. Далее есть старый чайный домик Сэккатэй — павильон Прекрасной Луны, в котором есть знаменитый кривой столб, из дерева нандина. Он был устроен позже времени Ёсимицу и отражает уже эстетику ваби-саби с ее приверженностью к естественному и, на первый взгляд, ущербному и негодному.

Местами на территории на деревянных щитах установлены древние сентенции вроде этой: «Бессловесная Сутра». «Цветущие цветы, влажные тропинки, поющие птицы, резвящиеся облака, бегущая вода, невысокие горы, глубокие долины, веющий ветерок и луна, плывущая по небу, — вот подлинные знаки истины».

Билеты в Гинкакудзи и Кинкакудзи нынче сделаны в форме о-мамори — благопожелательных длинных и узких листков бумаги с кистью, начертанными текстами и красными печатями. Любопытно, что билет в Серебряный Павильон размером поменьше, при том что тексты схожи. Этот факт забавным образом продолжает сравнение пышного Золотого и более скромно-изысканного (и вообще маленького) Серебряного типов эстетики. Вверху по пять крупных знаков на каждом передают название храма: Гинкакудзи Каннон-дэн и Кинкакудзи Сяри-дэн. Два столбца пониже гласят: «Больше удачи, да приидет счастье» (правый) и «В семье умиротворение» (левый). Внизу адрес: «Киото, Восточная гора, дзэнский храм Сияющей Благодати» и «Киото, Северная гора, дзэнский храм Оленьего Парка». При этом стиль каллиграфии в билете в Гинкакудзи более беглый — возможно, подразумевается, что те, кто ходит туда, лучше читают рукописные иероглифы. Впрочем, это все мои не вполне академические спекуляции, но

так или иначе, толпа в Золотом Павильоне — намного больше.

Да, а после того, как монах с психологическими проблемами спалил Золотой Храм в 1950-м, его заново построили в 1955-м, а потом еще заново позолотили в 1987 г.

### Дайтокудзи

Монастырь Дайтокудзи (Великой Добродетели) стоит в северной части Киото на Лиловом Поле (Мурасакино) и занимает несколько кварталов, обнесенных общим забором. За забором — около тридцати отдельных храмовых комплексов со своими священными залами, молитвенными и спальными помещениями, сокровищницами и кладбищами — все за своими собственными заборами. Часть территории давно уже сдается под городскую среднюю школу, теннисные корты или парковки — иными словами, Дайтокудзи был когда-то целым городом в городе.

Он был основан в 1326 г. дзэнским мастером Дайто, имевшим посмертный ранг «Учитель страны» (кокуси).



Сад настоятеля в монастыре Дайтокудзи

После обретения просветления Дайто жил несколько лет в построенной им хижине в пустынном окраинном районе Киото — Мурасакино (Лиловое Поле было одним из Семи Полей столицы в древности) и появлялся в миру лишь для того, чтобы сесть с нищенской чашей на мосту Годзё. Ему принадлежат стихи, прокламирующие необходимость медитации в гуще народа, в толпе. Полное уединение и отгороженность от бренного мира (*укиё*) Дайто считал низшей и несовершенной формой духовного делания. Император Го-Дайго, при котором пал Камакурский сёгунат, учился мудрости у дайто и покровительствовал Дайтокудзи. Он сделал его своим придворным храмом, поставив его выше всех Пяти Гор. В Дайтокудзи по сей день хранится собственноручно начертанный в 1333 г. указ императора, который гласит: «Дайтокудзи — непревзойденный во всей стране дзэнский храм». Дайтокудзи был поставлен в качестве главного монастыря, пользующегося особым императорским покровительством в ранге «первого в поднебесье», но скорое изгнание злосчастного Го-Дайго из столицы повлекло незамедлительное исключение Дайтокудзи из системы Пяти Гор, что впоследствии сказалось на особенностях его традиций — более суровых и более независимых.

Говорили, что «только монастырь Дайтокудзи подхватил ветер, дувший из Шаолиня (монастыря Бодхидхармы)» — т. е. сохранил изначальный истинный Дзэн. О суровости традиций Дайтокудзи говорит хотя бы история кончины его основателя. Дайто умер 22 декабря 1337 г. Перед смертью он попытался сесть в позу лотоса, в которой во время медитации приличествует отойти в небытие истинному монаху. Травмированная много лет назад левая нога не сгибалась, тогда Дайто сказал: «Я всю жизнь следовал за вами, а сейчас подчинитесь-ка вы мне» — и резко нажал на ногу. Раздался треск, сломалась в колене кость, сквозь лопнувшую кожу и связки устремилась кровь, обагряв платье. Дайто проделал то же со второй ногой, сел в позу двойного лотоса и продекламировал:

*Отрезаны Будда и патриархи.  
Непрестанное острение стерло [как] волосок.  
Колесница разворачивается, — отъезжает, и  
Великая пустота клацает клыками.*

Засим он, сидя в безупречно прямой позе, скончался — или, как считают адепты, вошел в состояние нирваны, в коем и пребывает.

Множество других славных мужей (и даже жен — о них чуть дальше) связано с историей Дайтокудзи — там практиковали главнейшие мастера чайного действия, вроде Мурата Сюко и Сэн-но Рикю; там возникла своя особая школа монохромной живописи — школа Сога, ведущие художники центральной школы живописи Кано также активно расписывали многочисленные храмы. Дайтокудзи был одним из первых дзэнских монастырей, которые открыли свои двери для западных искателей истины Дзэн. Все первые дзэнские американцы и европейцы прошли через послушничество в Дайтокудзи — и замечательный поэт-битник Гэри Снайдер, и голландец Ян ван дер Ветеринг, который написал о своем годичном (и часто комичном) там пребывании книжку «Пустое зеркало». В одном из малых храмов внутри Дайтокудзи (в Рёсэнъан) много лет жила первая женщина — дзэнский мастер, к тому же американка, легендарная Рут Фуллер-Сасаки. В Рёсэнъан до сих пор осталась традиция проводить сессии медитации для иностранцев. (Вообще, есть хорошая книжка «Where to Sit in Japan» — где медитировать и как туда вписаться.) Другая американка, искусствовед, искательница приключений, немножко шпионка и немножко соблазнительница Джоан-Этта Картер-Ковелл жила много лет подряд при храме Синдзюан, стала перед смертью буддийской монахиней и похоронена на маленьком кладбище Синдзюана рядом с легендарными персонажами японской средневековой истории.

Но главным героем из Дайтокудзи был, конечно, Иккю Содзюн (1394–1481), человек-эпоха, повлиявший на культурную жизнь своего времени и последующих столе-



Портрет Иккю Содзюана  
работы художника Бокусая

тий как никто другой. Сын императора, отданный пяти лет в монастырь, чтобы спасти его от смерти, он в восемнадцать лет, проживая в маленькой обители, выразил честолюбивое желание превзойти всех в Дайтокудзи. «Я надеюсь подняться, подобно дракону, через Драконьи Ворота к верховьям Янцзы». Став под конец жизни настоятелем Дайтокудзи, Иккю превратился в вознесшегося дракона. Иккю сумел отстроить монастырь после того, как он полностью сгорел во время смуты годов Онин (1467–1477). Сразу

после его смерти на северо-восточном краю Дайтокудзи был устроен мемориальный храм в его честь — по сути, маленький отдельный монастырь, в котором настоятелями до сих пор являются наследники дхармы Иккю. Это, пожалуй, наиболее плотно насыщенное художественными сокровищами место в Дайтокудзи, да и вообще в Киото. Другие храмы, — например соседний Дайсэнъин — могут похвастаться своими садами — всемирно известными и которые можно посмотреть за плату. Сады в Синдзюане скромнее, но живопись несравненно богаче. Публику туда не пускают, но договориться с настоятелем можно, написав или позвонив заранее и сказав, что специально приехал издалека.

## Синдзюан

Синдзюан был возведен после смерти Иккю на месте его временного домика, который был назван «Синкацу-роан» — «Новая хижина Слепого Осла», по названию его

старого пристанища. Согласно внутреннему преданию Синдзюана (я слышал его от настоятеля Собина-осё), за пять веков до Иккю на месте Синдзюана находилась загородная усадьба фрейлины Мурасаки, автора «Повести о Гэндзи». Старый колодец за покоем настоятеля называется «Колодец Мурасаки-сикибу».

Мне однажды посчастливилось пожить в Синдзюане (август 1996). Приведу несколько выдержек из дневника той поры.

Итак, я в Дайтокудзи, в Синдзюане. Жду очереди погрузиться в *о-фуру*. Очередь моя, естественно, последняя — сначала преподобный Ямада Собин, потом его ученик Сосё-сан, потом я. Больше в монастыре никого нет.

Похоже, Осё-сан и Сосё-сан обрадовались моему вчерашнему визиту. Сначала Осё-сан качал головой и говорил, что лучше мне пойти в тот храм, где есть иностранцы и где их чему-то учат. Потом, вняв моим возвышенно-ломаным японским экскламациям, что я хочу окунуться в атмосферу, в которой жил герой моей книги, он разрешил приходить рано утром и уходить вечером, а спустя короткое время, посоветовавшись с учеником, который основательно меня допросил, — меня пустили.

В моем распоряжении теперь целый дом — правда, не пятисотлетней давности, а поновее, построенный, видимо, специально для гостей. Две комнаты, кухня и все прочие удобства, включая кондиционер, телефон и телевизор. Вчера Осё-сан говорил, что в храме нет электричества, — видимо, это только в исторических Хондо и сёине.

Есть еще обилие комаров. Вчера, разговаривая с Собинсэнсэм, я шлепнул пару, а потом подумал, что, может быть, это не по-буддийски, и мужественно предоставил им впиваться в мою нежную плоть.

Сегодня славный Сосё-сан выдал мне моток зеленых воскурений и две кадильницы — одну стационарную, а другую нательную, цепляющуюся за штаны. Чем больше двигаешься, тем больше раздуваются пары. Я поинтересовался, не горячо ли заду, на что Сосё-сан ответил: «Дайдзёбу. Not such much». И впрямь, я вполне освоился с приятным теплым дымком на заду. Забыв о нем, я

поливал грядки на огороде и мох в саду, потом топил кадку для мастера — прям как маленький послушник для бонзы. В конце концов я настолько свыкся с курильницей, что на нее сел.

Жду, стало быть, пока отмокнут два монаха и позовут меня. Вода в бочке вчерашняя. Потом Сосё-сан обещал показать мне, как и где медитировать, и я могу сидеть всю ночь, созерцая луну, сад мхов XV в. и забор.

«...» Сдохнуть можно — до чего необыкновенно. Я пью саке в Токито-кэн, Студии Замерзшая Капля. В соседней комнате я сплю. Токонома в ней украшена свитком «Каннон, созерцающая водопад» работы Кано Тянью. Я настолько не мог представить, что это может быть в комнате, где мне отвели ночлег, что позорно спросил у настоятеля, кто сделал эту прекрасную копию. И обалдел, когда услышал про Тянью. «Мы копий не держим», — с жалостью глядя на западного варвара, сказал просветленный старец. Видел его, кстати, днем, читающим старый китайский ксилограф — первый замеченный мною живой человек, читающий на камбуне для собственного удовольствия после обеда.

А еще сегодня я сгребал листья с могил Мурата Сюко, Бокусая, Канъами, Дзэами и Джоан Картер-Ковелл. Она тоже покоится в Синдзюане — померла, кстати, в день моего приезда в Японию в апреле. Перед этим Собин-осё ее в монахини посвятил.

Младший бонза Сосё-сан не дурак выпить. Говорит при этом дельные вещи: «Если ты тут — думай о том, что тут. Сидишь — сиди, делаешь что-то — делай и не отвлекайся».

Два сада, разбитых на территории Синдзюана учеником Иккю Мурата Сюко (о нем уже шла речь в разговоре про Серебряный Павильон), с небольшими изменениями дошли до нас. Некоторое участие в оформлении этих садов принимал и Бокусай, первый настоятель Синдзюана и художник.

Южный сад Синдзюана расположен перед главным залом (*хондо*), в котором установлены алтарь и деревянная статуя Иккю в натуральный рост — *мокудзо*. Ныне размеры сада составляют приблизительно 15×27 м, хотя в свое время были несколько больше. Основой сада является мелкая галька из реки Сиракава, протекающей

у холма Хигасияма. Омытая прозрачными водами Белой реки (Сиракава) сухая галька служит воплощением излюбленной в Дзэн строгой чистоты и представляет пустоту. Легкие неровности галечного покрытия создают впечатление небольшой ряби. Этот сад есть зримое выражение динамического покоя или, что то же — статичного движения вселенской пустоты, которая состоит из камешков-элементов дхарм. Дхармы-камешки волнуются, образуют группы и меняют их, что, собственно, и является причиной существования феноменального мира и индивидуального сознания. Но сами по себе скопления дхарм несущностны, все они стремятся к конечному покою и растворению в едином континууме (пустоте, или, в другом контексте, — сознании-сокровищнице, или космическом теле Будды — *дхармакае*).

Считается, что Сюко впервые использовал гальку вместо воды. Округлые мелкие камешки, будучи как бы застывшими каплями, сливались в общую зыбучую поверхность подобно воде и вместе с тем оставались обособленными



Южный сад Синдзюана

частицами целого. Если на философском уровне сухой сад воспринимался как воплощение пустоты или универсума, то на эстетическом он выражал дух ваби. Блеклая гамма серовато-белых камешков со сглаженными очертаниями навевала ощущение возвышенной чистой скудости и сдержанной сосредоточенности.

В XVII столетии галька этого сада была большей частью покрыта мхом, в углу сада была посажена кривая сосна, что сделало его чуть менее строгим, но более живописным и, пожалуй, не уменьшило впечатление ваби. Для находящихся внутри мемориального зала Иккю сад через открытые двери являет наглядное решение известного коана «Что такое природа Будды — одинокая сосна в саду».

К востоку от главного здания Синдзюана, сразу за верандой, расположен другой маленький сад, в котором Сюко поместил три группы угловатых камней на белом галечном основании. Одна группа по размерам камней и их пластической выразительности считалась главной. Это так называемый «хозяин». Другая, сопутствующая



Вид с веранды на Восточный сад

первой, группа дополняла и подчеркивала центральный характер ее (это так называемый «прислужник»). Третья, расположенная на некотором отдалении, контрастировала с «хозяином» и являлась ее комплементарной оппозицией. В трактатах по устройству сада она называется «гость». Созерцание сада с его контрастным сочетанием крупных черных масс камня, асимметрично расположенных в белом море зыбучей гальки, весьма насыщено в эстетическом отношении. Живописным соответствием саду являются огромные камни, изображенные знаменитым художником Хасэгава Тохакю в следующем, XVI в., в композиции с китайскими мудрецами-отшельниками, в комнате, примыкающей к этому саду. В комнате для воскурений в северо-западном углу этого здания есть также *фусума*, расписанные Сога Содзё в полуабстрактной манере *хацубоку* («расплесканная тушь»), в одно с Мурата Сюко время. Черные пятна туши на белом фоне бумаги производят тот же эстетический эффект, что и валуны с галькой.



Восточный сад Синдзюана



Могила Джоан Картер-Ковелл



**Живописный садик перед чайным домиком Тэйгёкуэн**

Философская интерпретация композиции Восточного сада Синдзюана столь же многоаспектна и глубока. Валунь, скомпонованные в нечетные комбинации по три, по пять и по семь, воплощают ян, тогда как галька репрезентирует инь. Бесчисленное количество рассыпанных мелких камешковоснования символизируют Бесформенное, или ноуменальную сущность, в то время как большие камни в группах символизируют понятие формы и выражают тем самым явления-феномены.

К северу от Восточного сада за стеною расположен живописный садик перед чайным домиком Тэйгёкуэн. Он был создан позже, в XVII в.

Над оформлением Синдзюана работали мастера школы Сога, чьи росписи относятся к лучшим образцам живописи *сёхэй* (ширм и перегородок) второй половины XV в. Эти расписные фусума ныне считаются наиболее старыми образцами этого жанра в Японии. Большая часть живописных работ там выполнена Сога Содзё. Им расписаны интерьеры помещения для гостей в Синдзюане, где явившихся в храм окружают со всех сторон суровые пейзажи, выполненные в резкой лапидарной манере. В центральном зале стены занимают многостворчатые сцены «Четырех времен года». Наиболее характерным воплощением духа ваби и стиля школы Сога служат бёбу и фусума в соседнем зале храма, где «расплесканная тушь» вдохновенного художника приняла почти беспредметные очертания. .



**Чайный домик Тэйгёкуэн. Начало XVII в. Маленькая сосна посажена в начале 2000-х гг. взамен выросшей старой**

В главном зале над алтарем висит портрет Дарумы художника Боккэя. Это один из самых выразительных воображаемых портретов первого дзэнского патриарха. По бокам от него — два каллиграфических свитка самого Иккю с текстами «Всяческому добру следуй» и «Всяческого зла избегай». Эти надписи являются одними из лучших образцов средневековой японской каллиграфии. Скопированные и отлитые в бронзе, эти две строки украшают доску близ его могилы в храме Сюонъане (о нем речь дальше) в маленьком городке к югу от Киото.

В правом углу, у дальней от алтаря стены устроен угол для чтения сутр. Настоятель каждое утро читает дневной кусок сутр и молитв в пять утра в совершенно пустом храме (или присутствовал я). Колотушкой по деревянной пузатой рыбе справа отбивается ритм.

В глубине алтаря в полутьме находится алтарь, на котором стоит деревянная статуя Иккю — она считается во-



Расписные пейзажные фусума в главном зале Синдзюане

площением его духа. Статую украшают волосы, вставленные в дырочки в голове и на месте бороды и усов. (Бунтарь Иккю не брил растительности в отличие от всех прочих монахов.) Согласно традиции, волосы эти — его собственные; по мнению одного ученого, потрогавшего их, — конские. Мне довелось видеть эту статую с расстояния вытянутой руки, когда мне нужно было убирать поднос с завтраком, который каждый день Собинсэнсэй выставлял перед нею. (Завтрак оставался нетронутым, и я относил его храмовой собачке.) Так вот, моей храбрости хватило на то, чтобы сфотографировать статую в упор, обеспокоив ее вспышкой, но подергать Иккю за бороду, чтобы определить подлинность волос, мне в голову не пришло. На хозяйственном дворе в Синдзюане делают *натто*. Традиционно считается, что это Иккю усовершенствовал способ приготовления этой питательной пасты из ферментированных соевых бобов, сделав ее менее клейкой и вонючей. Действительно, натто этого особого типа («Дайтокудзи натто») более сухое, распадается на отдельные катышки и в общем даже приятно. Но все-таки месить эту густую коричневую массу лопатой в бочках — то еще удовольствие. Мне больше по нраву было сметать палую листву с дорожки или выбирать в Южном саду пальцами осыпавшиеся сосновые иголки из мха.

А вот выдержка из дневника о встрече со старым мастером в 2002 г.



Портрет Дарумы работы художника Боккэя





Вот так на хозяйственном дворе делают татто

Был в Синдзюане, позвонив накануне и изъявив желание посетить. «Милости прошу, — немедленно отозвался Собин-осё, — в любое время, я всегда тут». Он сильно постарел. Вышел в приемную из своего настоящего покоя как-то так странно — скорее даже не вышел, а выполз и кряхтя уселся на дзабутоне. Одет в какой-то пегий, несколько бабий двубортный *хаори*, а на голом черепе — смятая шапочка, напомнившая мне скорее не бонзу, а пьяного лыжника. Шапочки эти в ходу у престарелых, да и нестарых монахов, чтобы не мерзла безволосая голова. Он радушно улыбался довольно беззубым ртом, ласково шурился, но, казалось, не очень понимал, зачем я явился. Не то чтобы он меня не опознал — еще как опознал: немедленно про давнее гостевание-послушничество вспомнил и про русскую книжку про Иккю помянул — да и цель визита была ему вполне внятна: учено-восторженное поклонение. Кстати, далее этого вполне невнятного резона к нему явиться я и сам бы затруднился определить, чего я туда поперся. Посмотреть еще разок на это уникальнейшее место или на то, где я пытался дзэнской мудрости набраться, да не слишком преуспел. Но выглядел почтенный старец как бы устало — не просто с утра пораньше, а как-то экзистенциально — ежели таковое определение приложимо к дзэнскому просветленному человеку.



Старый мастер Собин-осё

И вот смотрел я на этого наследника дхармы Иккю и одного из главных дзэнских мастеров наших дней, с трудом пытал вежливые фразы сочинять — и не столько с подзабыто-заржавевшим языком запинаясь, сколько на ходу тужился — о чем бы это еще спросить и чего умного сказать. Поведал, какой шок испытал (и впрямь испытал), когда увидел его в учебном видео про японские сады, которое, поленившись до урока самому посмотреть, впервые со студентами в классе увидел и, как лягушка-путешественница, едва не закричал: «Батюшки, это ж мой мастер!» Вообще-то, если по правде, мастером своим мне называть его неприлично. Ну болтался некоторое время в Синдзюане, занятый в основном подметанием дорожек в саду (едва ли не самое приятное, что мне довелось делать в Японии) и ворошением вонючих вяленых бобов на огороде. Ну сидел с ним ежеутрене с 4:30 за рецитацией в хондо, ну прислуживал помаленьку — поднос с нетронутым завтраком от статуи Иккю уносил (еда шла храмовой собачке), ну даже как бы медитировал — точнее, маялся от несложения ног и невыпрямления спины, что отчасти компенсировалось сомнамбулическим эффектом созерцания сада камней Мурата Сюко. Но каллиграфический его бокусэки с наставлением *Дзюдзю сютю* («Делая дело, соберись в кучку») часто разглядываю.

И вот теперь сидел напротив него, и он полусонно кивал, а я думал: Дзэн-дзэн. Вот просветленный мастер — без дураков, самый настоящий. И вот он старый и одинокий. И сидит себе в своем баснословном Синдзюане долгие годы — в начале 30-х совсем ребенком туда попал. И неужто никуда ему пойти не хочется? Или он для того так успешно просветлился, чтобы ничего этого не хотеть и хитровато-ласково улыбаться на все подряд? Ну, психологический комфорт, положим. Но все-таки пусто-то как, прости Господи. А смерть придет, что он скажет: что один хрен раствориться в небытии, перейдя в него из другой формы небытия? А ведь, поди, недаром в посмертных стихах дзэнских монахов столько отчаяния и горечи, и страха было. Просветление просветлением, а вдруг они в последний час понимают, что жизнь — это не затем, чтобы годами на стену таращиться и учиться не думать и не чувствовать. Жалко ведь. Вот Иккю все-таки не так жил. У Собина, кстати, была возможность прокрутить отчасти похожий на Иккю сюжет с красавицей. Явилась к нему пылкая американка, первая в Америке доктор наук по японскому искусству (диссертация о Сэсю), авантюристка и немножко Мата Хари, двадцатью годами его старше, и закрутила бешеный тайный роман.

Согласно неопубликованному ее трехтомному роману о жизни, они должны были официально пожениться после раннего его выхода на пенсию, но он взял и не вышел. Доктор Ковелл жила много лет (летних сезонов) в Синдзюане в отдельном домике и в нем же на кладбище — вместе со всеми выдающимися деятелями японской средневековой культуры — и упокоилась в возрасте 87 лет. И вот Собину уже 82, и живет он один...

*Примечание.* Преподобный Ямада Собин скончался в возрасте 88 лет в 2008 г.

### Сюонъан

Расскажем, вслед за Синдзюаном, и о другом храме, связанном с именем Иккю, хоть он и находится не в самом Киото, а примерно в часе езды от города на юг — в нынешнем городке Син-Танабэ, что примерно посередине между Киото и Нара. Туда непременно стоит поехать, как, скажем, паломники ездят в Михайловское, ибо Иккю —



Сюонъан — первый мемориальный храм Иккю

это наше японское все. (К тому же только там можно купить особое «Иккю натто» — сухое, соленое и пахучее как десять голов рокфора сразу.)

История Сюонъана начинается в 1456 г., когда вместе с учениками и светскими донаторами Иккю восстановил старый заброшенный храм Мёсёдзи в деревушке Такиги (ныне это часть городка Син-Танабэ). Этот храм был заложен Дайо Кокуси, родоначальником линии Дайтокудзи в Дзэн после его возвращения из Китая в 1267 г. Вскоре, однако, он был разрушен в одной из войн между Северным и Южным дворами. (Еще Сюонъан известен просто как Иккюдзи — храм Иккю.) Иккю назвал восстановленный храм «Сюонъан» — «Обитель отплаты за благодеяние». В этом храме он провел несколько тихих лет, когда в столице, всего километрах в тридцати, бушевали пожары смуты Онин. Этой малой обители суждено было стать первым мемориальным храмом Иккю.

На территории остался храм середины XV в. со статуей Кандзана, второго настоятеля Дайтокудзи. Другие постройки относятся к более позднему времени. В главном здании (ходзё) есть превосходные монохромные фусума,

одни из самых старых в Японии. Еще там можно увидеть портшез-паланкин, в котором переносили восьмидесятилетнего Иккю, когда дела требовали его присутствия в Дайтокудзи, где, напомним, он был главным настоятелем. Перед ходзё есть большой сухой сад. Он был устроен в XVI–XVII вв., хотя на его месте был другой — самый первый сухой сад в Японии. Его заложил садовых и чайных дел мастер Мурата Сюко под непосредственным наблюдением Иккю. Тем самым было положено начало линии *карэ сансуй* (сухих пейзажных садов). Сейчас сады Сюонъана более живописны — в них есть мхи, деревья и кусты. Изначальную суровость дзэнского сада времени Иккю последующие настоятели в эпоху Эдо решили приблизить ко вкусам людей того времени.

В 1477 г. в заднем конце храмовой территории Иккю посадил бамбуковую рощу, в которой возвели хижину-беседку, где старец проводил по много часов, спасаясь от летней жары. Доставляли его туда в паланкине. Бе-



Изображение Иккю в виде маленького лукавого послушника с метлой

седке Иккю дал имя «Такётэй» — «Павильон Та(фуку) и Кё(гэна)». Тафуку (кит. Дофу) и Кёгэн (кит. Сяньянь) были два монаха, известные своим пристрастием к бамбуку. Так, на склоне лет, Иккю стал в буквальном смысле мудрецом в бамбуковой роще, в воспоминание долгой традиции благородных китайских мужей.

С широкой веранды ходзё за садом видна крыша небольшого павильона, устроенного над гробницей Иккю. Он сам сконструировал себе усыпальницу, когда ему исполнилось 82 года, — она оставалась пустой еще



Усыпальница Иккю (вверху)

Сейчас сады Сюонъана более живописны, чем в эпоху Муромати — в них есть мхи, деревья и кусты (внизу)

шесть лет. Вплотную к ней подойти нельзя, но ее хорошо можно разглядеть и с другой стороны, с главной дорожки, где в окружающем усыпальницу заборе есть просветы, достаточно широкие, чтобы вставить в них глаз или объектив.

На небольшом прихрамовом кладбище покоится несколько последователей Иккю, — например, актер и драматург Дзэнтюку, ключевая фигура в истории театра Но, а также Онъями, сын главного теоретика и созидателя Но Дзэами.

Среди статуй и памятных стел на территории Сюонъяна есть отлитая в бронзе знаменитая каллиграфия Иккю «Всяческому добру следуй; всяческого зла избегай». Но самая трогательная статуя — это изображение Иккю в виде маленького лукавого послушника с метлой. Существует множество легенд и анекдотов про проделки и остроумие Иккю в бытность его маленьким послушником; некоторые из них носят совершенно фольклорный характер.

В качестве последнего штриха можно заметить, что через дорогу от ворот Сюонъяна есть харчевня «Иккюан», где можно славно подкрепиться *удоном* или *собой*.



Осень в обители Сюонъян

## КИОТО. САГА И АРАСИЯМА

Тысячу лет назад область Крутых Гор Сага отграничивала столицу с запада, а к северу от нее вздымались Бурные Горы Арасияма. На равнине перед Сага и в предгорьях Арасиямы устраивали загородные виллы и монастыри. Сейчас это один из окраинных районов Киото, не самый даже далекий, но самый, пожалуй, живописный. Множество храмов и парков осталось там и по сей день, и даже отчасти виллы, — например, вилла Огура, где в раннем Средневековье была составлена знаменитая антология «Хякунин иссю» — «Сто стихотворений ста поэтов». В былое время каждый знал ее наизусть, да и сейчас карточная игра на знание этих стихов остается одним из популярных новогодних развлечений. В Огура сейчас устроен небольшой литературный музей.

Поездка в Сага (этот район еще называют «Сагано» — «Равнина у Крутых гор») и в Арасияму сочетает в себе поход по старинным храмам с загородной прогулкой по паркам и даже местами хайкинг по дикому бамбуковому лесу (хайкинг — от американского разговорного слова hike — длительная пешая прогулка — *Ред.*). И все это — на расстоянии 20–30 минут от центра Киото на городской электричке или автобусе. Добираться можно на поезде JR-овской линии Сага до станции «Сага–Арасияма» или по линии Арасияма до станции «Арасияма». Я недавно прошел через Сага от Центра по изучению японской культуры (Нитибункэн) через бамбуковый лес — и этот немногим известный маршрут оказался самым интересным (хотя и длинным).

### Бамбуковый лес в Сага

От Нитибункэна, научного центра мирового значения, похожая на деревенскую улочка сворачивает к оврагу, в котором начинается густой бамбуковый лес. Вероятно, современные местные нравы сильно испортились, поскольку там, где кончается улица и начинается тропинка,



красуется объявление, призывающее не выбрасывать мусор. Вообще, в очень многих местах вроде парков и заповедников посетителей просят уносить свой мусор обратно с собой в город. И люди уносят — редко-редко можно увидеть пустую банку или бутылку. Возможно, сомневающимися («почему бы не бросить бумажку?») убеждает ласково-доверительный тон надписей: «Мусор унесем?»

Двадцатиминутная прогулка через бамбуковый лес производит совершенно фантастическое впечатление. Быстро забываешь, что ты, собственно, в городе — это настоящий дикий лес с оврагами и буреломами, с немощеными расходящимися тропинками (но со стрелками указателей на развилках — иначе заблудиться было бы неминуемо). Если смотреть под ноги, т. е. на уровне земли, заросли бамбука не производят впечатления особенно густых. Вероятно, это потому, что отсутствует подлесок или кусты. Но если посмотреть на среднем уровне — уже через несколько метров все сливается в частокол гладких стволов практически без просветов. Если же задрать голову кверху, то в просветах плотной листвы можно видеть просветы неба. Иногда лучи солнца каким-то нереальным образом проникают чащу стволов и сияют то там то тут сгустками света. Кажется, это называется параллакс.

За лесом снова начинается жилой квартал. Он ничем не примечателен, кроме того, что это обыкновенный аутентичный чистый и весьма пригожий на вид уголок Киото. На кривых улочках легко запутаться — в этом случае нужно спрашивать, в какую сторону идти к Судзумусидэра — Храму Поющих Сверчков. По дороге, которая займет минут десять, будет еще несколько интересных мест, но это хороший ориентир, который знают все.

### Судзумуси-дэра

Время от времени по дороге попадаются свидетельства прошлого — например, обвязанное священной синтоистской веревкой симэнава тысячелетнее дерево *муку*.

← Настоящий дикий бамбуковый лес в городе



**Ворота частной усадьбы  
под традиционной соломенной крышей**

В нем живет ками этих мест. Далее — ворота в богатую усадьбу; они примечательны отлично уложенной толстенной соломенной крышей. По коньку солому придавливают несколько коротких чурбаков. Если бы не электрические провода вверху и не велосипед в проеме внизу, вид этих ворот, наверно, не слишком изменился за много столетий. Чуть дальше у дороги стоит хорошо ухоженный большой ящик, который на самом деле маленький храм. В нем — три миниатюрных грубоотесанных каменных статуи, вероятно, бодхисатвы Дзидзо, но в точности сказать трудно, поскольку все статуи практически полностью укрыты чистенькими передничками.

У поворота к Судзумуси-дэра есть старинный ресторан, в фасаде которого использовано необработанное кривое дерево. Он называется «Кагуя-химэ» — по имени сказочной девочки из старинной повести «Такэтори-моногатари», в которой дед-дровосек нашел крошечное дитя в колечке бамбука, из которого шел мягкий неземной свет. Кагуя-



**Храм Кэгондзи (храм Цветочной Гирлянды), иначе —  
Судзумуси-дэра (Обитель Поющих Сверчков)**

химэ оказалась принцессой с Луны, куда она и вернулась, потешив стариков несколько лет в качестве их внучки.

К Обители Поющих Сверчков надо забираться по старой каменной лестнице довольно высоко в гору. Официально храм называется «Кэгондзи» — «Храм Кэгон», или «Цветочной Гирлянды», по названию одной из основных сутр буддизма (санскр. *Аватамсака-сутра*). Он был основан в 1723 г. приверженцем секты Кэгон по имени Хотансёнин. Секта эта численно весьма невелика, хоть и принадлежит к самым старым буддийским школам. Учение ее зиждется на философском осмыслении премудрости сутры Кэгон о единстве и взаимосвязанности всех феноменов в мире. Японцы с их практическим, в отличие от философско-умозрительного, подходом к жизни и религии, предпочитали другие формы духовной активности. В XIX в. этот храм вошел в систему дзэнских храмов. Это неслучайно: философия Кэгон стала практикой Дзэн. Но от былого наследия философско-богословской мудро-

сти в этом храме осталась традиция частых проповедей или лекций прихожанам. Зайдя туда, можно легко попасть на такое мероприятие: вас приветливо посадят на татами и дадут чашку чая с несладкими сладостями, грызя которые можно слушать о всеединстве людей и природы (по-японски). Когда я там недавно очутился, я выпил чай, посидел еще пять минут и пятась удалился, сказав прислуживавшему монаху, что глупому гайдзину в моем лице было немножко «вакаригатай» («затруднительно уразуметь»), машинально употребив старинное выражение, пользование которым, наверно, в его глазах подразумевало, что простую-то проповедь я понять должен.

Так или иначе, всеединство людей и природы можно постигать и в саду, где живут особенные сверчки, которые поют круглый год — в отличие от обычных, стрекозущих только в осенний сезон. Именно слушая их немолчное верещание, один настоятель этого храма в прошлом сподобился просветления. Любопытно, однако: читал-читал сложную философскую сутру, а постижение мира его прошибло благодаря сверчкам! После этого он заинтересовался этими душеполезными насекомыми и стал видным энтомологом. Кстати, немало монахов дзэнской школы постигали сатори в результате звукового толчка. Например, Иккю прошибло просветление, когда он услышал крик вороны во время ночной медитации. Или живший при танской династии в Китае мастер Благоуханный Утес (Сяньянь Чжисянь, по-японски Кёгэн Тикан), подметая землю перед своей хижиной, расположенной в бамбуковой роще под скалой, обрел просветление, услышав стук упавшего со скалы и ударившегося о ствол бамбука камня (по другой версии, он сам нечаянно поддал этот камешек метлой). Монотонный шорох метлы по земле и листьям вкупе с размеренными движениями привел его в медитативное состояние, а резкий однократный стук послужил мощным finale — пробоем в инобытие. Наконец, основатель Дайтокудзи — Дайто-кокуси испытал сатори, когда услышал лягз упавшего металлического ключа. Ну и читатель ждет уж рифмы «лягушка» — на вот, лови ее скорей: знаменитая

саторическая хайку Басё «Старый пруд... / прыгнула в воду лягушка / всплеск воды». В заключение замечу, что когда я был в саду этого храма, сверчков не слышал. Возможно, они спали — если, конечно, это ночные насекомые.

В саду Судзумуси-дэра стоит восхитительный чайный домик с маленькими окошками, а из сада можно смотреть на панораму Киото. У выхода из него есть маленький алтарь, на котором возлежит длинный худой дракон — это Пресветлый Бог Белый Дракон — Хакурю Даймёдзин. А местный каменный Дзидзо слывет особо усердным в исполнении желаний. Желания надо писать на табличке с именем и полным адресом, чтобы он, обутый в дорожные соломенные сандалии, сам пришел и молча поправил бы все, Дзидзо из Судзумуси.

### Мацуноо-тайся

От Судзумуси-дэраза пять – семь минут извилистые улицы приведут по кварталу, мимо школы карате, узкого канала и площадок для борьбы сумо, к большому синтоистскому комплексу Мацуноо-тайся — Великое Святилище у Подножия Сосновой Горы. Он славен тем, что на его территории есть священный водопад, черепаховый источник и Музей sake. Собственно, главный храм возведен в честь бога sake.

Большие ворота фланкированы сторожевыми будками, в коих за проволочной сеткой бдят синтоистские соответствия свирепых буддийских стражей ворот. Эти изнеженные на вид лучники в надутых шароварах совсем не страшные. Луки и стрелы у них выглядят чисто ритуальными — как, в сущности, оно и было. К решеткам прикреплено немало вотивных плакеток эма. Здесь часть этих деревянных дощечек имеет особую форму — в виде плоских ложек-черпаков. Вероятно, это связано с занятием бога — покровителя этого храма, если речь идет о приготовлении sake, то подобными черпаками могли мешать рис, из которой этот божественный напиток изготавливали. Просьбы на дощечках — самые простые и серьезные: Гэйко просит об исцелении болезни Киёси; какая-то нерв-



Храм Мацуноо-тайся. За проволочной сеткой страж ворот.  
К решеткам прикреплены вотивные плакетки

ная абитуриентка исписала целый половник просьбой об успешной сдаче экзаменов и зачислении в Токийский университет искусств...

За воротами открывается большая, усыпанная гравием площадка. Слева находится стенд с мишенями для стрельбы из лука, который вместе со стрелами можно взять тут же в конторе напрокат и ублажить ками и собственное эго метким попаданием в *макивару* (скрученную толстым тугим жгутом соломенную мишень). За мишенью на краю площадки есть целая стена из бочонков саке в разноцветной соломенной оплетке и с крупными именами частных дарителей и компаний. Размерами эта стена вполне соперничает с той выставкой бочек саке, что в святилище Цукугаока Хатиман-гу.

На территории есть масса любопытного — например, несколько тысячелетних пней священных деревьев, тщательно оберегаемых от окончательного разрушения веревками, медными обручами и навесами от дождя. В глубине территории, с левой стороны, там где начинается заросший

лесом склон горы, есть священный водопад за красными воротами тории. Падающая струя воды отлично смотрится в ярко-красной раме ворот, но еще лучше посмотреть на водопад чуть издалека, так, чтобы на верхней перекладине тории в левом ее конце оказался большой камень. Если приглядеться, он похож на сгорбившегося тэнгу — по крайней мере этот вырост на скале называется Тэнгу-камень.

На противоположном краю храмовой площади есть маленький прудик с толстой белой черепахой, весьма



Священный водопад





**Стенд с мишенями для стрельбы из лука и стена из бочонков саке в разноцветной соломенной оплетке**

приблизительно вытесанной из белого мрамора. Зато за ней есть несколько весьма реалистичных рыб из полированного разноцветного гранита, приделанных на замшелый валун так, чтобы изобразить сцену с упорными карпами, взбирающимися через пороги и водопады. (Воды при этом на валуне нет — ее нужно домыслить.)

В левой части комплекса огромная двухэтажная бочка, с ободьями из толстых жгутов соломенного каната, указывает дорогу к Музею саке. Собственно, заведение называется «О-саке-но сирёкан» — «Центр собирания материалов по многоуважаемому саке». Рядом на бочке поменьше стоит довольный тануки — барсук-оборотень, большой проказник и любитель выпить. И бочки, и керамический, сдержанно покрашенный тануки, и замшелый навес над беседкой на заднем плане — все смотрится выдержанно и стилистически однородно в традиционной неброской гамме. Все в естественных тонах старого дерева, серой гальки, зеленой листвы и мха. Но вот под навесом торчит пронзительно голубой железный шкаф — гладкий, яр-



**Маленький прудик с толстой белой черепахой, вытесанной из белого мрамора (вверху)**

**Огромная бочка указывает дорогу к Музею саке. Рядом на бочке поменьше стоит довольный тануки — барсук-оборотень, большой проказник и любитель выпить (внизу)**

кий, прямоугольный. «Asahi Soft Drinks», — написано на нем по-английски. Вот почему у японцев бывают такие пробои со вкусом, я понять никак не могу. Дело не только в том, что довольно комично установить автомат по продаже химической сладкой гадости перед музеем традиционного саке, но и в чисто эстетическом плане. Цвет, форма, фактура, материал — все в этом автомате инородно среде старого синтоистского храма, в который эта американизированная штукавина просочилась. Может, в сознании японцев эта вещь как бы незамечаема вообще? Или у них есть блаженная способность к такому зрительному раздвоению — два мира существуют одновременно в их глазах и сознании, пересекаясь не в реальном пейзаже, а где-то в четвертом измерении... Не только ведь здесь случился такой прокол вкуса — вот и у храма Тысячи Каннон Сандзюсангэн-до стоят лавки с надписью «Кока-кола», а перед многими другими храмами установлены столбики с табличками: «Огнеопасно. Компания Хитати». Впрочем, я же пытаюсь сказать, что это, наверно, не прокол, а особенность культурного видения...

В небольшом Музее саке самое интересное — это огромные бочки, некоторые размером с приличную избушку. В них залезали по лесенке. Такие бочки еще использовали в старое время в качестве ванны — под ними разводили огонь. Макеты и схемы процесса перегонки риса на алкоголь, вероятно, интересны любителям техники и энтузиастам самостоятельного изготовления божеественного напитка. Еще там есть коллекция из сотен бутылочных этикеток плюс множество старинных афиш, зазывающих пить саке. Но продегустировать там не предлагают. За этим надо идти в хорошую идзакаю.

Насмотревшись на пустые бочки из-под саке, можно выйти из святилища бога саке и повернуть налево. Через две-три автобусные остановки или пятнадцать минут ходьбы дорога приведет к широкому мосту через широкую реку. На другом берегу — район Арасияма. Мост называется Тогэцу — Любования Луной, пересекающей небесную реку. В этих местах уже значительно многолюд-



**Мост Любования луной, пересекающей Небесную реку**

ней — народ гуляет вдоль реки и в большом парке в левой от моста стороне. По реке курсируют большие старинные лодки, катающие публику. Ко множеству храмов и прочих интересных мест в виде маленьких музеев, сувенирных лавок и ресторанчиков можно подниматься через парк от реки, а можно, если приехать из центра города на поезде, отправиться пешком от станции «Сага – Арасияма», а можно еще там же пересест на старинный поезд, называемый «Романтический поезд Сагано», медленно ползущий через бамбуковый лес и по склону горы с видом на реку. Из многочисленных мест, куда можно зайти, необходимо отметить крупный дзэнский монастырь Тэнрюдзи, в котором есть сад, связанный с именем Мусо-кокуси, дизайнера Сада Мхов в Сайходзи, что не так далеко к югу от этих мест. Сад Тэнрюдзи, разбитый под сильным влиянием сунской пейзажной живописи около 1350 г., был объемным типом сада, рассчитанным на восприятие с меняющихся точек обозрения. Он включает в себя искусственный водоем, мостик, насыпанную гору, живописные валуны. А сам монастырь

входит в число Пяти Гор — т. е. главных дзэнских монастырей. Но более подробно хочется остановиться в трех небольших обителях — Данриндзи, Гиодзи и Адаино.

### Данриндзи

На одной живописной улочке, утопающей в зелени, находится несколько храмовых комплексов — Дзёдзякодзи, Нисондзи... Как-то проходя под проливным дождем мимо последнего, я увидел трогательную сценку: рикша тщательно подтыкал клеенчатый красный полог своей коляски, пытаясь сделать пассажира непромокаемым.

На следующем перекрестке за Нисондзи установлена икебана из пяти столбов и двух табличек. Это указатели к храму Танигути-дэра с памятником храбрецу-самураю Нитта Ёсисада, к храму Данриндзи, к храму Гиодзи, а еще столбик с указанием пешеходного маршрута на природе и столб для электрических проводов.

Храму Данриндзи принадлежит честь быть самым первым в Японии дзэнским храмом. Его открыл в начале IX в. император Сага по настоянию императрицы Катико.



Дождь в Сага

Храм был открыт специально для китайского чаньского монаха Икуна (Гику), который там учил дзэнской медитации. Этот опыт оказался преждевременным — в Японии Дзэн стал входить в мейнстрим лишь с XIII в. Гику через какое-то время отбыл обратно в Китай, а Данриндзи был закрыт. Впрочем, он был открыт впоследствии и как храм под особым покровительством императорского дома накопил за тысячу лет массу сокровищ. Их можно посмотреть в своеобразном музее, для которого отгородили большую комнату в храме. Там вперемешку и в тесноте выставлены, например, огромные мандалы — Алмазного Мира и Мира Утробы. Есть множество буддийских скульптур — например, статуя Каннон, о которой престарелый (и не очень любезный к единственному посетителю, нарушившему его покой) служака сказал, что она относится к архаической эпохе Асука. Я, конечно, всего не знаю, но мне показалось, что он ошибся века на три. Еще там есть множество образцов императорской каллиграфии эпохи Хэйан. Есть и пейзажные свитки с именами Маруяма Окё или Сэсю. Пейзаж в абстрактном стиле хабоку великого Сэсю висит в углу, отчасти завешенный каким-то другим свитком. Копия это, сделанная на век позже, или подлинник — сказать, не имея возможности тщательно изучить, трудно, но пусть это и работа его школы — качество весьма приличное. Впечатляет увидеть и Сэсю, и каллиграфию императоров в такой захлавленной лавке древностей. Так, наверно, выглядели когда-то сокровищницы старых храмов — с той только разницей, что свитки там за малыми исключениями всегда свернуты и упрятаны в деревянные футляры.

На крыше этого храма сидит бронзовый журавль с высоко вскинутой головой. Крыши многих других храмов украшают фениксы. Когда я под зонтиком подходил к храму, на веранду вышел служитель поприветствовать меня и, показывая куда-то вверх, сказал нечто вроде «курэну». Не разобрав, что это такое, я на всякий случай вежливо поклонился, но не стал выглядывать из-под зонтика и смотреть неизвестно на что. Дедушка повторил еще, говоря, что там



**Храм Данриндзи — самый первый в Японии дзэнский храм**

на крыше курэну. Наконец я выглянул — там сидел чистопородный японский *цурю*, т. е. *crane*. Кажется, служка надулся как раз из-за этого — я не оценил его старание просветить меня по-английски.

### Гиодзи

Короткий путь (меньше ста метров) по тропинке наверх за Данриндзи приведет к воротам обители Гиодзи. Это фактически маленький замшелый скит посреди сада с чудосочными кривыми деревьями и обилием мхов. Но слава его велика. С Гиодзи связана одна из самых грустных и романтических историй японского Средневековья.

Впервые я вышел к Гиодзи в кромешной тьме, ступившейся довольно рано октябрьским вечером. Фонарей и домов не было; луна, если и светила, то высоко над тучами. Приблудный американец Ли из Техаса, коего я попутно вызволил из бамбукового леса, доверчиво слушал историю Гио в моем красочном пересказе «Сказания о доме Тайра», но резонно замечал, что когда (и если) мы выйдем к храму, то все равно ничего не увидим. «Тем ин-

тереснее», — отвечал я. В общем, это было действительно интересно — уткнуться в узкие ворота, которых не было видно и с двух метров. Вокруг тишина — не лают собаки, не звучит телевизор и не слышны человеческие голоса. Полное запустение — и насколько пустынное и тоскливое должно было быть это место в конце XII в., когда туда пришла жить молодая красавица Гио.

Гио была *сирабёси* — певица и танцовщица, имя ее означает «Царица певичек». (В народе слово *сирабёси* также означало «проститутка», — увы, чистое искусство не всегда кормило.) Она так очаровала всесильного главу клана Тайра, Тайра Киёмори (1118–1181), что тот сделал ее своей наложницей, и она жила в его дворце, пользуясь его всегдашним благоволением. А в провинции Кага жила другая сирабёси, Хотокэ-годзэн, которая в свои шестнадцать лет была несравненной мастерицей в танцах и пении. Она решила показать свое искусство Киёмори, отправилась во дворец, но ее погнали прочь, поскольку явиться без приглашения было дерзостью. Однако Гио вступилась за нее, выразив сочувствие, и упросила Киёмори разрешить незнакомке показать свое искусство. Киёмори нехотя согласился, но в результате был так доволен, что велел пришелице оставаться во дворце и увеселять его постоянно. Хотокэ смутилась и заметила, что ей неловко перед Гио, и покусилась было уйти, на что жестокий и своевластный Киёмори заявил, что в таком случае уйдет Гио. И девушку, прожившую с ним три года во дворце, безжалостно выгнали. Она вернулась к своей матери и сестре, и, пораженные колдовращением судьбы, все трое постриглись в монахини. Было Гио всего только 21 год.

Так жили они в запустенье в Сага близ горы Арасияма в малом скиту, основанном незадолго до того учеником Хонэна по имени Рётин к северо-западу от столицы. И вот однажды, год с лишним спустя, к ним робко постучалась Хотокэ. Она пришла просить прощения у Гио и Будды. Голова ее была обрита. Было ей всего 17 лет. Так они жили в молитвах, забытые миром, пока все не умерли. Могилы



Обитель Гиодзи — маленький замшелый скит посреди сада с чудосочными кривыми деревьями и обилием мхов

их и посейчас находятся в ограде храма Гиодзи — рядом с памятником Киёмори.

В алтаре их изваяния стоят в ряд, полускрытые низкими арками. В центре — малая статуя бодхисатвы Каннон, слева — Гио, далее — Хотокэ-годзэн. Справа — Гидзё. Если присмотреться, между Каннон и Гио есть еще одна статуя, большая часть которой скрыта за арочной преградой. Это Киёмори, которого после смерти поставили рядом с этими несчастными женщинами. Смерть у него, кстати, была ужасной. Согласно «Повести о доме Тайра», его так сжигали демонические страсти и исполинские амбиции, что он весь клокотал. Когда его помещали в прохладную ванну, вода закипала. Прозаически настроенные современные ученые считают, что, скорее всего, его пожирал рак.

Я посетил храм через несколько дней после первой вечерней попытки. Мхи в саду были насквозь мокрые от затяжного дождя; сплошной завесой струи воды стекали с длинных карнизов, как бы дополнительно отгораживая этот печальный замкнутый мирок от большого мира во-

крут. В тесной комнатке, где устроен этот своеобразный алтарь, — отвергнутая любовница, раскаявшаяся соперница, их жестокий мужчина, задвинутый за перегородку, и милосердная бодхисатва в центре, — я надолго застыл перед ним в низком креслице на полозьях, поставленном для тех, кто хочет спокойно подумать о мимолетности любви и долгой жизни потом. Как жили эти девушки много лет, спустя в этой глуши? Киёмори давно умер, род Тайра был уничтожен, власть переменилась, а они застыли с бритыми головами (сначала трогательными, а через тридцать лет скорее уродливыми) в неизбывном шоке от потрясения юных лет. Стоило ли, право? А впрочем, вспоминал бы кто о них, выйдя они потом спокойно замуж за какого-нибудь зажиточного крестьянина?

Скудная обитель пребывала в упадке долгое время, пока во второй половине XX в. туда не пришла жить монахиня Тисё-ни. Она тоже была до этого гейшей. Тисё-ни восстановила Гиодзи (хоть он и сейчас мал и беден), стала устраивать дни поминовения своих несчастных предшественниц, писала трогательные стихи и умерла, оплакиваемая всей округой, в 1994 г. Вот одна из ее хайку:

<i>Мацурарэтэ</i>	<i>Величаем уж сотни раз</i>
<i>Хякусики хару я</i>	<i>подношениями весной</i>
<i>Гиоо Гидзё</i>	<i>Гио и Гидзё</i>

### Храм Нэмбуцудзи в Адаино

Если вернуться от Гиодзи, мимо Данриндзи, к перекрестку пяти столбов и повернуть налево, а дальше еще налево, то минут через пять — семь в конце приятной старинной улицы с превосходным магазином деревянных и лаковых изделий Иваи (девушка-красавица там хорошо говорит по-английски и немного по-итальянски и угощает чаем) покажется пологая каменная лестница к храму Нэмбуцу. Его называют Нэмбуцудзи в Адаино, т. е. в местности Адаино. Название необычно и любопытно: *но* — это «поле, равнина», а *адаси* в современном языке отсутствует; иероглиф,

которым оно записано, обычно *адаси* не читается и означает «перемена, переход, превращение». Стало быть, условно и приблизительно Адасино можно передать, как Поле Превращений, или Перемен. В кого или во что, откуда и куда? Толкование это вполне имеет смысл, ибо название храма (Нэмбуцу) является призыванием имени будды Амиды, который переносит души умерших в свой рай далеко на западе. Соответственно, бранные останки превращаются в блаженные души. Вообще, это довольно редкий тип храма — храм-кладбище. Разумеется, маленькие кладбища есть почти при всех буддийских храмах, но этот имеет нечто особенное. Строго говоря, это и не кладбище даже.

История святого места на поле Адаси началась тысячу двести лет назад при святом Кукае (он же Кобо-дайси), с именем которого в Японии связывают весьма многое — и не всегда с достаточно вескими историческими основаниями. Согласно преданию, Кукай основал там храм и собственноручно вытесал из камня множество могильных памятников в виде Будды для местного места упокоения бранных останков. Три века спустя святой Хонэн, основатель секты Дзёдо Чистая Земля, возродил захиревший храм и устроил там учебный центр для монахов и проповедников своей школы. Тогда-то и возникло название Храм Нэмбуцу. К тому времени все каменные изваяния куда-то исчезли. Их случайно обнаружили лишь в начале XX в. закопанными в землю на территории храмового комплекса и на соседнем холме. Всего было найдено около восьми тысяч грубых изваяний Будды и пагод. Возникла легенда, что это еще Кукай закапывал свежеделанные скульптуры, исполняя некий эзотерический обряд (его учение, продолжаемое ныне сектой Сингон, полно эзотерическими ритуалами). Вряд ли это так — и не только потому, что восемь тысяч обременительно вытесать и закопать даже святому, но и потому, что возраст камней разнится в несколько сотен лет. Так или иначе, камни собрали, перенесли на центральную прихрамовую площадь и установили плотными ровными рядами. В результате получилось впечатляющее каменное поле — без имен



Пологая каменная лестница к храму Нэмбуцудзи в Адасино

и лиц, стертых вечностью, но с какой-то мудрой аурой покоя, навеваемой этой самой вечностью.

Камни поставлены ровными рядами, между которыми оставлены узкие проходы, по которым можно ходить. В центре — высокая многоярусная пагода, напоминающая очертаниями египетский обелиск. Здесь эта ассоциация вполне уместна, ибо обелиск прочно связан с мемориальной символикой. Напротив пагоды, на возвышении — статуя будды Амиды. Спокойно и величаво Амида обозревает эти камни — души, вероятно, он давно перенес в свой рай, а камни остались разве что на память потомкам. В обычные дни потомков приходит немного. Собственно, большие толпы там бывают лишь два вечера в году, а в остальное время можно неторопливо прогуливаться в этом специфическом «саду камней», то глядя на его монотонную серую рябь, то поднимая взор на окрестные зеленые или желто-красные холмы. Эти полустертые камни — наглядная метафора океана дхарм, этих частичек духовной энергии, составляющей мироздание, включая грешное человечество. Строго говоря, буддийское про-



**Храм-кладбище на поле Адаси.  
Каменное поле — без имен и лиц, стертых вечностью**

светление — это раскрытие своей дхармической сути, приобщение к безначальному и бесконечному океану дхарм (называемой еще единой Дхармой). Кто-то (немногие) это может сделать при жизни; большинство — после смерти, теряя иллюзорные и временные индивидуальные черты и переходя в вечность. Но разве это хорошо — терять свои индивидуальные черты и растворяться в безличной смерти? Ответ: это не хорошо и не плохо — это закон (кстати, словом *хо* по-японски обозначают и закон, в том числе мироздания, и учение Будды, и дхармы, индивидуальные временные частицы, и Дхарму — единую энергию, составляющую мир и космос). Соответственно, в осознании и принятии этого закона заключается мудрость — и не только какая-то запредельно-богословская, но и простая житейская. Именно отсюда у японцев и возникла идея (а лучше сказать, чувство) умирительной прелести быстротечного мира — преходящей красоты цветов и женщин, мимолетности власти и денег... Если жизнь



**Высокая многоярусная пагода, напоминающая очертаниями египетский обелиск. Напротив нее — статуя будды Амиды**

кратка и преходяща, любуйся и наслаждайся, пока есть время, — отсюда и японский эстетизм. Когда я был на поле Адаси, там среди могильных камней бродила и бегала девочка лет шести-семи в красной юбке и под белым зонтиком. Это колористическое пятно вносило не только последний «touch» в картину, но и лишний раз оттеняло до банальности старую истину о соприсутствии прекрасного мимолетного и прекрасного вечного.

Вокруг поля камней стоят несколько статуй бодхисатвы Дзидзо — проводника в рай малых детей и нерожденных младенцев. Ему посвящен особый алтарь, рядом с которым всегда стоят бутылки с водой; нерожденных или умерших во младенчестве детей называют *мидзуко* — «водяное дитя» или «ребенок воды». Службы там устраивают раз в месяц, 24-го числа.

С противоположной стороны от алтаря Дзидзо есть другое необычное для большинства храмов сооружение — это ступа Буссярито, хранилище пепла Будды



**Ступа Буссярито, хранилище пепла Будды и костей людей**

и костей людей. Это сооружение воспроизводит форму индийских ступ — каменных холмов, устроенных над святым захоронением. Судя по архитектурным особенностям, построили эту ступу в новое время, т. е. в последние сто лет, вероятно, туда поместили все кости, найденные вместе с восемью тысячами камней в земле.

На этих камнях и вокруг всего поля по периметру зажигают тысячи свечей два вечера в году — 23 и 24 августа. Церемония называется «Сэнто Куё» («Мемориальная служба тысячи огней»), она начинается ранним вечером, в шесть часов, и продолжается до девяти. Сначала едва заметные, по мере сгущения сумерек огоньки свечей становятся все ярче и в темноте делаются похожи на эманацію энергии или волны света, исходящие из камней. Летящие искры и то разгорающиеся, то затухающие язычки пламени напоминают еще светлячков, летящих к небу. В процессе обряда меж рядами камней ходят девушки в белых кимоно с красными оби и зажигают свечи. По мере сгущения темноты их становится различать все труднее, — они делаются похожи на неясные белые

облака, что сообщает всей картине массу дополнительного, немного пугающего очарования. Особенно мистически они выглядят на фотографиях (которые вообще-то делать не разрешается, но это строго не соблюдается). При большой выдержке полностью исчезают контуры движущихся фигур. От них остаются лишь полупрозрачные облака-небулы, сквозь которые светят те же огоньки или проглядывают камни. В этих туманно-призрачных картинах можно видеть еще одно подтверждение взаимосвязи сущего и не сущего, материального и духовного, временного и вечного. Основная буддийская концепция пустоты и призрачности материального мира получает в этих сумеречных фотографиях девушек зримое, эстетически совершенное — и в общем совсем нестрашное подтверждение.



Рассказывать о старых закоулках Киото можно бесконечно, но в какой-то момент нужно остановиться. За пределами нашего рассказа осталось множество баснословных мест — например монастырь Сайходзи, называемый еще «Кокэ-дэра» («Храм Мха») по знаменитому Саду Мхов. Чтобы туда попасть, нужно написать на открытке просьбу за три-четыре недели до предполагаемого визита и приложить открытку со своим адресом, на которой монахи ответят, возможно ли прийти в этот день или нет. Визит стоит от 3000 йен и включает в себя участие в обряде копирования сутр. Не уместились здесь и прогулки по южным предместьям Киото — святилищу Фусими Инари-дзиндзя с лабиринтом километровых туннелей, образованных тесно составленными вместе тысячами красных ворот тории. А рядом с Фусими есть замечательный дзэнский монастырь Тофукудзи и сад великого художника Сэсю, а еще очаровательный городок Удзи с прелестными видами и лучшим чаем в Японии. А еще ведь есть и древняя столица Нара, и святая гора Коя с миллионом храмов и усыпальницей Кобо-дайси, который, как считается, спит в вечной нирване... И еще дальние северные и южные острова... Путешествие по Японии не окончено...











**Штейнер Е. С.**  
Ш 88 Приближение к Фудзияме. — М.: СЛОВО/SLOVO, 2011. —  
360 с.: ил.; 14 × 21,5 см. — (Записная книжка путешест-  
венника). — ISBN 978-5-387-00276-2 (в пер.)

Книга известного искусствоведа и востоковеда Евгения Штей-  
нера предназначена для «медленных путешественников», кото-  
рым интересны культурные контексты, мелкие бытовые реалии  
или философские рассуждения на тему «своего и чужого». Читать  
ее можно, не вылезая из кресла: задуматься о том, что же это за  
страна — Япония и что особенного есть в японском духе, и это бу-  
дет самым настоящим приближением к Фудзияме. По жанру дан-  
ная книга ни в коей мере не путеводитель. Это описание разных  
мест и реалий Японии, какими их увидел автор. Точка зрения —  
сугубо личная и пристрастная, как подчеркивает Е.С. Штейнер.  
Япония, по мнению автора, особенно восхищает тем, что в ней  
никогда не знаешь, чего ожидать.

Раздел книги по «Городам и храмам» можно (и нужно) ис-  
пользовать во время прогулок по описанным местам.

УДК 910(520.23)  
ББК 26.89(5Япо,30)

Евгений Семенович  
ШТЕЙНЕР

## **ПРИБЛИЖЕНИЕ К ФУДЗИЯМЕ**

Подписано в печать 11.02.2011. Формат 60 × 90 1/16.  
Бумага мелованная. Печать офсетная. Гарнитура GaramondC.  
Печ. л. 22,5. Тираж 5000 экз.

Издательство СЛОВО/SLOVO.  
109147, Москва, Воронцовская, 41.  
Тел.: (495) 911-05-52, 911-22-50, тел./факс: (495) 911-61-33,  
e-mail: slovo@slovo-pub.ru  
Адрес в Интернете: [www.slovo-online.ru](http://www.slovo-online.ru)

Отпечатано в Китае

ISBN 978-5-387-00276-2



9 785387 002762